

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ · ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ  
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1988

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ      Н. И. ТОЛСТОЙ

#### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

БОГОЛЮБОВ М. Н.  
БУДАГОВ Р. А.  
ДЕСНИЦКАЯ А. В.  
ДЖАУКЯН Г. Б.  
ДОМАШНЕВ А. И.  
ЗВЕГИНЦЕВ В. А.  
МАЖЮЛИС В. П.  
МЕЛЬНИЧУК А. С.

РАСТОРГУЕВА В. С.  
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.  
СЛЮСАРЕВА Н. А.  
ТЕНИШЕВ Э. Р.  
ТРУБАЧЕВ О. Н.  
ШВЕДОВА Н. Ю.  
ШМЕЛЕВ Д. Н.  
ЯРЦЕВА В. Н.

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БАСКАКОВ А. Н.  
БОНДАРЕНКО А. В.  
ВАРБОТ Ж. Ж.  
ВИНОГРАДОВ В. А.  
ГАДЖИЕВА Н. З.  
ГАК В. Г.  
ДЫВО В. А.  
ЗАЛИЗНЯК А. А.  
ЗЕМСКАЯ Е. А.  
ИВАНОВ Вяч. Вс.  
КАРАУЛОВ Ю. Н.  
КИБРИК А. Е.  
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

ЛЕОНТЬЕВ А. А.  
МАКОВСКИЙ М. М.  
НИКОЛАЕВА Т. М.  
ОТКУШЩИКОВ Ю. В.  
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)  
СОЛНЦЕВ В. М.  
СТАРОСТИН С. А.  
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.  
ШАРБАТОВ Г. Ш.  
ШВЕЙЦЕР А. Д.  
ЩЕРБАК А. М.  
ХРАКОВСКИЙ В. С.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.

редакция журнала «Вопросы языковедения». Тел. 203-00-78

## СОДЕРЖАНИЕ

Леонтьев А. А. (Москва). Генезис семантической теории: античность и средневековье . . . . .	5
Шмитт Р. (Саарбрюккен). Прагматика и систематика в ларингальной теории . . . . .	22
Шмальstieg У. Р. (Пенсильвания). К индоевропейской проблеме (В связи с выходом в свет книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы») . . . . .	32
Степанов Ю. С. (Москва). Индоевропейское предложение: лексические вхождения в структурные схемы . . . . .	46
Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). К вопросу о системе смычных и фрикативных «мноюского» языка по показаниям греческой линейной письменности класса В . . . . .	66
Елизаренкова Т. Я. (Москва). О морфологии хинди (К постановке проблемы) . . . . .	69
Румянцев М. К. (Москва). Слитез китайских тонов . . . . .	82

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Успенский Б. А. (Москва). Одна из первых грамматик русского языка (Грамматика Жава Соёе 1724 г.) . . . . .	94
--	----

### НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Кацнельсон С. Д. Заметки о надежной теории Ч. Филлмора . . . . .	110
--	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Иванов Вяч. Вс. (Москва). Современные проблемы типологии (К новым работам по американским индейским языкам бассейна Амазонки) . . . . .	118
Семенов А. Л. (Москва). Лингвистические исследования в Китае . . . . .	132

#### Рецензии

Касевич В. Б. (Ленинград). <i>Антипова А. М.</i> Ритмическая система английского языка . . . . .	146
Зиндер Л. Р., Штерн А. С. (Ленинград). <i>Джапаридзе З. Н.</i> Перцептивная фонетика (Основные вопросы) . . . . .	149
Котов Р. Г., Рябцева Н. К. (Москва). <i>Марчук Ю. Н.</i> Методы моделирования перевода . . . . .	152
Щербак А. М. (Ленинград). <i>Altaistik studies</i> . . . . .	157
Горелов И. Н. (Саратов). <i>Павлов В. М.</i> Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования . . . . .	160
Ижакевич Г. П. (Киев). Русский язык в Белоруссии . . . . .	162
Калакуцкая Л. П. (Москва). Dictionary of Russian Abbreviations . . . . .	164
Кумахов М. А. (Москва). <i>Smeets R.</i> Studies in West Circassian phonology and morphology . . . . .	168
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Мещерский Н. А.</span> <i>Франчук В. Ю.</i> Киевская летопись . . . . .	171

## CONTENTS

**Leontiev A. A.** (Moscow). Genesis of semantic theory: the Antiquity and the Middle Ages; **Schmitt R.** (Saarbrücken). Pragmatics and systematics in laryngeal theory; **Schmalstieg W. R.** (Pennsylvania). On the Indo-European problem (in connection with the publication of «Indo-European language and the Indo-Europeans» by Th. V. Gamkrelidze and V. V. Ivanov); **Stepanov Yu. S.** (Moscow). The Indo-European sentence: lexical entries in structural schemes; **Gamkrelidze Th. V.** (Tbilisi) On the system of stops and fricatives in the «Minoan» language as attested by the Greek linear writing of the class B; **Elizarenkova T. Ya.** (Moscow). On the morphology of Hindi (the posing of the problem); **Rumjantsev M. K.** (Moscow). The synthesis of Chinese tones; **From the history of science: Uspenskij B. A.** One of the first grammars of the Russian language (The grammar of Jean Schier of 1724); **The scientific heritage: Katsnelson S. D.** Notes on Ch. Fillmore's case-theory; **Surveys: Ivanov V. V.** (Moscow). Contemporary problems of typology (on the new works devoted to American Indian languages of the Amazonian basin); **Semenas A. L.** (Moscow). Linguistic research in China; **Reviews: Kasevič V. B.** (Leningrad). *Antipova A. M.* The rhythmic system of the English language; **Zinder L. R.** **Stern A. S.** (Leningrad) *Džaparidze Z. N.* Perceptive phonetics (the main problems); **Kotov R. G., Rjabtseva N. K.** (Moscow). *Marčuk Yu. N.* Methods of patterning in translation; **Šerbak A. M.** (Leningrad). Altaistic studies; **Gorelov I. N.** (Saratov). *Parlov V. M.* The notion of the lexeme and relations between syntax and word-formation; **Ižakevič** (Kiev). The Russian language in Byelorussia; **Kalakučskaja L. P.** (Moscow). Dictionary of Russian abbreviations; **Kumaxov M. A.** (Moscow). *Smeets R.* Studies in West Circassian phonology and morphology; **Meščerskiĭ N. A.** *Frantuk V. Yu.* The Kiev Chronicle.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лео́нтьев А. А.	
	Смитт Р.	
	Сшмалстег В. Р.	
	Степанов Ю. С.	
	Гамкредидзе Т. В.	
	Элизаренкова Т. Я.	
	Румянцев М. К.	
	Успенский В. А.	
	Катселсон С. Д.	
	Иванов В. В.	
	Семенов А. Л.	
	Касевич В. В.	
	Зиндер Л. Р.	
	Стерн А. С.	
	Котов Р. Г.	
	Рябцева Н. К.	
	Марчук Ю. Н.	
	Шербак А. М.	
	Горелов И. Н.	
	Ижакевич	
	Калачукская Л. П.	
	Кумухов М. А.	
	Мещерский Н. А.	
	Франчук В. Ю.	

ЛЕОНТЬЕВ А. А.

ГЕНЕЗИС СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: АНТИЧНОСТЬ  
И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1. Гераклит и Платон. Историю проблемы значения в философии следует, вероятно, начинать с понятия «логос» у древних греков и соотносить с ним понятий. У Гераклита логос выступает как «всеобщее, универсальное, объективное значение вещи» [1, с. 35]. «..Хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если бы имело собственное понимание» [2, с. 41]. Иначе говоря, логос есть абсолютная мера вещей, объективно существующая, но не достижимая полностью. Лишь философ, человек, обладающий разумом, способен приблизиться к природе вещей. Он, философ, судит о сущности вещи — логосе — и выражает ее в слове. Суждение, рассуждение и есть переход от частных, переходящих случайных свойств вещи к ее объективной «логике», отраженной, закрепленной в слове. Но познание (и закрепление в слове) сущности вещей — не самоцель. «Мышление — великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно», — говорит Гераклит [2, с. 51], тем самым четко соотнося слово и дело, поступок. Для Гераклита именно это — поступок, дело — и является главным: не сама вещь в ее сущности, а п о с т у п о к в соответствии с сущностью вещей. Логос и есть для него внутренняя мера социального поведения [1, с. 35—38; 3, с. 9—10; 4, с. 102], позволяющая отказаться от ограниченного, субъективного, эгоистического образа действий в пользу истинного, т. е. социально одобряемого и соответствующего сущности вещи, поступка. Поэтому знаменитый античный спор «о правильности имен», во всяком случае в своих истоках, был спором о том, насколько имя — «онома» — приближается к «логосу», а следовательно, — насколько оно способно служить орудием философского познания сущности вещи и орудием «истинного» социального поступка. «Слово есть ведущее начало, образующее разумное вообще, и в смысле мирового разума („всемирного ума“, или логоса), и в смысле разумности отдельного человека... Вот почему слово ... требует к себе особенно внимательного отношения. Слово пужно правильно создавать и применять, так как в противном случае нарушается порядок в обществе... Таким образом, смысл теории именованний состоит в том, чтобы уметь устанавливать гармоническую целесообразность общества и мировой порядок одновременно» [5, с. 34—35]<sup>1</sup>.

У Гераклита же наряду с понятием «логос» возникает «номос». Это не божественная или абсолютная сущность, но нечто «общепринятое» [6], соответствующее нормам полиса, это — закон. Можно поступать по при-

<sup>1</sup> Едва ли можно, однако, согласиться с тем, что в основе теории именованний лежит «словесная магия» [5, с. 34], и считать, что для греков разумность рождена словом [5, с. 35]. Это — недопустимое упрощение. Не слово, а именно разум стоит в центре гераклитовской, а затем платоновской гносеологии: слово же — орудие разума.

роде («фюсей»), а можно по закону («номо»). «Нет, не софисты, но благороднейшие умы эллинов (Гераклит, Парменид, Эмпедокл. — Л. А.) противопоставили то, что они по своему убеждению считали себя обязанными полагать истинным, и всеобщее мнение — номос» [7, с. 44]. Как пишет один из последователей Гераклита, «номос определяют люди сами для себя, не зная, во имя чего определяют; природу же устраивают боги» [7, с. 51—52].

Итак, логос — абсолютная, природная (божественная) сущность, номос — закон или общепринятое мнение. Но есть и имя (или слово) как таковое — «онома». Сам Гераклит, по-видимому, этого термина не знал (во всяком случае как термина). И соотношение имени и логоса (и номоса) лучше всего раскрыты на классическом примере платоновского диалога «Кратил», не забывая, что у различных греческих мыслителей конкретное толкование перечисленных понятий было различным и одно и то же понятие толковалось неодинаково.

В диалоге Платона три собеседника: Кратил, Гермоген и Сократ. Кратил придерживается гераклитовского мнения, что у всякой вещи «есть правильное имя, врожденное от природы» [8, с. 36]. Гермоген же считает, что «никакое имя никому не врождено от природы, но принадлежит на основании закона и обычая тех, которые этот обычай установили и так называют» [8, с. 37]. Сократ, к позиции которого в споре мы вернемся, является, по-видимому, своеобразным псевдонимом автора — Платона; но в первой части диалога, излагая концепцию «мимемиса», или подражания, он, как отметил И. М. Тронский [9, с. 36], скорее всего выражает мысли Демокрита.

Позиция Кратила кое в чем близка учению софистов. Так, для него всякое конкретное слово (точнее, имя, онома) «правильно», поскольку оно существует: если оно не правильно, это не имя. Кратил анализирует лишь одну сторону вопроса — отношение вещи к имени, полностью игнорируя социальный контекст именования. Гермоген делает другую столь же явную ошибку: он объявляет именование делом каждого отдельного человека, продуктом совершенно свободного выбора, фактически отрицая саму идею «правильности» и сводя ее к простому «договору и соглашению». На этих ошибках и «ловит» спорщиков Сократ. Он рассуждает следующим образом. «... Не для каждого каждая вещь существует по-своему, ... вещи сами по себе обладают некоторой прочной сущностью безотносительно к нам и независимо от нас» [8, с. 39]: эта сущность проявляется и познается нами в д е й с т в и я х с в е щ а м и. «Имя, чтобы быть правильным, должно истинно именовать вещь, т. е. верно отражать ее объективные и не зависящие от человека свойства» [5, с. 41]. Но именование, да и вообще речь, есть то же действие («праксис»), а имя, онома, — орудие. Орудие чего? «Поучения и разбора сущности» [8, с. 40]. Но оно ни в коей мере не и с т о ч н и к познания о вещах: такой источник — сами вещи.

Кто же, спрашивает Сократ Гермогена, создает слова? Ответа нет. Кто же тогда передает нам употребляемые нами слова? Опять нет ответа, и Сократ его подсказывает: номос, — т. е. обычай или закон. А тот, кто создает слова, — законодатель («номотетес») <sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Таким образом, Ю. В. Рождественский ошибается, утверждая, что здесь «имеется в виду логос» [5, с. 43]. Именно номос! Кстати, само слово «логос» в «Кратиле» встречается только в смысле «связная речь», частью которой (элементом) является онома, или имя. И уже совсем непонятно, откуда у И. А. Хабарова [10] берется перевод того же «номотетес» как «логоссоздатель».

Имя, онома, — частный случай закона, номоса, и среди законодателей реже всех встречается «ономатург», который, создавая имя, обязан как можно больше приблизиться к истинной сущности вещи, — а она в том, что Платон называет идеей или образом («эйдос») этой вещи. Что соответствует идее, является ее адекватным воплощением, то и «правильно», соответствует природе («фюсей»). Тот закон или то имя природосообразны, правильны, в которых отражена идея вещи, — но не всякое имя, будучи «номическим», одновременно «логично». Во всяком случае, оно всегда отбывает обычая (т. е. номо).

Конкретное звучание слова неважно: если «не каждый законодатель влагает [образ или идею] в те же слоги, то из-за этого не надо испытывать сомнения; ведь и не всякий кузнец влагает [образ] в одно и то же железо, делая для одних и тех же целей одно и то же орудие» [8, с. 42]. Важно, чтобы был воспроизведен «образ (эйдос) имени, подходящий для каждой вещи» [8, с. 42]: здесь мы находим, по-видимому, зачаток «лектона» стоиков. Впрочем, И. А. Перельмутер отождествляет «образ имени» с внутренней формой [11, с. 132]. Но дальнейшее рассуждение Платона мешает такой интерпретации.

Но ведь Сократ еще раньше подчеркнул, что сущность вещи проявляется в ее объективном использовании в деятельности. Не только сама по себе идея орудийности, но и то, чего мы этим орудием достигаем, входит в сущность вещи. И судить о правильности имени (и вообще номоса) вправе лишь тот, кто его использует, употребляет, а именно — диалектик, т. е. тот, кто «умеет ставить вопросы и давать ответы». Интересно, что именно диалектик, так сказать, «мыслящий вслух», рассматривается как «потребитель» труда ономатурга (подобно тому как кормчий — «потребитель» труда корабельного плотника). И здесь мы приходим к очень важному тезису Платона, а именно к тому, что правильность имени определяется его соотношением с речью — логосом (как раз в этом смысле термин «логос» встречается и у Демокрита, где он понимается как «сплетение имен»). Дело в том, что именно речь, — не само по себе имя как таковое, — раскрывает суть вещей. Обозначение того, что мы говорим, мысля, чтобы сделать это обозначение понятным собеседнику, и есть истинное именованное. «Правильность языка лежит в возможности сообщения, т. е. выражения или изображения того, о чем мы мыслим, и понимания выраженного» [11, с. 132]. Это — сократовское положение, согласно которому обрести истину можно лишь «в совместном диалогическом мышлении» [12].

Имя, онома — не единственный составной элемент логоса: наряду с ним выступает «рема»<sup>3</sup>. Штейнталь дает интересный анализ содержания этих понятий у Платона, подчеркивая, что это не субъект и предикат в грамматическом и даже логическом смысле и тем более — не имя и глагол, как они понимались впоследствии, особенно в Александрийской школе. Логос есть соединение идей, выраженных в словах, или «членораздельная, четко артикулированная и отчетливо выраженная вовне мысль» [13]. Эти идеи — двоякого рода: идеи действия или признака, т. е. собственно идеи (эйдосы), и образы вещей. «Ономата» и «ремата» и суть звуковые знаки («семейа») для образов вещей и идей признаков или действий. Логос — не оперирование словами (знаками), но сущностями при посредстве слов. Он — словесный предикат к истинному бытию, и поэтому логос есть всегда логос чего-то. «Для Платона говорить значит

<sup>3</sup> Это — тоже термин Демокрита, который употреблял его, согласно И. М. Тронскому [9, с. 18], в значении «словосочетание, семантически целостная часть предложения».

выражать соотношение вещей с идеями» [7, с. 143]; вещи (как единичные чувственные образования) обозначаются при помощи ономата, а идеи, им приписываемые, — при помощи ремата. Логос Платона и есть акт приближения и приобщения мира вещей к миру абстрактных сущностей, к гераклитовскому логосу этих вещей, при помощи номоса.

Сама по себе идея знаковости языка у Платона заслуживает внимательного рассмотрения. Его концепция такова. Слова (ономата и ремата) суть знаки вещей и идей. Отдельные идеи, сочетаясь друг с другом, дают диалектическую структуру особого рода — «дианойю», или рассуждение<sup>4</sup>. Дианойя есть диалог, «беззвучная беседа с самим собой». Результатом же этого диалога является «докса», т. е. мнение (утверждение или отрицание): оно-то и отображается при помощи знаков — в логосе, который есть структура особого рода, отличная от дианойи. Иначе говоря, докса — это содержание, которое человек выражает в речи, в логосе. Платон определяет ее как «словесное выражение, но без участия голоса и обращенное не к кому-то другому, а к самому себе, молча» [11, с. 149].

Попытаемся подвести итог изложенной выше позиции Гераклита и ее развитию у Платона.

У вещей есть универсальные, сущностные характеристики: и «не то, что изменяется и проходит, как чувственные вещи, а то, что пребывает неизменным, общие свойства и отношения, родовые формы обладают подлинной действительностью» [14]. Это и есть истинная «природа вещей», выступающая у Платона как система эйдосов, идей. Чтобы в эту природу проникнуть, требуется рассуждение. Но нас не может интересовать сущность вещей как таковая, она нужна нам, чтобы истинно, природосообразно действовать с этими вещами, получая адекватный результат.

Орудием «поучения и разбора сущности», т. е. рассуждения, является слово. Только через него идеи становятся доступными, соединяются в нашем разуме с вещами. Но оно само по себе не обязательно отражает сущность вещи, «логос» (в гераклитовском смысле) или «идею» (по Платону), но лишь номос — закон или обычай. Мера соответствия номоса вообще, и слова в частности, логосу и есть их природосообразность, соответствие сущности. Поэтому сами по себе слова (имена) не являются источником познания свойств вещей, как утверждает в диалоге «Кратил». Ономатург, словотворец, создает слово, стремясь как можно больше отобразить в нем скрытый логос или идею вещи. А диалектик судит о том, насколько это ему удалось, на основании практического применения слова в общении. Именно общение, диалог и делает необходимым существование слова как особой реальности, различие логоса и номоса. И именно общение, т. е. логос, верифицирует «правильность» имен.

Слово выступает в двух видах деятельности: в рассуждении (дианойя), результатом которого является мнение, докса; и в общении, т. е. в логосе, который при помощи знаков обозначает и выражает для другого мнение. Первое есть акт индивидуальный; второе — акт совместного целесообразного действия при помощи слова. Докса может быть верной или ошибочной; и лишь в логосе это выясняется.

Но ономатург создает не вообще словá, не вообще слово соотносимо с вещью и выступает как «правильное» или «неправильное»: речь идет

<sup>4</sup> Кроме идей, компонентами дианойи являются восприятия или представления вещей. Они обладают свойством истинности, т. е. правильно или неправильно отражают сущность. Поэтому дианойя и ее продукт — докса относятся к сфере номоса; только в общении, в платоновом логосе мы приходим к подлинному, абсолютному знанию.

пока только об и м е н и, об онома. Чтобы построить логос, мало иметь ономата: необходимы и ремата, в которых отображены идеи действий или сущностных признаков. Логос и есть процесс приписывания вещи определенных свойств, процесс утверждения бытия или небытия вещи, описание действий этой вещи (субъекта) или действий с ней. Он — предикат к реальности, опосредованный дианоией (и не случайно Я. Хинтиikka [15] видит в доксе идею пропозиции).

Все это хотя и не до конца последовательно, но по-своему очень логично. Поэтому странно читать в современной монографии о «довольно путанных рассуждениях о языке в диалоге „Кратил“, о «низкой оценке Платоном языка и его функциональных возможностей» и т. п. [16, с. 14—15].

Платон никоим образом не «устраняет проблему языка из своей философии»: как утверждает Жюль; он пытается решить ее, причем глубже, чем это удалось многим мыслителям более позднего времени. А именно, он четко противопоставляет: а) содержательную отнесенность имени к той или иной чувственно воспринимаемой вещи и отображение в имени сущности вещи, ее «идеи»; б) объективное содержание понятия (значения, слова) и отображение в нем того, что является обычаем или законом, номосом; в) содержательный аспект отдельного слова (имени) и содержательный аспект логоса (высказывания), выражение которого опосредовано словесными знаками. Это уже очень много для одного из основоположников теории значения. Прибавим к этому идею диалога, общения как способа верификации «правильности имен», а также понятие знака<sup>5</sup>, хотя у Платона он еще совпадает с означающим.

Многое из того, что описано выше, находит параллель в китайской и древнеиндийской философии. Так, понятию логоса (в гераклитовском смысле) или платоновой идее довольно близко отвечает китайское «дао», которое, являясь сущностной основой мира, не может быть выражено словами и постижимо лишь умозрительно. Соответственно понятию номоса можно приравнять «дэ», которое может быть низким или высоким. В этой связи весьма показательна приводимая Рождественским [5, с. 35—36] цитата из древнеиндийского филолога Патанджали, где очень много общего с платоновской концепцией слова.

**2. Аристотель и стойки.** Следующим этапом в развитии семантической теории следует считать деятельность Аристотеля. Он исходит из универсальности вещей и рассматривает «возбуждения души» как образы вещей; эти «возбуждения души» тоже универсальны, но язык, слова как знаки для «возбуждения души» или «знаки состояния души» уже не носят всеобщего характера. Слова суть также знаки для родовых и видовых свойств вещей. Они суть орудия познания вещей, как и для Платона. Но не сами имена, а способы их соединения и разделения обеспечивают истинность. Следовательно, нужно изучать разные такие способы: здесь исток аристотелевой логики. Именно поэтому Аристотель говорит о понятии отдельно от слова. Ведь «применение» слова не всегда соответствует сущности понятия. «Одно и то же предложение и одно и то же имя [неизбежно] должно иметь много значений. И тот, кто не знает значения слов, при умозаключении будет обманываем...» [17, с. 149]. «Значение слов» здесь обозначается, кстати, как их «логос» — т. е. и с т п н о е значение, прогивоположное «свойству» или «применению» этих слов. Понятие может, по Аристотелю, отражаться в целом высказывании, а не только

<sup>5</sup> Впрочем, это понятие существовало у греков и в доплатоновский период. Ср. у Парменида: «Каждой же вещи, как знак, людьми было придано имя» [17, с. 50].

в отдельном слове, или не соответствовать определенному слову. Впрочем, на практике Аристотель, говоря о логическом выводе, т. е. о формах мышления, часто отождествлял их с формами языка, и лишь обращаясь к художественной речи, четко указывал на их различие.

Штейнталь отмечает, что логика Аристотеля была, в сущности, учением о соотношении несловесных понятий, а не о правилах построения суждения или высказывания: отсюда в его «Аналитиках» в качестве исходного понятия выступает термин («орос»), а не суждение («протасис»). Эти собственно логические отношения понятий по объему и соответствующие им правила силлогистического вывода находят свое выражение в формах языка.

Особенно интересно соотношение у Аристотеля понятий «просегория» и «категория». Просегория есть использование имени (онома) для обозначения вещи, это — операция, соответствующая идее знаковости имени<sup>6</sup>. Напротив, категория есть использование слова (именно ремы, а не онома) как предиката к действительности (рема, говорит Аристотель, есть знак того, что говорится о субстанции или существует в субстанции).

Рема вне связной речи, логоса — это онома, она также что-то означает, но не утверждает и не отрицает. Ремой она становится, когда к ее значению присоединяется какая-то динамическая характеристика, какая-то «бытийность». Но сама по себе эта характеристика тоже есть онома: следовательно, рема есть результат сочетания одной ономы с другой, придающего одной из них свойство ремы. Это сочетание для Аристотеля и есть логос. «С одной стороны, онома — любое слово вообще, слово *an sich*; с другой, это такое слово, которое в логосе образует противостояние реме. Ремой может служить любое слово; ибо оно не само по себе рема, а становится таковой благодаря применению ее в высказывании» [7, с. 237]<sup>7</sup>. Кстати, для Аристотеля и атрибутивное словосочетание является логосом. И онома и рема суть «значащие звуки», знаки. Что они обозначают? Либо образы вещей, т. е. «первые сущности», либо не отдельные образы или предметы, но понятия, нозмы, т. е. «вторые сущности» — виды и роды. (Впрочем, термина «нозма», который мы до сих пор переводили как «понятие», на самом деле имеет несколько иное содержание. Это «результат переработки опытных данных с помощью разума» [19, с. 52] или «всякое необразное, отвлеченное от условий восприятия предмета в определенный момент времени и в определенном пункте пространства содержанье мысли» [20].

Итак, перед нами мир вещной действительности, реальные «предметы, отражением которых являются представления», и сами эти «представления, находящиеся в душе, которых непосредственные знаки суть слова» [8, с. 60]. С другой стороны, эти «первые сущности», или субстанции, могут обобщаться при помощи понятий, также реализуемых в слове. Нозмы (понятия) высвобождаются в логическом рассуждении как термины («орой»). Само это рассуждение (протасис) соотносено с понятием логоса, который есть соединение слов, выражающее утверждение или отрицание бытия чего-то и являющееся категорией, поскольку оно предиктирует действи-

<sup>6</sup> «...В разговоре мы... вместо вещей пользуемся именами и знаками» [17, с. 149]. В этом отношении интересна мысль Аристотеля, что имя получает значение «лишь тогда, когда становится символом» (цит. по [11, с. 157]).

<sup>7</sup> Ю. В. Рождественский совершенно напрасно вслед за переводчиками «Античных теорий языка и стиля» интерпретирует оному у Аристотеля как «имя», а реме — как «глагол» [5, с. 93]. Даже из нашего изложения видно, что для этого нет достаточных оснований. К сожалению, это стало общим местом в науке (ср., например, [18, с. 17]).

тельность через просегиорию — отношение имени (онома) к этой действительности.

Мы не случайно так подробно остановились на рассуждениях Аристотеля, как раньше — на высказываниях Платона. Как мы увидим далее, к платоновской и аристотелевской концепциям восходят практически все проблемы современной семантической теории, и раскрыть их без подробного исторического экскурса попросту невозможно. Удивительно, между прочим, что К. К. Жоль, заметивший [16, с. 34—36] параллель между теорией смысла и значения Г. Фреге (и понятием экстенционала и интенционала у Р. Карнапа) и учением индийского филолога Анандавардханы о «дхвани», не уловил совершенно явной «переклички» между этим последним и системой Аристотеля, кратко изложенной выше. К сожалению, он не одинок, и слишком часто современные авторы понимают концепции авторов древности слишком упрощенно либо приписывают им более позднее понимание анализируемых вопросов (например, Аристотелю — стоическое).

Отрадным исключением является Л. К. Науменко, которому принадлежит, в частности, предельно тонкий и объективный анализ взглядов Платона и Аристотеля на проблему идеи (понятия) в ее отношении к вещи. «Абсолютизация инобытия вещи» у Платона, составляющая основу его идеализма, соединяется у него, по Науменко, с вполне материалистической мыслью о том, что сущностей столько, сколько у вещи функций, сообщающих ей устойчивость, определенность и целостность. Идея вещи (которая представляет собой персонификацию сущности, а значит объективной функции вещи) потому и рассматривается Платоном как что-то независимое от чувственно воспринимаемой вещи, что эта последняя, лишенная своих внешних связей (сущностей), превращается в аморфный материальный субстрат. «Мы слишком привыкли рассматривать идеи Платона просто как гипотазированные абстракции индивидуальных тел, как отвлеченные образы единичных вещей, которым придано самостоятельное существование. В действительности же идеи Платона — это образы не индивидуальных тел, а функций» [1, с. 100].

Чтобы покончить с античным периодом в развитии семантической теории, кратко остановимся на взглядах стоиков. Логос (как высказывание) понимается стоиками как проявление универсального разума, своего рода «мирового духа», одухотворяющего мертвый субстрат и тоже носящего название «логоса» (хотя он здесь и отождествляется с номосом — «всеобщим обычаем»). Он проявляется через индивидуальный разум. Стоики знали четыре основных категории. Первая из них — вещь, предмет. Вторая — «знанной» [Штейнталь переводит это слово как «представление», но на самом деле это — понятие, которое образуется либо в результате деятельности разума, либо на основе чувственного представления, образа вещи в душе (фантасма)]. Третья категория — слово, или, точнее, голос, членораздельный звук («фоне»), служащий орудием обозначения (он обозначает знанной и через них — вещи). Наконец, четвертая категория, самая интересная — это «лектон», на котором мы остановимся чуть дальше. Сейчас достаточно отметить, что это содержательный аспект высказывания или слова как части высказывания. У слова как такового тоже есть свой лектон, но он «недостаточен».

Таким образом, речь есть значащий звук, направляемый мыслью. «...Речь всегда что-то значит: слово (фоне) может ничего не значить..., а речь (лексис) не может» [21, с. 206]. «Лексис» позже, у Псевдо-Августина («Начала диалектики») выступает (под названием *dictio*) как единство члено-

раздельного звука (*verbum*) и лектона (*dicibile*). Но именно позже! В классической Стое «лексис» — это синоним «фоне», а «лектон» лежит в не слова<sup>8</sup>.

Остановимся на понятии «лектона», очень важно для нас, подробнее, воспользовавшись образцовым историко-философским и историко-филологическим анализом, проделанным А. Ф. Лосевым [22, 23]. Вот основные результаты этого анализа (ср. также [3, с. 144—146]).

Во-первых, лектон не имеет физической реальности и не имеет смыслового содержания, отличного от содержания соответствующего предмета или вещи. Он и есть само это содержание, значение вещи, являющееся в каком-то отношении самой вещью. Не случайно Секст Эмпирик определяет «обозначаемое» как «тот предмет, выраженный звуком, который мы постигаем своим рассудком», и даже говорит, что «обозначаемая вещь» (а она и есть «высказываемое», лектон) бестелесна [8, с. 69]. Диоген Лаэртский, излагая мнение стоиков, прямо пишет: «высказываются вещи, которые и являются *lecta*» [21, с. 286].

Во-вторых, лектон четко ограничивается стойками как от энной, т. е. осмысленного представления (понятия), так и — тем более — от «фантасма», т. е. чувственного представления, лишённого смысла. Он возникает «согласно» тому и другому. Акт «отпечатывания» в душе вещи не требует означения при помощи лектона. Это очень ярко демонстрирует в своем изложении стоической философии Сенека: «Я вижу, что Катон гуляет. На это указало чувственное восприятие, а ум этому поверил. После этого я утверждаю: „Катон гуляет“. . . . Вовсе не является телом то, что я сейчас высказываю, но оно есть нечто возвещающее о теле» ([22, с. 105], ср. [19, с. 96]).

В-третьих, лектон имеет у стоиков реляционную природу, это система смысловых отношений. В этом смысле он соответствует не только вещам (предметам) и предметно отнесенным словам, но и выступает как содержательная сторона функционально-языковых категорий, конституирующих высказывание. Отсюда «вопросительный лектон», «модальный лектон».

В-четвертых, для стоиков только «реальность, осмысленная через лектон, и есть подлинная реальность, которая и телесна, и осмысленна» [22, с. 114]. Возникающую при этом опасность дуализма стойки снимают за счет любопытнейшего учения об «энергей», т. е. о вещественных качествах вещи (ее функциях, как сказал бы Л. К. Науменко). Эти вещественные качества совершенно неотделимы от сущности вещи, но они и осмысленны.

Современные семиотики, и в частности Т. Себеок [24] и Р. О. Якобсон [25], возводят именно к стойкам понятие знака как единства означаемого и означающего. Означаемое у Якобсона соотносится с «понимаемым» («ноэтон»), а означающее — с «воспринимаемым» («эстетон»). Эти понятия, принадлежащие Хрисиппу, встречаются у него совершенно в иной связи — он считал род за понимаемое, а вид за воспринимаемое [19, с. 98]. Другим стойкам они не свойственны, да и здесь явно произвольно вырваны из общего категориального контекста. Что касается самого исходного понятия «знак» («семейон»), то, как мы помним, это повсюду у античных философов синоним «фоне», т. е. членораздельного артикулированного звучания, или

<sup>8</sup> Секст Эмпирик в одном месте противопоставляет «внутреннее слово» и «принесенное слово». А. Ф. Лосев [22, с. 100] считает, что можно приравнять это «внутреннее слово» к знаку (семейон); но даже у Псевдо-Августина знак (*signum*) определяется лишь как «то, что обнаруживает чувственному ощущению и самого себя, и что-либо помимо самого себя». Слово же и есть «знак какой-либо вещи» [7, с. 287]. Именно в этом смысле, т. е. как функционально используемый членораздельный звук, знак и понимается на протяжении всей античности и в раннем средневековье. Собственно, и у Псевдо-Августина *dictio* есть слово, произносимое ради обозначения.

по крайней мере «лексиса» — осмысленного, функционального, в н а ч а щ е г о звука. Другое употребление этого термина чуждо античным мыслителям, и если где-либо и встречается (хотя нам такой случай неизвестен), то не принадлежит к числу характерных.

Следует иметь в виду, что другая (помимо стоиков) популярная философская школа античности — эпикурейская — вообще отрицала «среднее звено» между предметом и словом. «Вы (эпикурейцы) полностью отвергаете род высказываемых, составляющий существо речи, и оставляете только звуки и предметы, вы считаете, что. . . обозначаемого. . . вовсе не существует», — пишет Плутарх (цит. по [11, с. 205]).

3. **От Филона до Абелира.** Чтобы ясно представить себе историко-философский контекст, в котором возникли и развивались средневековые семантические теории, необходимо учесть два основных момента. Первый: все раннесредневековые философские концепции находились под сильнейшим влиянием платонизма (точнее, неоплатонизма). В них, во всяком случае на первом этапе, широко используется — хотя и употребляется иначе — концептуальная система позднеантичной философии, в частности — основные категории, свойственные учению стоиков и восходящие к Платону. Второй: невозможно понять суть воззрений средневековых философов на значение, если не уловить главного, доминирующего направления их мысли. Мы имеем в виду свойственную всей средневековой философии идею, выраженную в наиболее яркой форме Псевдо-Дионисием Ареопагитом: «воистину, вещи зримые суть явленные образы вещей незримых» [26, с. 331]. Остановимся на этой идее подробнее.

Предшественником анализируемой концепции, как и христианской теологии вообще, является александриец Филон. Опираясь на учение стоиков о мировом логосе и его отображении в языке через разум отдельного человека, Филон объявил логос силой, посредством которой бог творит мир (ср. известную формулу в начале Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог. . . Все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. . .»). Логос есть то, что соединяет бога и мир, бога и человека через разум последнего. Более того, он так же относится к космосу, как человеческий разум к человеку. Разум превращается, таким образом, в слабое подобие Логоса. Слово дано человеку, в частности, в форме священного писания: правильно истолковать писание значит проникнуть в скрытую премудрость, приблизиться к божественному знанию. Отсюда целое направление в теологии — экзегетика или герменевтика [27]<sup>9</sup>. Но подлинный смысл писания связан с духовным постижением, а не с разумом как таковым, хотя совершенствование разума необходимо для постижения (экзегезы).

Блаженный Августин, развивая идеи экзегетики, рассматривает важность для нее теории знака (в частности, языка как системы знаков), являющейся чем-то вроде протопедвтики наук. Но, как правильно замечает В. В. Бычков [28, с. 264], теория знака («смейон») как условного обозначения вещей или мыслей (встречающаяся уже у Татиана и Арнобия), хотя и была развита Августином, но не характерна для раннехристианской философии в целом. В ней довольно рабски воспроизводится позиция стоиков. Впрочем, Августин был едва ли не первым, кто попытался построить общую теорию знаковых систем, частным случаем которой является теория языка. Прежде всего сюда входит разграничение искусственных и естест-

<sup>9</sup> Строго говоря, герменевтика — не синоним экзегетики. Однако здесь мы не имеем возможности вдаваться в анализ их соотношения.

венных знаков. Как уже говорилось, не это является самой важной чертой раннесредневековой семантики или семиотики, но сама концепция в ещ и к а к с и м в о л а ( з н а к а ) и д е и. Это звучит парадоксально, однако есть все основания для подобной формулировки.

«Символ в средневековом его понимании не простая условность, но обладает огромным значением и исполнен глубочайшего смысла. Ведь символичны не отдельные акты или предметы: весь посюсторонний мир не что иное, как символ мира потустороннего; поэтому любая вещь обладает двойным или множественным смыслом, наряду с практическим применением она имеет применение символическое.

Мир — это книга, написанная рукою бога, в которой каждое существо представляет собой слово, полное смысла. . . Символ, следовательно, не субъективен, а объективен, общезначим. Путь к познанию мира лежит через постижение символов, их сокровенного смысла» [29, с. 265—266].

Символы (понимаемые здесь расширительно) или образы могут иметь разную природу. В. В. Бычков выделяет три основных типа образов: миметические (подражательные), символические или символично-аллегорические и знаковые. . . Отличаются они друг от друга характером *выражения* духовного содержания в материальных образах или степенью *изоморфизма*» [28, с. 251]. К первому типу относятся, по концепции раннехристианских философов, изобразительные искусства античности — простые (для них) к о п и и действительности. Аллегории (символично-аллегорические образы) наиболее распространены. Именно сюда относится глубоко разработанное в апологетике различие «образа» (миметического) и «подобия». Телесность человека, его плоть, создана «по образу» бога, и она «является материальным выражением божественной духовности» [28, с. 260]. Подобие же относится к чисто духовной сущности человека.

Экзегетическое толкование священного писания — это, в сущности, и есть расшифровка системы заключенных в нем аллегорически-символических образов: «изреченное в словах — лишь символ скрытого смысла, который обнаруживается при толковании. . . Тело закона — словесные предписания, душа же — заключенный в словах невидимый смысл», — писал еще Филон (цит. по [28, с. 268]). Примером может служить символика апокалиптических животных, имеющих соответственно лики льва, тельца, человека и орла. По Иринею, это символы разных сторон деятельности Христа; отсюда они становятся символами четырех евангелий и даже евангелистов (Иероним), а затем — символами воплощения, смерти на кресте, воскресения и вознесения.

Наконец, третий вид образов — знаковые образы — выступает в раннехристианской культуре прежде всего как знамение — некое чудо, возмещающее собой сверхъестественное событие (знамение второго пришествия Христа и др.) — или вообще как чудо — знак божественной сущности Христа. Так, у Лактанция говорится, что страдания и чудеса Христа имеют «великую образность и знаковость» (*significantia*).

Интересное исследование символики раннехристианского средневековья принадлежит С. С. Аверинцеву. Так, он указывает, что византийский император воплощает в себе идею божественной власти, является ее живой эмблемой [26, с. 314]. «Весь мир полон символов, — констатирует Д. С. Лихачев, — и каждое явление имеет двойной смысл. Зима символизирует собою время, предшествующее крещению Христа; весна это время крещения, обновляющего человека на пороге его жизни; кроме того, весна символизирует воскресение Христа... Олень устремляется к источнику не только для того, чтобы напиться воды, но и чтобы подать пример

любви к богу... Такими же символами „вечных“ и „вневременных“ отношений были растения, драгоценные камни, численные соотношения и т. д. Средневековье пронизало мир сложной символикой, связывавшей все в единую априорную систему» [30].

В основе этого понимания лежит платоновское, а затем стоическое понимание мира как отображения божественного Логоса, а самого Логоса — как своего рода порождающей модели. Применительно к платонизму это четко сформулировал А. Ф. Лосев: «идея вещи в платонизме есть вечная и порождающая модель вещи» [23, с. 81]. Уже в рамках христианской апологетики Ориген прямо утверждает: «Логос —... образец, по которому сотворен мир. В нем план мира и идеи всего сотворенного...» (цит. по [31, с. 95]). «Ясно, что в свете такого Логоса все существующее превращалось в некоторого рода аллегория...» [22, с. 769]. К тому же источнику восходит так называемый «экземпляризм» философии Августина: «Для творимых вещей идеи выступают как образцы, по которым они творятся, как прообразы, основания и причины их бытия» [31, с. 303]. И, наконец, тот же источник, что для нас особенно важно, лежит в основе широко известного направления «реализма» в средневековой схоластической философии.

Концепция реализма представлена в раннем средневековье Ансельмом Кентерберийским и Гийомом из Шампо. С точки зрения реалистов, общие идеи (роды и виды) служат — как и для Августина — идеальными прообразами для создания единичных вещей, которые являются истинными в меру соответствия этим идеальным прообразам. Эта точка зрения находится дальнейшее развитие у Фомы Аквинского, согласно которому универсалии (идеи) имеют тройкое существование: до вещей (*ante res*) — в божественном разуме; в вещах (*in rebus*) — поскольку они воплощают идеи божественного разума; и, наконец, после вещей (*post res*) — в интеллекте человека, открывающего их в мире. Предмет отражается в душе человека через свое «подобие» (ибо телесный объект не может взаимодействовать с бестелесной душой) — чувственное впечатление. Затем эти «подобия» проходят первичную обработку так называемыми «внутренними чувствами», к которым относятся, в частности, память и воображение и которые организуют первоначальный хаос впечатлений: возникает система чувственных образов. Следующий этап, — обработка их разумом, т. е. процесс абстракции, приводящий к выявлению видовых и родовых форм, — превращает чувственные образы в образы «умопостигаемые», помещающиеся в так называемом «возможностном разуме» (*intellectus possibilis*) — здесь формы телесных тел освобождаются от физической оболочки и начинают вести чисто духовное существование. И, наконец, последний, самый высший (для человека) этап — обработка умопостигаемых образов «активным разумом», продуктом которой являются понятия, в дальнейшем используемые при образовании суждений. Интересно, что для понятий Фома Аквинский, кроме «концепта», использует термины «*species expressae*», т. е. «выраженные виды»<sup>10</sup> или же «*verba mentis*» — «слова ума» [Дальнейшие этапы познания уже не свойственны, по Фоме, людям, но только ангелам или богу: ангелам доступно озарение, но для него им нужны умопостигаемые образы (точнее «виды») — чувственные же образы им чужды; а бог для познания не нуждается и в умопостигаемых образах].

<sup>10</sup> В. В. Соколов [32, с. 369] почему-то переводит этот термин как «разумно выраженные образы», видимо, отталкиваясь от перевода «*species sensibiles*» как «чувственные образы». Но «образ» в средние века — это «*imago*». «*Species*» же — латинский перевод греческого «эидола» и соответствует у Мальбранша «*espèces*», т. е. именно «видам» [38, с. 300].

Противоположная позиция известна под названием номинализма. Его возникновение связано с именем Росцеллина. Для Росцеллина единственная реальность — индивидуальные вещи: следовательно, универсалии возникают только «после вещей», т.е. в человеческом разуме. «Роды и виды — это только звуки речи, слова, имена (nomina)» [34, с. 44]. Они выражают не отношения вещей (субстанций), но служат только для классификации слов. Точно так же трактует Росцеллин и аристотелевы категории.

Менее крайнюю позицию, известную под названием концептуализма, отстаивал в рамках номинализма Пьер Абеляр. Для него слово — не просто «пустой звук», но носитель значения (*significatio*). Слово в этом смысле способно определять предметы, выступать предикатом к ним, и не само слово, но речь является универсалией (или в ней заключаются универсалии). Общие понятия есть продукт деятельности человеческого ума и существуют только в речи (*sermo*). Они возникают в процессе абстрагирования чувственных впечатлений: есть единичная, «реальная» вещь, и есть множество ее признаков, определяемых ее «формой». Работа разума заключается в отсеивании признаков индивидуальных и синтезе таких признаков, которые объединяют вещь с другими вещами в понятия (*concepti*). Нетрудно увидеть и здесь влияние платонизма. Джохадзе и Сляжкин считают даже (но, по нашему мнению, без достаточных оснований), что Абеляр «трактует универсалии как бестелесные абстрактные предметы, обладающие значением, или короче, как сигнификаты (*significata*)» [34, с. 51].

Слово есть для Абеляра инструмент мысли, оно создается для обозначения мысли так, чтобы это слово можно было понять — перед нами снова идея, которую находим у Платона<sup>11</sup>. Но слово ни в коей мере не есть смысл вещи, оно самоценно. Противоположное мнение высказывал Ламберт из Осера, также умеренный номиналист. Он определял значение как «разум (*intellectus*) вещи, к которой прилагается слово: значению у него противостоит суппозиция (*suppositio*), т.е. отнесенность слова к единичным предметам.

Подводя предварительный итог, попытаемся сформулировать еще раз позиции реалистов и номиналистов в интересующем нас плане.

Для реалиста универсалии имеют трансцендентное существование. Они «суть некое реальное, существующее вне мыслящего субъекта и отличное от единичной вещи, . . . сущностью вещи является единственно лишь идея» [35]. Понятия, образуемые при помощи слов (вспомним «*verba mentis*» Фомы Аквинского), суть более или менее полное приближение к этим идеям («формам» у Фомы), для чего необходимо, однако, познание единичных вещей, которое не может не быть чувственным (Фома Аквинский, Жильбер Порретанский и др.). Но именно поэтому понятие по определению ограничивает глубину познания, оно не может привести нас к «конечным сущностям» (*essentiae*), для чего необходимо озарение, вообще имманентная деятельность души. Ультрареалистом можно считать философа XIV в. Иоанна Богоугодного, который как значение термина (в конечном счете как понятие) рассматривал обобщенное наглядное представление (представление об идеальном предмете). Слово для реалиста — орудие проникновения в сущность, условие понятийного, рационального познания трансцендентной идеи. Для крайнего номиналиста универсалии имеют единственное реальное существование в словах. Они возникают *post res* и являются

<sup>11</sup> Ср. у томиста Ричарда из Миддлтона понимание единичного как «не подлежащего сообщению» (*incommunicabile*) [34, с. 125].

лишь продуктом анализа и классификации слов. Для концептуалиста универсалии существуют в человеческом уме, они связаны с его аналитико-синтетической работой над признаками конкретных вещей, т.е. над результатами их чувственного познания. Понятие и есть продукт такой аналитико-синтетической работы. Слово не есть орудие этого анализа и в особенности синтеза, оно — орудие мысли как предсказания абстрактных признаков реальным предметам, и его сопособность быть орудием коммуникации является для него сущностной характеристикой. Другой вопрос, будем ли мы считать носителем значения слово (как Абельяр) или вещь (Ламберт).

И, наконец, о понятии значения, которое утвердилось именно в трудах концептуалистов. Даже из сказанного выше ясно, что у умеренных номиналистов<sup>12</sup> значение как отнесенность к предмету или классу предметов не совпадает с обобщенным, «понятийным» значением, прежде всего присутствием слову-предикату, реме. При этом способность слова быть ремой неотделима от идеи первичности «речи» (*sermo*) по отношению к отдельному слову и от «коммуникабельности», от выполняемой словом (точнее, речью) функции общения.

4. Дунс Скот и Оккам. Концептуализм получил свое окончательное оформление в начале XIV в. в трудах Иоанна Дунса Скота. Его концепция — одна из самых сложных философских систем средневековья, и Скот недаром получил в истории схоластики титул «изошренного доктора» (*doctor subtilis*). Остановимся здесь только на одном аспекте этой системы — скотовской гносеологии, как мы увидим, несущей на себе и явные следы влияния умеренного реализма.

Для Скота конечный объект разума — реальное бытие индивидуальных вещей, связанное с их формой (в смысле, близком Абельяру, а не томистам). У каждой вещи благодаря форме есть своя индивидуальная природа, ее «этовость» (*haecceitas*). Виды и роды (универсалии) не менее реальны, не менее сущностны — они так же существуют в природе и вносят в бытие индивидуальных вещей порядок, систему, а именно на их основе возможны суждения. Слово, обозначающее универсалию, таким образом, есть «знак чего-то известного, но еще не познанного» [19, с. 169] — ибо познание должно происходить в умозаключении и отталкиваться от конкретной, единичной вещи. Первоначальным орудием такого познания является чувственная интуиция. Она постигает «чувственные виды (*species sensibilis*), в результате чего образуются представления — «фантасма», а затем при помощи разума — *species specialissima*, чувственный образ. Наряду с последним и на его основе возникают «умопостигаемые виды» (*species intelligibilis*); познание их связано с идеей ментального или идеального предмета, который в одном отношении бестелесен, в другом — материален, т.е. связано не с самим предметом, но с его свойством, предикатом.

Слово, таким образом, выступает для Скота в двух ипостасях. С одной стороны, «любую сущность можно постигать на собственном ее основании и даже обозначать (*significare*): такому пониманию соответствует абстрактный модус обозначения». Эта абстрактная сущность, умопостигаемый вид, ментальный предмет и есть в первую очередь понятие — «концепт». Но, с другой стороны, есть «конкретный модус обозначения», связанный с сущ-

---

<sup>12</sup> Так, Абельяр говорит о двух различных значениях в слове или речи — «интеллектуальном» и «реальном». Ср. у Иоанна Солсберийского: «Следует различать то, что апеллятивны означают (*significans*), и то, что они называют (*nominans*). Единичные предметы называются, а универсалии означиваются» (цит. по [36, с. 208]).

ностью, формирующей конкретный предмет<sup>13</sup>. Но это не первичное познание индивидуальной вещи (это последнее может быть лишь чувственным<sup>14</sup>), а «эквивалент генерализирующей абстракции» [19, с. 172]. Кстати, Скот очень ясно сознает и прямо пишет, что концепт может быть употреблен и для отдельного индивида: «человек» — как «этот человек».

В этих двух ипостасях слова следует разобраться более детально, потому что Скот здесь, как всегда, вводит множество тонких различий. Так, понятие интерпретируется им как «среднее между вещью и речью или звуком» („vox“). Как это надо понимать? Попытаемся это сделать через скотовскую концепцию предмета логики. Для него предметом логики являются «понятия, формируемые деятельностью разума». Если средневековый реализм считал первичными предикаты, т. е. идеи, выраженные в реме, а субъекты, имена, соответствующие конкретным вещам, для него вторичны, то скотизм перевернул это отношение: для него реальные и первичны субъекты, универсалии же, отображенные в ремах, вторичны. Как и Абеляр, Скот четко разделяет два рода понятий и соответствующих им слов: понятия для субъектов (платоновские опомата, имена) и общие понятия (платоновские ремата, предикаты или предикабилии). Отсюда и его различие «конкретного» и «абстрактного» модусов обозначения — в зависимости от функции соответствующего термина в суждении. В первом случае это «конкретное понятие», во втором — «абстрактное понятие». Соответственно выступают два вида «интенции»<sup>15</sup>: первичная, направленная на конкретные объекты, и вторичная, направленная на ментальные объекты. Во втором смысле он вслед за Фомой Аквинским употребляет выражение «verbum mentis» («слово ума»). Это и есть «понятие, формируемое деятельностью разума». Если «речь» понимать как платоновский логос, то понятие как «слово ума» совершенно естественно занимает среднее место между вещью (res) или чувственными видами и речью, sermo.

Наряду с указанным различием Скот вводит «активный модус понимания»: это «способ конципирования<sup>16</sup>, при посредстве которого интеллект обозначает, конципирует либо воспринимает свойства вещи». Пассивный же модус понимания есть «свойство вещи, поскольку [оно] воспринимается интеллектом». Очевидно, что пассивный модус понимания не имеет отношения к слову. Слово «появляется на сцене» (и начинает «обозначать» вещь) только при активном модусе. При этом и тот, и другой несены с первичной интенцией, с «ономата».

Интересное различие проводит Скот и между разными видами предикабилии, понятий как таковых (абстрактных понятий). Абстракция может быть двоякой; например, понятие «человек» «отвлечено и от того и от этого человека и от материи, например, от человека белого или черного». При этом «отвлечение от того или этого» отождествляется с абстракцией от суппозита: это такой общий термин, которому соответствует ква-

<sup>13</sup> Скот цитируется нами здесь и ниже по [34, с. 155], но перевод латинского текста всюду наш, т. к. данные в этой книге переводы нередко терминологически неудовлетворительны.

<sup>14</sup> Точнее, индивидуальная вещь, по Скоту, провоцирует деятельность разума: «вещь не есть адекватная причина интенции, но только повод для ее обнаружения». Об интенции см. ниже.

<sup>15</sup> По определению Попова и Стяжкина, интенция у скотистов — это «познавательное отношение мысли к объекту, связанное с чувственным или понятийным „воспроизведением“ последнего» [19, с. 170].

<sup>16</sup> Мы условно переводим этим словом латинское «conspiciendi», т. к. предложить его од и о з н а ч е н и ю интерпретацию едва ли возможно.

тор общности «всякий» (omnis). Но возможен и иной вид абстракции, когда мы, например, имеем дело с понятием «белый человек»: оно отвлечено от «того и этого», но не от материи — ведь «„белое“ есть следствие материальных качеств»<sup>17</sup>. Здесь действует квантор общности «любой», «каждый отдельно взятый» (unusquisque). Иными словами, понятия (собственно понятия) могут в разной степени зависеть от восприятия конкретных вещей, в разной степени нести в себе их «материальность».

Таким образом, суппозит здесь — эквивалент «того и этого», т. е. конкретных денотатов общего понятия или слова. И едва ли следует, по крайней мере у Скота, искать какой-то иной смысл этого термина. Соответственно и виды суппозиции — это разные виды замещения, где в качестве «индивидов», суппозитов, выступают различные элементы: скажем, конкретные люди или же слова, обозначающие людей. Так, «человек» и «белый человек» в приведенном выше рассуждении Скота — разные суппозиты, которым соответствуют разные виды или уровни суппозиции.

Многие мысли Скота (и затем Оккама) нельзя понять до конца, не зная влиятельного в свое время трактата его старшего современника Петра Писпанского. Это относится как раз к понятию суппозиции (ср. также [3, с. 45—50]). Именно у Петра четко сформулирована мысль о различных аспектах семантики: сигнификации (соотнесенность с понятием, например, «человек»), суппозиции (соотнесенность с разными по уровню суппозитами, например, с «белым человеком» в отличие от «всякого человека», «всех людей») и апелляции (соотнесенность с конкретным человеком, индивидуальным денотатом). Именно к Петру и его последователям («модистам») восходит и скотовское понятие «модуса обозначения». Суппозицию Петр определяет следующим образом: «Суппозиция есть предпринятое с фиксированной целью употребление термина, выраженного именем (существительным). Понятие суппозиции отличается от понятия сигнификации, поскольку сигнификация возникает в связи с впечатлением, произведенным звуковой речью в ее функции обозначать что-либо... Сигнификация есть свойство звуковой речи, тогда как суппозиция есть свойство термина, уже состоящего из звуковой оболочки и смысла» (цит. по [19, с. 186], с некоторым исправлением перевода). Петр различает 10 видов суппозиций [19, с. 187—191].

Итог развития средневековой семантической теории — концепция «непобедимого доктора» Уильяма Оккама, от взглядов которого в дальнейшем отталкивались почти все мыслители Ренессанса и Просвещения. «Так называемый „терминизм“ Вильяма из Оккама... пожалуй, не отличается в основном от концептуализма Абельяра», — считает Т. Котарбинский [37]. Но в действительности это не совсем так, и главная разница здесь — в оккамовской теории интенций.

«„Первая интенция“, т. е. устремленность сознания и мысли на объект, и является условием для его познания. Однако эта „порвая интенция“ возможна только в том единственном случае, когда существует „вторая интенция“, наличная еще до отнесенности к какому-либо объекту. Но вот эта „вторая интенция“ как раз и является той первичной смысловой устремленностью, которая имеется в виду в слове как таковом и в имени как таковом... Важно не отрицать эту вторичную интенциональность. Что же касается объективности или субъективности универсалий, то для разума это недоказуемо, а верить можно во что угодно.... Они суть логическое

<sup>17</sup> А не просто «связано с материальными качествами», как переводят Джохадас и Стяжкин.

построение, применимое к любому роду бытия и потому отличное от самого бытия. Подлинная сущность универсалий только интенциональна» [38]. Как можно видеть, здесь Оккам развивает идеи Дунса Скота.

Первая интенция по Оккаму, направлена на некоторые вещи, которые не являются знаками. Концепт, или понятие, есть «естественный знак» реальной вещи. Однако его «знаковость» не самоценна, и вот здесь-то мы вплотную сталкиваемся с идеей интенциональности: акт разума, т. е. познавательная деятельность, понимается Оккамом как «ментальная пропозиция», лишенная словесных элементов. Это — акт мышления, так сказать, что «чистом» виде, оперирующий концептами, но не словами. Он-то и есть подлинный естественный знак объективного бытия: «что понятие или впечатление души обозначает, оно обозначает по природе...» (цит. по [34, с. 271]).

Вторая интенция имеет дело со «знаками знаков» (*signa signorum*). Это и есть универсалии (предикабилии), они непосредственно относятся к концептам и имеют свое бытие в высказывании (*oratio vel propositio*). За пределами речи, рассуждения универсалии лишены реального существования, и проблема истинности, таким образом, снимается. Акт познания включает только субъект (*persona*) и отображение вещи (*similitudo rei*).

Не следует, однако, понимать всю эту систему упрощенно, т. е. отождествлять первичную интенциональность с внесловесными или дословесными понятиями или «впечатлениями души», а вторичную — со словами. Дело в том, что понятие термина у Оккама обязательно связано со словом (как частью высказывания); но термины могут быть и «терминами первичной интенции», и «терминами вторичной интенции». Разберем это различие. Одни слова относятся к самим вещам (единичным и реальным): так, говоря *Человек бежит*, мы мыслим вполне конкретного, данного человека, может быть даже непосредственно его воспринимаем. Другие же являются знаками понятий (например, *Человек есть живое существо*). Кстати, здесь Оккам опирается и на идею суппозиции как «состояния подразумевания». Соотношение слова *человек* и конкретных людей обозначается как «персональная суппозиция», во втором случае мы имеем дело уже с «чистой суппозицией». То, что «подразумевается» при простой суппозиции — это «интенция души», а не что-то обозначенное, не онтологическая реальность (в отличие, скажем, от идей Петра Испанского, говорившего об «обозначении универсальной вещи»). Третий вид суппозиции — «материальная суппозиция» — подразумевает имя, слово (знак) и соответствует в современной логике автономному употреблению терминов.

Важно для нас и понятие значения или «сигнификации» у Оккама. Это понятие связано с п о с т о я н н ы м качеством знака, имени, это — суппозиция, «отложившаяся» в самом знаке. Сигнификация всегда предполагает в конечном счете познание в е щ и <sup>18</sup>: термин «обозначает истинную вещь», поэтому интенция души и не может быть сигнификатом, но только суппозитом. В сущности понятие сигнификации тем самым не является логическим, но «грамматическим», как говорилось тогда, т. е. языковым; именно такой вывод и сделал один из предшественников Оккама — Пьер д'Орсонь [34, с. 235]. Оккам, однако, предпринял дальнейший, более решительный шаг, и самое логику отнес к «словесным наукам» вместе с грамматикой и риторикой. Кроме «словесных», есть еще и «реальные науки», оперирующие терминами первичной интенции. Но ни одна

<sup>18</sup> Это, строго говоря, не совсем так. Например, «синкатегоремы» типа *всякий* приложимы к любой вещи, но тем не менее имеют постоянную сигнификацию.

наука, хотя она и исходит из познания единичных вещей, не имеет их в качестве предмета: таковыми являются только понятия, т. е. знаки, или имена. Следовательно, любая наука есть наука о знаках (первичных или вторичных)<sup>19</sup>.

Итак, с Оккамом в семантическую теорию пришла, во-первых, идея «интенциональной предметности» (как удачно выразился А. Ф. Лосев). Во-вторых, Оккаму принадлежит заслуга приведения к единой системе разрозненных ранее семантических идей и понятий (знак, сигнификация, суппозиция и др.). Наконец, в-третьих, Оккаму принадлежит теория словесного знака (термина) как единства слова и сигнификации и идея «ментальной пропозиции» как знака реальности. В этой связи приведем одно интересное высказывание Оккама о знаке: «Иначе следует понимать знак как нечто, что обуславливает (facit) возникновение чего-то иного в познании, чему свойственно замещать это иное или быть вставленным (вместо него) в предложение (propositio)..., либо чему свойственно быть составленным из упомянутых, какова речь (oratio) или предложение (propositio)» (перевод наш, цит. по [34, с. 271]). Отсюда явно следует, что не только «ментальная», но и всякая иная пропозиция, в том числе предложение, речь, является для Оккама знаком и что «замещать» (supponere) нечто — акт неразрывный с употреблением заместителя этого «нечто» в предложении.

\*

Обращаясь к пути, пройденному нами вслед за философской мыслью античности и средневековья, нельзя не заметить, что проблемы, так или иначе связанные со значением, совершенно невозможно понять вне всей системы онтологических и гносеологических воззрений анализируемых авторов. В принципе можно было бы (как это получилось, в частности, у Ю. В. Рождественского и К. К. Жюля) проследить развитие только семантики или семпотики; однако внутренняя логика и преемственность такого развития была бы в подобном случае утеряна. Именно историко-генетический анализ, предпринятый нами в настоящей работе, пожалуй, в наибольшей степени показывает неправомочность рассмотрения категории значения лишь в отдельных ее связях — в рамках той или иной конкретной науки.

Проделанный выше анализ приводит и еще к одному важному заключению. Читатель, хорошо знакомый с современными теориями значения в лингвистике, логике, психологии, не мог не обратить внимания на то, что значительная, если не подавляющая часть этих теорий не только явственно коренится в семантических и семиотических идеях античности и средних веков, но по существу сводится к переформулированию этих идей в новых (а порой и в старых, но частично переосмысленных) терминах. Уже этот факт не может не вызвать настороженности по отношению к подобным теориям и прежде всего заставляет поставить вопрос о том, какова их философская (гносеологическая и онтологическая) основа, насколько та или иная методология обуславливает ту или иную теоретическую интерпретацию.

---

<sup>19</sup> К. К. Жюль [16, с. 77] проследживает «интересную параллель» между взглядами Оккама и теорией Огдена-Ричардса. Из вышеизложенного явствует, однако, что весь позитивизм и неопозитивизм XX века коренится в средневековом номинализме [39]. К семантической теории это относится вдвойне.

1. *Науменко Л. К.* Моизм как принцип диалектической логики. Алма-Ата, 1968.
2. *Материалисты Древней Греции.* М., 1955.
3. *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
4. *Драч Г. В.* Идея Логоса в натурфилософии Гераклита и ее социальный фон // *Науковедение и история культуры.* Ростов, 1973.
5. *Рождественский Ю. В.* Теория языка в античности. Теория языка в средние века // *Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В.* Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
6. *Петров М. К.* Язык и категорные структуры // *Науковедение и история культуры.* Ростов, 1973. С. 75.
7. *Steinthal H.* Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. Berlin, 1863.
8. Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936.
9. *Тронский И. М.* Из истории античного языкознания // *Советское языкознание.* Т. 2. Л., 1936.
10. *Хабаров И. А.* Философские проблемы семиотики. М., 1978. С. 5.
11. *Перельмуттер И. А.* Платон. Аристотель. Философские школы эпохи эллинизма // *История лингвистических учений. Древний мир.* Л., 1980.
12. *Фишер К.* Декарт, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1906. С. 23.
13. *Васильева Т. В.* Беседа о логосе в платоновском «Тезете» // *Платон и его эпоха.* М., 1979. С. 298.
14. *Трубецкой С. Н.* Курс истории древней философии. 3-е изд. Ч. 2. М., 1915. С. 30.
15. *Хилтижка Я.* Познание и его объекты у Платона // *Хилтижка Я.* Логико-эпистемологические исследования. М., 1980.
16. *Жоль К. К.* Мысль. Слово. Метафора. Проблемы семантики в философском освещении. Киев, 1984.
17. Античная философия (фрагменты и свидетельства). М., 1940.
18. *Гомсен В.* История языковедения до конца XIX века. М., 1938.
19. *Попов П. С., Стяжкин Н. И.* Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. М., 1974.
20. *Алманов А. С.* Логическое учение Аристотеля. М., 1960. С. 76.
21. *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
22. *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979.
23. *Лосев А. Ф.* Учение о словесной предметности (лектор) в языкознании античных стоиков // *Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Мир. М., 1982.
24. *Sebeok Th. A.* «Semiotica» e affini // *Versus. Quaderni di studi semiotici.* 1972. № 3. 1.
25. *Яacobson P.* В поисках сущности языка // *Сборник переводов по вопросам информационной теории и практики.* М., 1970. № 16. С. 4.
26. *Аверинцев С. С.* Символика раннего Средневековья (к постановке вопроса) // *Семиотика и художественное творчество.* М., 1977.
27. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Лингвострановедческая теория слова. М., 1980. С. 271.
28. *Бычков В. В.* Эстетика поздней античности. II—III века. М., 1981.
29. *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972.
30. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 162—163.
31. *Майоров Г. Г.* Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979.
32. *Соколов В. В.* Средневековая философия. М., 1979.
33. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie.* P., 1968.
34. *Джохадзе Д. В., Стяжкин Н. И.* Введение в историю западноевропейской средневековой философии. Тбилиси, 1981.
35. *Гегель Г. В. Ф.* Лекции по истории философии. Кн. 3 // *Гегель. Соч. Т. XI.* М.—Л., 1935. С. 141.
36. *Пирс Ч. С.* Элементы логики. Grammatica speculativa // *Семиотика.* М., 1983.
37. *Котарбинский Т.* Избранные произведения. М., 1963. С. 414.
38. *Лосев А. Ф.* Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 208—210.
39. *Соколов В., Грязнов В., Яновская С.* Номинализм // *Философская энциклопедия.* Т. 4. М., 1967.

ШМИТТ Р.

ПРАГМАТИКА И СИСТЕМАТИКА В ЛАРИНГАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

В соответствии с теорией, которая в своих основных чертах восходит к Ф. де Соссюру [1], но разрабатывалась главным образом в первой половине нашего столетия в работах А. Кюни [2], Е. Куриловича [3] и других (о раннем этапе развития этой теории, столь неудачно названной «ларингальной», ср. в первую очередь статью Семереньи [4]), для и.-е. языка-основы предполагались три особых согласных фонемы —  $*/h_1/$ ,  $*/h_2/$ ,  $*/h_3/$ . По поводу этих согласных необходимо отметить следующее. В исторически засвидетельствованных и.-е. языках указанные фонемы почти полностью исчезли. Исключение составляет хетто-лувийский, где написание  $\langle h \rangle$  передает рефлексы и.-е. фонем типа  $/h/$ . Несмотря на это, опираясь на поддерживающие друг друга свидетельства ряда языков, для языка-основы можно с надежностью констатировать наличие указанных фонем. Об этом однозначно говорят, в частности, данные греческого языка, где налицо три различных рефлекса ( $\epsilon$ ,  $\alpha$ ,  $o$ ) вокализованных и.-е.  $*h_1$ ,  $h_2$ ,  $h_3$ . Такая «умеренная» концепция объединяет сейчас, очевидно, большинство исследователей, окончательно преодолевших пережитки прошлых десятилетий, «девиз» которых (*entia sunt multiplicanda*) подверг критике уже Семереньи [5]. Доказательство того, что эти фонемы — не гласные, а согласные, представил в свое время Кюни [2], опиравшийся преимущественно на развитие звукового строя в древнеиндоарийском. Необходимо иметь в виду, что закономерности древнеиндоарийского можно объяснить только в том случае, если допустить существование некоторого согласного, а не гласного «шва» ( $*\epsilon$ ) младограмматической традиции: ср., например, вед. *stīrná-* «расширенный»  $\leftarrow$  и.-е.  $*st_1rh_3-nó-$ , но не вед.  $*striná \leftarrow$  и.-е.  $*strə-nó-$ ; вед. *pūr-* «город»  $\leftarrow$  и.-е.  $*p_1h_1-$ , но не  $*plə-$ , в связи с чем следовало бы ожидать форму с  $-i-$  распространителем, и т. д.<sup>1</sup>

Вероятнее всего рассматриваемая триада согласных принадлежит к спирантам (ср. у Майрхофера [7, с. 124, примеч. 101]). Однако она — и это сейчас следовало бы признать всем серьезным исследователям — никоим образом не связана с ларингалами семитских языков, как это утверждал в свое время Г. Мёллер [8], пытавшийся подкрепить таким образом гипотезу генетического родства и.-е. и семитских языков. И хотя не подлежит сомнению, что отсутствует какая бы то ни было непосредственная связь между современной теорией и гипотезой Г. Мёллера (Мёллер еще в 1879 г., т. е. за десятки лет до первого сопоставления и.-е. языков с семитскими, принял точку зрения Соссюра на «сопантические коэффициенты», которые он с самого начала считал согласными [9, примеч. 1]). Интересно, что теория, признающая существование таких фонем в языке-основе, еще и теперь обычно называется «ларингальной теорией». Впервые

<sup>1</sup> В пользу этого Курилович [6] приводит в качестве дополнительного аргумента параллельное развитие так называемых сонорантов или резонантов.

детальное описание места и.-е. \*/h<sub>1</sub>/, /h<sub>2</sub>/, /h<sub>3</sub>/ в фонологической системе языка-основы мы находим у Майрхофера [7, с. 121 и сл., § 5.2 с обширной библиографией]. Ввиду неясности фонетической природы соответствующих фонем я, вслед за М. Майрхофером, считаю неизбежным использование указанной «алгебраической» нотации. В то же время мне хотелось бы присоединиться к совершенно справедливому и сегодня упреку Мёллера, который более ста лет назад сожалел о том, что «вообще в языковедческих книгах последнего времени пишут по преимуществу таким образом, что текст можно прочесть лишь глазами, но нельзя выговорить» [9].

К важнейшим проявлениям так называемых «ларингалов», которые, как уже было сказано, сами по себе, как правило, исчезли, относятся (а) влияние их на окраску соседних гласных и (б) удлинение кратких гласных благодаря изначально следовавшему *H*<sup>2</sup>; причем имеют место переходы: \*eh<sub>1</sub> > \*ē, \*eh<sub>2</sub> > \*ā, \*eh<sub>3</sub> > \*ō; \*h<sub>1</sub>e > \*e, \*h<sub>2</sub>e > \*a, \*h<sub>3</sub>e > \*o. Нельзя, однако, утверждать, что во всех случаях и.-е. \*a, o, ā, ō обязаны своим происхождением «ларингалу». Тем исследователям, которые по теоретическим соображениям попытались бы полностью элиминировать и.-е. \*/a/ как фонему и которым показалось бы более экономным вместо этого считаться с другой и.-е. фонемой \*/h<sub>2</sub>/, следовало бы обратить внимание на небольшое число неоспоримых корней или слов с и.-е. \*/a/ в окружении, свободном от «ларингалов».

Воззрение, согласно которому некоторые и.-е. долгие гласные  $\bar{V}$  возводятся собственно к  $\check{V}H$ , позволяет трактовать группу особых случаев в морфонологическом феномене аблаута как лишь кажущиеся исключения из правил, что в решающей степени способствует упрощению морфонологии языка-основы. Корни, в которых  $\bar{V}$  представлено обычно в полной степени аблаута (например, в греч. φη-μι, дор. φᾶ-μι «говорю», подобно εἶ-μι «иду» с соответствующими слабыми ступенями 1-го л. мн. ч. φα-μέ<sup>2</sup> и ἱ-μεν), при интерпретации  $\bar{V}$  как \**VH* ничем не отличаются от корней, в которых обнаруживается нормальный тип аблаута с кратким гласным (греч. φᾶ/φῆ < и.-е. \*b<sup>h</sup>eh<sub>2</sub>-/b<sup>h</sup>h<sub>2</sub>-, подобно и.-е. \*k<sup>h</sup>leu-/k<sup>h</sup>lu- «слышать», \*b<sup>h</sup>er-/b<sup>h</sup>r- «нести» и мн. др.). В этом отношении особую роль играют такие глаголы, как греч. δι-δω-μι «даю», τι-θη-μι «сажаю», (дор.) ἰ-στα-μι «стою», не образующие, однако, «морфологической идентичности» с вед. dā-dā-mi, dā-dhā-mi, tī-sthā-mi, т. к. у них в формах слабой степени (1-е л. мн. ч. δι-δο-μεν, τι-θε-μεν, ἰ-στα-μεν и т. д.) выступают соответствующие краткие гласные. Такое неодинаковое развитие греч. o, ε, α можно было бы объяснить с помощью традиционно предполагаемого «schwa indogermanicum» (\*ə), которое в греческом должно было бы дать α (при допущении внутрипарадигматического выравнивания по формам полной степени с долгими гласными). Но то обстоятельство, что существуют и самостоятельные, не сконнанные никакими парадигматическими узлами (следовательно, не обязанные своим становлением процессам аналогии или ассимиляции) свидетельства греч. ε, o (вм. α < и.-е. \*ə) — мне представляются особенно доказательными греч. ἐμέω «плюю» ∞ вед. vámiti < и.-е. \*ǵemh<sub>1</sub>- или греч. ἀνεμος «ветер» (< «дыхание»), -ε- которого находит свое соответствие в так называемом «соединительном гласном» ведического set-корня an<sup>2</sup>- «дышать», — дает определенное доказательство изначального различия того, что традиционно принято считать единым и.-е. \*ə.

<sup>2</sup> Используются следующие символы: *C* — согласный, *E* — гласный, подверженный аблауту, *H* — «ларингал», *T* — глухой смычный (tenuis), *V* — гласный,  $\check{V}$  — краткий гласный,  $\bar{V}$  — долгий гласный.

Речь идет об одновременном существовании трех различных \*а, т. е. о трех (в греческом соноризованных) «ларингалах». Если таким образом фонема \*/a/ будет элиминирована из инвентаря и.-е. языка-основы, то это следует рассматривать как экономное решение уже потому, что \*а занимало совершенно особое положение: прежде всего оно нарушало параллелизм подсистем кратких и долгих гласных, а это привело к тому, что ему приписывалась очень ограниченная дистрибуция.

В то же время предположительно лежащий в основе (b) процесс стяжения, как показывают архаичные примеры из отдельных языков, представляет собой нечто фонетически возможное и хорошо засвидетельствованное. Особенно отчетливо иллюстрируют это параллельные формы V, VII и IX древнеиндоарийских глагольных классов:

3-е л. ед. числа пндикатива презенса		Причастие перфекта пассива
<i>yu-ná-k-ti</i>	<i>yuk-tá-</i>	VII <i>yu-</i> «запрягать»
<i>śrṇoti &lt; *sr-ná-ṣ-ti</i>	<i>śru-tá-</i>	V <i>śru-</i> «слушать»
<i>punāti &lt; *pu-ná-H-ti</i>	<i>pū'á- &lt; puH-tá-</i>	IX <i>pū-</i> «чистить»

При этом *-H-* и соответственно признак [+ долг.] проявляется в формах *punāti*, *pūtá-* в качестве аллофона *-i-* в таких формах, как инфинитив *pāvī-tum* (наряду с *yók-tum*, *śrótum*), имя деятеля *pavi-tṛ-* (наряду с *yok-tṛ-*, *śrót-tṛ-*) от *set-* корня *pū-*. Эти формы показывают основополагающее значение введенного индийскими грамматистами различия *aniṭ-* и *set-* корней, отражающего и.-е. структуру корня [класс *set* представляет развитие корней типа *C(C)E(C)H*]. Столь же наглядный пример представляет и формант опатива атематических глаголов (с широко распространенным у этой категории форм различием аблаута между единственным и множественным числом), который традиционно возводится к и.-е. \**-iē-/ī-*. Он становится очевидным и допускает параллели с другими типами аблаута лишь тогда, когда его интерпретируют как и.-е. \**-ieh<sub>1</sub>-/ih<sub>1</sub>-*. В той же связи предстает в греческом и так называемая «аттическая редупликация» типа 1-го л. ед. ч. изъявит. накл. перф. \**ἐιρήλοῦθα* (засвидетельствовано лишь гомер. *ἐιρήλοῦθα* с метрической долготой) < и.-е. \**h<sub>1</sub>lé-h<sub>1</sub>loṷd<sup>h</sup>-h<sub>2</sub>e*, которое так же относится к формам будущего времени *ἐλεύσομαι* < \**ἐλεύθ<sup>h</sup>-σομαι* < \**h<sub>1</sub>leud<sup>h</sup>-s-o<sup>0</sup>* и аориста *ἤλυθον* < \**e-h<sub>1</sub>lud<sup>h</sup>-o-m* (все — супpletивные образования от греч. *ερλομαι* «прихожу»), как *λέλοιπα* к *λείφομαι* (\**λείτ-σ-ομαι*) и *ἐλιπ-ον* (от корня и.-е. \**lei<sup>h</sup>k<sup>u</sup>* «оставлять»).

К дальнейшим проявлениям воздействия так называемых «ларингалов» можно отнести, наряду с другими, (с) исчезновение *H* в интервокальной позиции (\**VHV*) с весьма различными характеристиками образованного таким образом хиагуса — либо с его сохранением (как это обычно можно проследить в двусложных морах метрических текстов Вед или Авесты), либо с его устранением путем стяжения, а также путем вклинивания глайда (*v*, *ɥ* при *i*, *u*); (d) — обычная в межконсонантной позиции (\**CHC*) соноризация (возможно, через промежуточную ступень развития эпентетического гласного), а в индоиранском отчасти и исчезновение *H* (ср. наряду с вед. *pitár-* «отец», авест., др.-перс. *pitar-*, все из и.-е. \**ph<sub>2</sub>tér-*, ср. также староавест. односложный им. п. ед. ч. <*patā*>, следовательно, /*ptā*/ < и.-е. \**ph<sub>2</sub>tréi*)<sup>3</sup>; (e) в постконсонантно-превокальной позиции (\**CHV*) обычно исчезновение *H*<sup>4</sup>, но с изменением качества гласного (а),

<sup>3</sup> Об этой проблеме ср. теперь прежде всего [10].

<sup>4</sup> Достаточно указать на формы 3-го л. мн. ч. вышеприведенных глаголов: *punānti* < \**pu-n-H-ánti*, как *yu-ñ-j-anti* и *śi-v-v-ánti*.

однако в индоиранском (и греческом) — с придыхательностью предшествующего глухого смычного (\**THV* < \**T<sup>h</sup>V*), что особенно ясно представлено в парадигме авест. *pañt-* «путь», где объединены им. п. ед. ч. *pañtā* < инд.-иран. \**pāntās* < и.-е. \**pént-eH-s* (или близкие к этому случаи<sup>5</sup>) и род. п. ед. ч. *pañb* < инд.-иран. \**pāhās* < и.-е. \**pñt-H-és* (в то время как вед. *pānthās*, *pañās* выравниваются благодаря введению аспираты), или в параллелизме вед. *rātha-* «повозка» < и.-е. \**rót-h<sub>2</sub>-o-* и лат. *rota* «колесо» < и.-е. \**rot-eh<sub>2</sub>*, соотносящихся примерно так же, как греч. ἔτος < \**Fétos*: «год» и вед. *vātsa-* «теленос», собственно «годовалый».

Существование в языке-основе так называемых «ларингалов» особенно четко выявляется при сравнениях, проводимых внутри системы аблаута. Но и без привлечения данных этой системы можно реконструировать для и.-е. языка-основы формы с /h/-фонемами. Ряд явлений в отдельных языках, которые невозможно истолковать традиционными средствами — по крайней мере пока подход многих исследователей в этой области весьма прагматичен, — таким путем, а зачастую и только таким путем получает убедительное и простое объяснение. В особенности это имеет место тогда, когда таким образом можно подвергнуть сравнению явления различных языков, благодаря чему значительно возрастает степень очевидности наличия «ларингалов». Это относится, например, к случаю так называемого «закона Бругмана», индоиранского передвижения, при котором многочисленные исключения из правила как в его изначальной (и.-е. \**ǵ* > инд.-иран. \**ā* в открытом слоге), так и в модифицированной формулировке Клейнханса (и.-е. \**ǵ* > инд.-иран. \**ā* в открытом слоге перед \**r*, *l*, *m*, *n*) можно рассматривать как абсолютно закономерные при reinterpretации исходных форм с учетом других свидетельств, указывающих на былое наличие «ларингалов». Например, в противоположность каузативу вед. *tāpaya-* < и.-е. \**ton-eje-* (от *anīt-* корня и.-е. \**ten-* «тянуть, напирать»), демонстрирующему действие закона Бругмана, это действие полностью отсутствует в вед. *jāpaya-*, что совершенно закономерно, т. к. в этом случае *sej-* корень вед. *jan<sup>i</sup>-* «производить, рождать» < и.-е. \**ǵenh<sub>1</sub>-* произведен от исходной формы и.-е. \**ǵonh<sub>1</sub>-eje-* (\**/ǵon<sup>h</sup>h<sub>1</sub>e<sup>i</sup>-/*), где *-o-* не находится в исходе слога. Случай такого рода, когда «ларингал», оказывающий влияние на границу слога, препятствует переходу и.-е. \**ǵ* > инд.-иран. \**ā*, доказывают, кроме того, что с *H* консонантного характера следует считаться еще и в эпоху отдельных и.-е. языков.

Сходный пример, дающий возможность выявить следы «ларингала», представляют в греческом протетические гласные, которые можно связать, с одной стороны, со случаями так называемого индоиранского «композиционного удлинения», с другой — собственно в греческом — с особыми случаями *α-privativum* (а именно с так называемым *ν-privativum*). Греч. ἀνήρ «мужчина», демонстрирующее при сравнении с вед. *nār-*, итал. \**ner-* (осск. род. п. мн. ч. *ner-um* и т. д.) ту же гласную протезу, что и фриг. *αυαρ*, арм. *ayr* (с род. п. ед. ч. *aṙn* < и.-е. \**h<sub>2</sub>nr-ós*, как греч. ἀνδρως), можно объединить с этими словами лишь в том случае, если предположить, что оно произошло из и.-е. \**h<sub>2</sub>ner-*, и допустить в греч. *ā-* и т. д. соноризованный «ларингал». Этот последний, однако, не постулируется ad hoc, а надежно устанавливается для этого слова благодаря индоиранским свидетельствам удлинения *Ǟ* перед *H* (т. е. \**VH* > *Ǟ*) там, где они соединены

<sup>5</sup> Относительно этой формы, в которой корневой акцент и полные ступени аблаута в корне и основообразующем форманте противостоят друг другу, ср. [7, с. 136, примеч. 159].

в инлауте; так, в Jасна 46, 2b непосредственно рядом с *kaṃna-fšuuā* «с малым количеством скота» (< инд.-иран. \**kaṃna-pšū-a-*) стоит *kaṃnānā* «с малым количеством людей» (< инд.-иран. \**kaṃna-Hnar-*), или в ведийском, где есть композиты *sūnāra-* «с доброй силой» и *viśvānara* «со всей силой», содержащие наряду с *su-* «добрый» и *viśva-* «весь» основу инд.-иран. \**Hnar-* «жизненная сила»; эта основа в конечном счёте, естественно, структурно и материально идентична и.-е. \**h<sub>2</sub>n<sup>ér</sup>-* «мужчина». Такие встречающиеся в композитах свидетельства инд.-иран. \**Hnar-* доказывают в то же время, что \**H* наличествовал еще в индоиранском и исчез в абсолютном инлауте лишь в ходе развития отдельных индоиранских языков.

Среди греческих привативных композитов наряду с нормальным типом *á-* (перед *C*) и *á-* (перед *V*) находим ряд функционально тождественных форм с *vā-*, *vḡ-*, *vó-*, среди прочих. например, *vḡḡre-os* «без просыпа» (от *éḡeíρω*), *vḡis*, «без знания» (от *id-eiv*), *vḡmerḡs* «без заблуждения, безошибочно» (от *ámarávw*), *vónv(ν)os* «без имени» (от *onoμα*); позднее переоформлено в *ánónvmos*), \**v.οφελής* «бесполезный» в микен. *po-re-ha/nōpheléal* (от *ōφελος*; позднее переоформлено в *án.οφελής*) и мн. др. Некоторые из этих древнейших примеров исчерпывающе объясняются как закономерные рефлексы и.-е. \**n-* + *H*; в частности, греч. *vḡ-* < и.-е. \**n-h<sub>1</sub>-*, греч. *vā-* (ион.-атт. *vḡ-*) < и.-е. \**n-h<sub>2</sub>-*, греч. *vó-* < и.-е. \**n-h<sub>3</sub>-*. Таким образом, греч. *vḡmerḡs* возникло из и.-е. \**n-h<sub>1</sub>gr-eto-* [с \**n<sub>h</sub>1*] > *vḡ* как в инлауте в греч. (*κασι-*) *γνητος* = лат. (*g*)*nātus* = вед. *jatā-* < и.-е. \**zn<sub>h</sub>1-tó-* «рожденный»] или *vḡmerḡs*, дор. *vāmerḡs* < и.-е. \**n-h<sub>3</sub>mert-es-* [с \**n<sub>h</sub>2*] > *vā* в соответствии с \**l<sub>h</sub>2*] > *lā* в греч. *τλητός*, *τλάτος* «претерпевающий» = лат. (*t*)*lātus* «вынесенный» < и.-е. \**l<sub>h</sub>2-tó-* от и.-е. корня \**telh<sub>2</sub>-* «(вы)сосить»<sup>6</sup>.

Позиция некоторых исследователей, стремящихся независимо от «ларингалистского» принципа найти для этого подхода независимое подтверждение, наверняка (по крайней мере отчасти) объясняется самим развитием науки. Дело в том, что в лингвистике длительное время господствовала тенденция объявлять ересью все, что имело отношение к «ларингалам». С такой гиперкритической позицией можно время от времени встретиться еще и сегодня. Например, автор введения в арменистику, в котором преследуются прежде всего описательные цели, а элементарные сравнительные толкования вводятся лишь на правах вспомогательного материала, получает одобрение одного из самых заядлых «антиларингалистов» за абсолютный отказ от какого бы то ни было упоминания о ларингалах [13]. Между тем следует напомнить, что автор, получивший такую похвалу, в других своих работах, посвященных и.-е. языку-основе, допускает последовательное и иногда даже резко бросающееся в глаза использование ларингалов. Ясно, что рецензент не заметил прагматической цели автора — по дидактическим причинам освободить введение, насколько это вообще возможно, от всех спорных проблем, вызывающих, однако, интерес специалистов, которые не прекращают попыток их разрешить.

Вследствие такой гиперкритической позиции в отношении ларингальной теории (она была весьма сильна еще в пятидесятые годы и представляла собой реакцию на предлагавшуюся время от времени «волшебную палочку ларингалистики») даже некоторые осторожные исследователи пришли к воззрениям, в основе своей неприемлемым. Я имею в виду, например, тот «тезис», который защищал в одной из своих последних работ

<sup>6</sup> Об этом типе отрицательных композитов см. [11, с. 145—149; 12, с. 98—113].

А. Дебруннер и который в известной степени может считаться его научным завещанием: «все явления, которые с некоторой вероятностью могут быть объяснены без ларингальной теории, лишь затемняются ларингалами; только в тех случаях, когда, невзирая на самые серьезные усилия, не удастся найти ничего приемлемого, можно попробовать обратиться к новым воззрениям — но с большой осторожностью» [14]. Как я уже сказал, такую компромиссную позицию я считаю неприемлемой. В самом деле, либо и.-е. язык-основа обладал фонемами /\*h<sub>1</sub>/, /\*h<sub>2</sub>/, /\*h<sub>3</sub>/, как это постулируется в ларингальной теории, и тогда они, как и все другие фонемы языка-основы, должны последовательно приниматься во внимание при любой форме реконструкции, либо таких фонем там не было — то ли, согласно воззрениям данного автора, вообще, то ли в рамках определенной формы представления материала, избранной из тех или иных соображений, — и тогда они излишни в любой реконструкции. Третьего не дано; ни в коем случае невозможно чередовать в пределах одного и того же исследования «ларингалистский» и «безларингальный» подходы к реконструкции. Следует учесть, что при построении ларингальной теории исследователи исходили из критики младограмматического учения о «шва»: именно по отношению к этому учению в ларингальной теории было изменено число ларингалов и выводимое из оппозиций определение языка-основы. Совершенно иначе трактуется положение вещей в различных вариантах распространившейся в семидесятые годы т. н. «глоттальной теории», которая принимает в расчет некогда существовавшие глоттализованные смычные<sup>7</sup>. В этом случае традиционно реконструируемые для языка-основы смычные фонемы практически подвергаются лишь реинтерпретации, а праформы получают другую запись, хотя система смычных в целом, преимущественно по типологическим причинам, приобретает иной облик и в соответствии с этим по-иному трактуются и процессы ее развития в отдельных языках.

На практике включение и.-е. «ларингальных» фонем в реконструированные формы языка-основы, вообще говоря, лишь отчасти осуществляется на базе фактически засвидетельствованных рефлексов в отдельных языках. Чаще опорой — и зачастую исключительной — служат теоретические построения или определенные постулаты, касающиеся фонологического и/или морфонологического облика и.-е. языка-основы, например, структура и.-е. корней (которая по гипотезе Бенвениста [16] обычно имела минимальный вид *SEC*), аблаута и т. д.

Многие исследователи придерживаются, как это можно увидеть в соответствующих работах, прагматической точки зрения, согласно которой те реконструкции /h/-фонем, которые фиксируются материалом отдельных языков (и, со своей стороны, способствуют объяснению этого материала), обоснованы надежнее, чем те, которые принимаются только в силу определенных структурно ориентированных аксиом. И в самом деле, предположение об и.-е. корне \*h<sub>1</sub>es- «быть» вместо традиционно принимаемого \*es- до тех пор выглядит как результат *petitio principii*, пока его не рассматривают в связи с отрицательной формой ведического причастия *āsant-* (наряду с *á-sant-*) «несуществующий», которое в непосредственном соседстве с более прозрачной формой (RV 7, 104, 8d), несомненно (ср. у Ольденберга [17]), обнаруживает достойную внимания долготу гласного в анлауте и поэтому должно интерпретироваться как и.-е. \*h<sub>1</sub>es-ont-. Но предположив здесь и.-е. корень \*h<sub>1</sub>es-, мы получаем и возможность

<sup>7</sup> Наиболее подробно эта теория обоснована Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым, ср. [15]; см. также указания Маурхофера [7, с. 93 и сл., примеч. 16].

понять такие греческие формы, как 2-е л. ед. ч. опт. през. εἶρε и т. д., относительно которых до сих пор приходилось предполагать нерегулярность аблаута. Они восходят к и.-е.  $*h_1s-iéh_1s$  и т. д., и таким образом следует признать абсолютную идентичность греческой парадигмы опгати-ва в целом с вед.  $syás$ , др.-лат.  $siēs$  и т. д. То же самое справедливо и для других форм «нулевой ступени» этого корня, таких, как 3-е л. мн. ч. инд. през. хетт.  $\langle a-ša-an-zi \rangle /asanzi/$ , греч. мик.  $\langle e-e-si \rangle /ehensi/$ , дор.  $ἐντι < *ēnti < *ehenti$ , ион.-атт.  $εἶσι < *ehenti$ , все  $< и.-е. *h_1s-ēnti$  и идентичны вед.  $sānti$ , гот.  $sind$  и др.

Сходно обстоит дело и с «традиционным» и.-е.  $*ag-$ , которое записывается в виде  $*h_2gē-$  «вести, гнать». В соответствии с предложением Штрунка [18] можно установить связь на уровне корня между вед.  $aj-$  «гнать» и глаголом того же значения вед.  $ījate$ , ранняя форма которого трактуется как редуцированный тематический презенс и.-е.  $*h_2i-h_2gē-toi$ . Таким образом, только на базе «ларингала» в начале корня можно объяснить долготу  $īj-$ .

Некоторые вопросы вызывает и.-е. слово со значением «имя», в котором уже в греческом соседствуют формы ион.-атт.  $ἄνομα$ , эол., дор.  $ἄνομα$  и дор.  $ἔνομα$  (засвидетельствовано только в двух собственных именах  $Ἐνομακράτιδᾶς$  и  $Ἐνομακτιάδᾶς$ ). Эти формы допускают дальнейшее объединение с арм.  $anown$ , вед.  $nāman-$ , лат.  $nōmen$ , хетт.  $\langle la-a-ma-an \rangle /lāman/$  (явная диссимилиация из  $*/nāman/$ ) и другими. В связи с тем, что основы среднего рода на  $*-men-$  обнаруживают полную ступень аблаута с  $-e-$  [например, греч.  $δέρμα$ , σπέρμα, εἶμα  $< *Fēcma, χεῖμα, χεῖμα$  и т. д., хотя наряду с этим в отдельных языках еще остаются отчетливые следы флексионного аблаута (ср. в греческом вариант Геродота  $θαῖμα$  к  $θαῖμα$  «чудо» и др.)], в случае со словом «имя» следует считаться с обоими явлениями. В настоящее время<sup>8</sup> многие из тех, кто вообще не отрицает наличие «ларингала» в этом слове, подобно Баммесбергеру [19], соглашаются с наличием «протеродинамической» (в терминологии Х. Педерсена) парадигмы и.-е. им. п. ед. ч.  $*h_1neh_3-mn/mōn$ , род. п. ед. ч.  $*h_1nh_3-men-s$ . Приняв идею парадигматического выравнивания (ср. вед. род. п. ед. ч.  $nā-mn-as$  по им. п. ед. ч.  $nāman$ ) и переоформления (ср. в греческом основы на  $-μα/-ματ-$ , особенно при нулевой ступени корня), можно без особых трудностей вывести отсюда формы отдельных языков, не привлекая при этом «Schwebeablaut» или сходные феномены<sup>9</sup>.

Но основной проблемой, с моей точки зрения, был и остается анлаут, для которого, собственно, благодаря совпадающим свидетельствам греческого и армянского (а теперь, очевидно, еще и так называемого иероглифического лувийского<sup>10</sup>), очень легко предположить фонему /h/. Так как арм.  $a-$  по результатам вполне достоверных этимологических сопоставлений может восходить к любому из трех и.-е. ларингалов ( $*h_1, h_2, h_3$ ), а соответствующий анлаут др.-иран.  $ahm^a$ , ст.-слав.  $imę$  и т. д. и др.-прусск.  $emnes, emnen, emmens$  и т. д. столь же достоверно может возводиться как к и.-е.  $*h_2$ <sup>11</sup> ( $< *Hh_2-$ ), так и к  $*h_1n-$ , то разрешающая способность всех этих форм в вопросе об анлауте остается в высшей степени ограниченной. Сторонники существования и.-е.  $*h_1-$  апеллируют преимущественно к греч. форме  $*ἔνομα$ . Но я не вижу причин, почему именно так должна

<sup>8</sup> Ср. [7, с. 126]. Мы не стремились к систематическому обзору всей обширной литературы, относящейся к этому слову.

<sup>9</sup> К этому сводится то, что можно прочесть в [20, с. 91, примеч. 562].

<sup>10</sup> О перогл.-лув. /adamman/ ср. [21].

<sup>11</sup> Ср. балтийские и славянские данные в [22], с указанием литературы.

быть представлена «древнейшая греческая форма» [7, с. 126]: на самом деле она не является древнейшей из засвидетельствованных форм — в эпосе мы находим как *δύομα*, так и (с метрическим удлинением) *ὄβομα*. Если для греческого, где явно обобщена нулевая ступень корня так называемого «слабого падежа», исходить из  $*h_1nh_3-m^0$ , то следует ожидать  $*\acute{\epsilon}βομα$ , которое наиболее очевидным образом через лабиальную ассимиляцию *o* с *μ* переходит в  $*\acute{\epsilon}βομα$ . Из этой формы (она засвидетельствована только в двух лаконских именах) в результате нескольких последовательных процессов (частичной) ассимиляции должны были возникнуть более привычные *δύομα* и *ὄβομα* (последнее раньше всего засвидетельствовано в Илиаде и Одиссее).

Уже Кёддеритцш [23, с. 17—20] привлек здесь к рассмотрению др.-фриг. *opotan*, которое, хотя и находится в неясном контексте (надпись W 01 b, ср. теперь [24]), но в остальном неоспоримо. Если не рассматривать это слово как заимствование из греческого<sup>12</sup>, то при установлении формы языка-основы с и.-е.  $*h_1-$  необходимо предположить ассимиляцию, сопоставимую с греческой, как это сделал Кёддеритцш [23, с. 20].

В шестидесятые годы, однако, слово со значением «имя» снова стали реконструировать с анлаутом и.-е.  $*h_3-$  [41, с. 149; 20, с. 91, примеч. 562], т. к. именно эта группа слов еще достаточно четко позволяет увидеть распределение первоначально анлаутных «ларингалов». Для доказательства этой гипотезы привлекают обычно привативный композит  $\acute{\omega}\nu\mu(\nu)\acute{\omicron}\varsigma$  «безымянный» < и.-е.  $*h_3-n^0$ . Только Айхнер [25], который старался доказать наличие в этом слове  $*h_1-$ , но позднее [26] склонился к этимологическому сопоставлению с корнем греч. *ὄβο-μαι* «бранит», и.-е.  $*h_3-enh_3-$  (так уже у Бикса [42, с. 231]), сделал попытку лишить силы контраргумента греч.  $\acute{\omega}\nu\mu(\nu)\acute{\omicron}\varsigma$ , хотя и с помощью крайне лапидарного и недоказанного утверждения: «меньшее значение (т. е. по сравнению с *ἐνομα-*) имеет  $\acute{\omega}\nu\mu(\nu)\acute{\omicron}\varsigma$ , вероятно, переоформленное из  $*\acute{\omega}\nu\mu(\nu)\acute{\omicron}\varsigma$ . Это ни в коем случае не может меня убедить, и я считаю более «экономным» — в отличие от гипотезы, выказанной мною ранее [20, с. 91, примеч. 562], — исходить из и.-е.  $*h_3neh_3-$  /  $h_3nh_3-$  как пресуффиксальной части этого слова<sup>13</sup>. Против такой гипотезы свидетельствует лишь<sup>14</sup> греч. лакон.  $*\acute{\epsilon}βομα$ , которое, однако, легко может получить приемлемое объяснение, если считать его диссимилицией от *δύομα*.

Эти наблюдения, в которых автор отказался от обширного аппарата библиографических ссылок<sup>15</sup>, имели целью изложить его кредо. Однако в заключение необходимо указать на задачи, ожидающие скорейшего разрешения. Так, с одной стороны, для большинства и.-е. языков, за исключением греческого<sup>16</sup>, все еще отсутствует сравнительно-историческое из-

<sup>12</sup> Простого созвучия фриг. *opotan* с греч. *δύομα* недостаточно для того, чтобы подвести базу под эту гипотезу, в особенности если учесть явное сходство обоих языков; исход фригийской формы (*-an* < и.-е.  $*-n$ ), как мне кажется, ведет нас скорее в иную направленность.

<sup>13</sup> Как кажется, по краткому указанию в [27], Бикс, который прежде [42, с. 47, 110, 229 и сл.] высказывался очень неопределенно, теперь предпочитает анлаут  $*h_3-$ .

<sup>14</sup> Иерогл.-лув. /*adamman*/ [24] не обязательно требует наличия и.-е.  $*h_1-$ , а лишь исключает  $*h_2-$ .

<sup>15</sup> Представляется достаточным указать на следующие работы: [28] как введение в общий круг проблем «ларингальной теории»; [7, с. 121—150] как систематическое представление «ларингалов» в рамках системы фонем языка-основы. Для истории исследований окажется незаменимым находящийся в подготовке сборник «Ларингальная теория», в котором будут перепечатаны основные работы в этой области. Сборник издается М. Майрхофером в серии «Пути исследования» («Wege der Forschung»).

<sup>16</sup> В этой области «белое пятно» было «закрыто» Риксом [29].

ложение фонетики, которое последовательно принимало бы во внимание и.-е. «ларингалы». С другой стороны, хотя у Майрхофера [7] и представлено «ларингалистское» описание фонетической системы языка-основы, но еще нет «сравнительной грамматики и.-е. языков», которая бы в такой же степени исходила из «ларингальной теории».

Перевела с немецкого *Журинская М. А.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Saussure F. de. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes // Saussure F. de. Recueil des publications scientifiques. Heidelberg, 1922.*
2. *Cuny A. Notes de phonétique historique: Indo-européen et sémitique // Revue de phonétique. 1912. Bd. 2.*
3. *Kuryłowicz J. Etudes indoeuropéennes. I. Kraków, 1935.*
4. *Szemerényi O. La théorie des laryngales de Saussure à Kuryłowicz et à Benveniste. Essai de réévaluation // BSLP. 1973. Bd. 68.*
5. *Szemerényi O. Trends and tasks in comparative philology. L., 1962.*
6. *Kuryłowicz J. Probleme der indogermanischen Lautlehre // II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 10.—15. Oktober 1961: Vorträge und Veranstaltungen. Innsbruck, 1962. S. 112.*
7. *Mayrhofer M. Lautlehre: Segmentale Phonologie des Indogermanischen // Indogermanische Grammatik. I. Heidelberg, 1986.*
8. *Möller H. Vergleichendes indogermanisch-semitisches Wörterbuch. Göttingen, 1911. S. VI.*
9. *Möller H. // Englische Studien. 1880 (recte 1879). Bd. 3. S. 151 Rec.: Kluge F. Beiträge zur Geschichte der germanischen Conjugation.*
10. *Tichy E. Avestisch *pitár-iptar-*. Zur Vertretung interkonsonantischer Laryngale im Indoiranischen // MSS, 1985, Bd. 45.*
11. *Forssman B. Untersuchungen zur Sprache Pindars. Wiesbaden, 1966.*
12. *Beekes R. S. P. The development of the Proto-Indo-European laryngeals in Greek. The Hague — Paris, 1969.*
13. *Bonfante G. // Archivio glottologico italiano. 1983—1985. Bd. 68. S. 135. Rec.: Schmitt R. Grammatik des klassisch-armenischen.*
14. *Debrunner A. // Kratylos. 1958. Bd. 3. S. 29. Rec.: Liebert G. Personalpronomina und die Laryngalthorie.*
15. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I—II. Тбилиси, 1984. С. 5—80.*
16. *Benveniste E. Origines de la formation des noms en indo-européen. P., 1935.*
17. *Oldenberg H. Rgveda. Textkritische und exegetische Noten. Erstes bis sechstes Buch. Berlin, 1909. S. 272.*
18. *Strunk K. Zwei latente Fälle des verbalen Präsenstammtyps *tiṣṭha-(ti)* im Veda // ZDMG. 1977. Suppl.-Bd. III. Tl. 2.*
19. *Bammesberger A. Studien zur Laryngalthorie. Göttingen, 1984. S. 140.*
20. *Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967.*
21. *Starke F. Uridg. \**h<sub>1</sub>d-ti-* «Speise» im Luwischen // Sprache. 1985. Bd. 31. S. 252.*
22. *Тоноров В. Н. Прусский язык. М., 1979. С. 28—30.*
23. *Köderitzsch R. Brygisch, Päonisch, Makedonisch // BalkE. 1985. Bd. 28. Hf. 4.*
24. *Briše C., Lejeune M. Corpus des inscriptions paléo-phrygiennes. I: Texte. P., 1984. P. 39—41.*
25. *Eichner H. Die Etymologie von heth. *mehur* // MSS. 1973. Bd. 31. S. 86. Anm. 12.*
26. *Eichner H. Phonetik und Lautgesetze des Hethitischen — ein Weg zu ihrer Entschlüsselung // Lautgesetze und Etymologie: Akten der VI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Wien. 24.—29. September 1978. Wiesbaden, 1980. S. 144. Anm. 64.*
27. *Beekes R. S. F. // Kratylos. Bd. 31. S. 74. Rec.: Bammesberger A. Studien zur Laryngalthorie.*
28. *Lindeman F. O. Einführung in die laryngalthorie. Berlin, 1970.*
29. *Rix H. Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. Darmstadt, 1976.*

ШМАЛЬСТИГ У. Р.

## К ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

(В связи с выходом в свет книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы»)

Книга Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова — поистине впечатляющий труд. Тем не менее, как пишут сами авторы, это не механическое соединение отдельных частей, написанных ими порознь, а итог последовательного изложения выводов и результатов многолетних совместных исследований, которые велись начиная с 1970 г.

В первом томе (главы 1—7) содержится исследование фундаментальных вопросов структуры праиндоевропейского языка, охватывающее широкий круг фактов и дающее достаточно полное представление о характере этого языка в его динамическом развитии и в его типологическом соотношении с другими языковыми системами. Второй том состоит из двух разделов: (1) семантического словаря общиндоевропейского языка, построенного не по алфавитному, а по смысловому принципу (главы 1—10); (2) хронологии общиндоевропейского языка и обсуждения проблемы прародины индоевропейцев и путей миграций индоевропейских племен в исторические места их обитания (главы 11—12). По мнению авторов, оба раздела второго тома можно читать без предварительного ознакомления с первым томом, а второй раздел второго тома может быть прочитан без ознакомления с первым разделом (с. X—XI).

Исходя из определенных типологических соображений, авторы устанавливают систему согласных праиндоевропейского языка (т. I, с. 16).

Серия I (глоттализированные согласные) соответствует традиционным звонким согласным, серия II — традиционным звонким придыхательным и серия III — традиционным глухим согласным. Далее авторы устанавливают определенные ограничительные правила, характеризующие и.е. корень. Согласно первому правилу (с. 18), *«две смычные фонемы с одинаковыми наборами дифференциальных признаков несовместимы в пределах одного корня структуры  $C_1VC_2$  (невозможность корня типа  $T_1ET_2$ , где  $T_1 = T_2$ )»*. Иными словами, начальный согласный корня не может совпадать с конечным. Согласно второму правилу (с. 18), *«две глоттализированные смычные согласные (т. е. согласные серии I индоевропейских смычных) несовместимы в пределах одного корня структуры  $C_1VC_2$  (невозможность корня типа \* $t'ek'$ -, т. е. корня типа \* $deg$ - — в традиционной системе)»*. Это ограничение на сочетаемость в традиционной форме было обнаружено еще А. Мейе, однако реинтерпретация серии I как серии глоттализированных, а не звонких<sup>1</sup> делает возможным типологическое сравнение. В исконно картвельских словах не сочетаются две неидентичные глоттализированные согласные. В соответствии с третьим правилом (с. 19), *«глоттализированные могут сочетаться со всеми фонемами серии III как*

в предшествующей], так и в последующей позиции (т. е. возможны комбинации...)). Авторы привлекают внимание к отсутствию сочетаний фонем серии II (звонких смычных) с фонемами серии III (глухими смычными), т. е. нет корней типа  $D^{[h]}ET^{[h]}$ ,  $T^{[h]}ED^{[h]}$  (корни типа \**bhet-* и \**tebh-* в традиционной системе). Четвертое правило (с. 20): «Неглоттализованные смычные в составе одного корня должны характеризоваться одинаковым значением признака звонкости—глухости (т. е. возможны только корни типа  $D^{[h]}ED^{[h]}$  или  $T^{[h]}ET^{[h]}$ )». Это могло быть результатом ассимиляции по звонкости—глухости, что объясняло бы большее число корней со структурой  $T^{[h]}ET^{[h]}$  и  $D^{[h]}ED^{[h]}$  по сравнению с корнями других структурных типов.

Основной аллофон II (звонкой) и III (глухой) серии — придыхательный, но если две фонемы серии II встречаются внутри одного корня, лишь одна из них будет аспирированной (с. 21). Таким образом, как пишут авторы, закон Грассмана рассматривается как чередование придыхательных и непридыхательных звуков на аллофонном уровне, а не как процесс дезаспирации придыхательных фонем. Это хорошо согласуется с тем, что пишет И. Саг [1, с. 604], а именно, что у Панини нет первоначальных (underlying) дезаспирированных корней. И. Саг, правда, приводит другие спорные формы [1, с. 605]; «*bodhi* (императив от *bhu-*, а не *budh-*, который является неправильным в связи с наличием корневой согласной), где внекорневой придыхательный привел к дезаспирации начального согласного корня. Ведическое и классическое *jahi* (императив от *han-*) также является реликтовой формой, обнаруживающей данное древнее распределение». Конечно, действие закона Грассмана могло продолжаться и после общиндоевропейского периода.

Авторы далее пишут, что общий закон распределения придыхательных и непридыхательных аллофонов не во всех и.-е. диалектах реализовывался одинаковым образом. Наряду с распределением «непридыхательный/придыхательный ( $DED^h$ )» для некоторых и.-е. диалектов, в частности, для италийского (но, возможно, и германского ареала) можно предположить обратную последовательность — «придыхательный/непридыхательный ( $D^hED$ )». Такой дистрибуцией звонких фонем серии II можно было бы объяснить наличие начальных фрикативных *f* и *h* в тех латинских формах, где в соответствующих формах греческого и индоиранского выступают рефлексы непридыхательных и.-е. аллофонов. Ср., например, лат. *fidō* «доверять, верю», *foedus* «союз, договор» < и.-е. \**b<sup>h</sup>eloid-* (при греч. *peithomai* «убеждаюсь» < и.-е. \**beid<sup>h</sup>-*). (Однако в рамках глоттальной теории несколько иная интерпретация предложена П. Болди и Р. Джонстон-Стейвер [2].)

Аналогично звонким смычным фонемам серии II, основной вариант которых был придыхательным, у глухих смычных фонем серии III основной вариант также был аспирированным. Однако в германских языках существовали позиции, в которых фонемы серии III были непридыхательными. Так, данные германских языков предполагают, что в последовательности двух глухих смычных первая была придыхательной, а вторая — непридыхательной. Можно указать, например, на др.-в.-нем. *nift-* «племянница» при лат. *neptis* «внучка», на гот. *stairno* «звезда» при лат. *stella*, греч. *astēr*. Однако многие германские корни обнаруживают и в начальной, и в конечной позиции придыхательный вариант глухой смычной, например, гот. *frapi* «смысл, понимание» при литов. *prōtas* «разум». Это могло быть результатом позднейших аналогических изменений, и следы первоначального распределения, возможно, сохранились в та-

ких формах, как гот. *afhvārjan* «потушить» < \*k<sup>h</sup>ier — при греч. *αρδ καρῖδ*, как во фразе *αρδ δε ψυκῆν ἐκ ρυssen* «она приглушила дыхание» (Илиада, XXII, 467), др.-инд. *kūryati* «приходит в движение, в бешенство», лат. *cupio* «желаю», литов. *kvāras* «дым». По мнению авторов, постулируемая система и.-е. смычных лучше всего сохранилась в германском, армянском и, вероятно, анатолийском [(хетто-лувийском), с. 35]. Систему смычных этих языков можно вывести из праи.-е. системы с допущением лишь небольших фонетических преобразований. В частности, в германской системе первая серия глоттализированных смычных отразилась как незвонкая и в прагерманском, возможно, характеризовалась глоттальной артикуляцией. Возможные следы такой первоначальной глоттальной артикуляции видны в некоторых просодических признаках позднейших германских языков. Одним из возможных источников ларингальной (абруптивной) артикуляции слогового сегмента типа дат. *stod* и других подобных явлений в словах типа исл. *va'tn* «вода» может быть перенос признака глоттализации на весь слог с превращением этого признака в суперсегментный (с. 35). Если предположить, что основной аллофон смычных серий II и III был придыхательным, становится более понятным следующий сдвиг к фрикативным в германском.

Возможно, еще более консервативной, чем германская система, является система армянского консонантизма. Глоттализированные (серия I) согласные отразились в армянском как серия незвонких смычных, которые в ряде современных армянских диалектов и сейчас выступают как глоттализированные. Однако фонологический статус признака глоттализации был утрачен в древнеармянском, когда придыхательность глухих согласных стала фонологически значимой. Принимая закон Стертеванта, авторы приходят к выводу, что неудвоенное написание хеттских является рефлексом смычных серий I и II, в то время как удвоенное — отражением смычных серии III. Так, хет. *e-ir-pi-ur* «я взял» соотносится с лат. *arīscor* «достигаю», др.-инд. *āpnoti* «достигает» в отличие от хет. *ne-pi-iš* «небо», греч. *néphos*, др.-инд. *nābhaḥ* «облако». Различие между смычными серии I (глоттализированной) и серии III (придыхательной) сохраняется в хеттском, где мы встречаем *šiyatt-* «день», *šiumi-šiuma-* «бог», родственные соответственно лат. *diēs* «день» и *deus* «бог» < и.-е. \*t<sup>h</sup>ieus в отличие от окончания 3-го л. ед. ч. наст. вр. *-zi* < и.-е. \*-(h)z (с. 46). Ассимиляции дентальных не произошло, однако при рефлексах смычных и.-е. серии II, т. е. типа \*d<sup>h</sup>, это, возможно, объясняется просто их звонкостью.

Тохарская система пошла немного дальше хеттской: в ней все три и.-е. серии смычных слились в одну немаркированную серию глухих непридыхательных смычных. Однако различия между тремя сериями отразились в неодинаковом характере ассимиляции, которой они подверглись, ср., например, тох. А *śak*, лат. *decem* «десять» < и.-е. \*t<sup>h</sup>eK<sup>(h)</sup>-, тох. А *tsik-* «образовывать, оформлять», лат. *fungō* «образую, формирую», греч. *teikhos* «стена» < и.-е. \*d<sup>h</sup>eiG<sup>(h)</sup>-, тох. А *mācar*, лат. *māter* «мать» < и.-е. \*māt<sup>(h)</sup>er- (с. 49).

Авторы пишут, что переход глоттализированных согласных в звонкие наблюдается в ряде языков, например, в северокавказской группе. Так, бацбийские глоттализированные смычные и аффрикаты в интервокальной и конечной позиции соответствуют звонким смычным и свирнтам в чеченском и ингушском (ср. например, бацб. *nḥap'* «сон» = чеч.-инг. *nab*; бацб. *let'ar* «течь» = чеч. *ledar*, инг. *ladar*) (с. 51).

В древнеиндийском следы первоначального незвонкого характера фо-

нем серии I видны в морфемных сочетаниях типа *átti* «он ест» и *vit-tá* «известный» и соответственно и.-е. *\*et'-t<sup>h</sup>* и *\*uit'-t<sup>h</sup>* о-. В других позициях глоттализированные согласные просто озвончились и совпали со своими непридыхательными коррелятами серии II. Так, др.-инд. фонемам /b, d, g/ стали противопоставляться /bh, dh, gh/, возникшие из придыхательных аллофонов серии II. Фонема /b/, однако, не могла быть результатом озвончения глоттализированного *\*p*, поскольку эта фонема отсутствовала в и.-е. языке. Фонема /b/ возникла преимущественно как следствие переосмысления звонкого придыхательного аллофона *b* (серии II) в качестве лабиального члена серии звонких смычных, появившейся в результате озвончения фонем серии I (глоттализированных согласных). Число морфем с фонемой /b/ увеличилось за счет ономатопоэтических слов (с. 53). Авторы приводят схему вывода древнеиндийской системы из индоевропейской (т. I, с. 58).

В греческом и.-е. глоттализированная серия представлена *d, g*. У звонкого лабиального иные источники, нежели отсутствующий глоттализированный *\*p'*, ср., например, греч. *brotós* «смертный» при др.-инд. *mṛtá-h* «мертвый». Существенную роль также сыграли ономатопоэтические образования, например, *babái* (междометие удивления). Другим источником являются заимствования: греч. *báris* «плоскодонная лодка египетского типа», ср. н.-егип. *br* < копт. *bari* (с. 49).

В единичных случаях по не всегда понятным причинам смычные серии III сохранили придыхательный характер и представлены аспирированными согласными. Это относится в первую очередь к греч. *th* в окончании 2-го л. ед. ч. перфекта *-tha*, которое соответствует др.-инд. *-tha*. Это относится и к остаточным глухим придыхательным в греческом, которые, как считалось, имеют догреческое происхождение, например *áphēnos* «богатство, изобилие», ср. хет. *happin-ant* «богатый», др.-инд. *ápnas* «добро, имущество», лат. *ops* «изобилие». Вывод греческой системы из индоевропейской представлен таблицей на с. 63.

Существенной характеристикой этих преобразований является трансформация фонетического признака придыхания в фонологически релевантный признак в греческом и в древнеиндийском. При этом положительное значение признака звонкости меняется на отрицательное значение серии II при его превращении в релевантный в серии I (первоначально глоттализированная серия) (с. 64).

В итальянском преобразования в сериях I и III были аналогичны греческому и дали соответственно звонкие и глухие смычные (с. 64). В раннеитальянском произошло расщепление серий II и.-е. смычных на две фонологические серии: а) серию глухих придыхательных смычных и б) серию звонких смычных. Звонкие смычные, возникшие из непридыхательных аллофонов серии II, совпадают со звонкими рефлексам глоттализированных смычных серии I. Глухие придыхательные аллофоны, восходящие к серии II, подвергаются спонантизации — *f, θ, h*. Так, *\*b<sup>h</sup>* > итал. *\*p<sup>h</sup>* > лат. *f*, ср. лат. *ferō* «несу», умбр. *fertu; asfertur* «жрец», др.-инд. *bhárāmi* «несу» и т. п. Вывод итальянской системы из индоевропейской представлен таблицей на с. 73.

П. Болди и Р. Джонстон-Стейвер [2] предположили, что в итальянском фонетической причиной перехода начальных *\*b<sup>h</sup>, \*d<sup>h</sup>, \*g<sup>h</sup>* в *\*p<sup>h</sup>\*t<sup>h</sup>\*k<sup>h</sup>*, затем в *\*φ, \*θ, \*χ* и в *f, f, h* является начальное словесное ударение. Ср. например, *\*d<sup>h</sup>érō* > *\*p<sup>h</sup>érō* > *\*φerō* > *ferō* «несу», *\*d<sup>h</sup>ámos* > *\*t<sup>h</sup>ámos* > *\*θámos* > *fūmus* «дым», *\*g<sup>h</sup>(i)yem-* > *\*k<sup>h</sup>(i)yem-* > *\*χiems* > *hiems* «зима» в отличие от *\*álbos* > *albus* «белый», *\*widewā* > *vidua* «вдова», *\*ángu-* >

> \**angi-portus* «узкая улица». Объяснение П. Болди и Р. Дконстона дает возможность принять праиталийскую двуаспирированную основу, как, например, \**b<sup>h</sup>c/oid<sup>h</sup>*- для таких слов, как лат. *fīdō* «верую, доверяю» и *foedus* «союз, договор» и т. п., и объяснить данное специфическое преобразование — отлично от объяснения Т. Гамкрелидзе и В. Иванова — расположением ударения на начальном слоге.

По мнению авторов, в балто-славянском и кельтском смычные серии I и II полностью сливаются, противопоставляясь серии III. Предлагаемая ими система трех серий и.-е. смычных основывается на предположении о наличии по крайней мере трех рядов (зон артикуляции), охарактеризованных как лабиальный, дентальный и гуттуральный (или велярный). Фонетико-фонологический характер лабиального и дентального рядов недвусмысленно устанавливается по их рефлексам в исторически засвидетельствованных и.-е. языках. Согласные этих двух рядов можно назвать «антериорными» в противовес «постериорным», артикулируемым дальше в полости рта. Судя по типологическим данным, три названных выше ряда согласных (лабиальный, дентальный и велярный) являются «самыми естественными» (с. 82).

В качестве дополнительных артикуляций при фонемах этих рядов могут выступать (а) огубление, (б) смягчение, или палатализация и (в) отверждение, или веляризация. Признак огубления может выступать в качестве дополнительного модификатора во всех трех рядах (включая и лабиальный), хотя в наибольшей степени это относится к велярному ряду. Фонологический признак лабиализации может проявляться в виде интенсивного огубления, веляризации или фарингализации соответствующего согласного, что автоматически вызывает слабое артикуляторное огубление. Дополнительный признак палатальности или смягчения может выступать во всех согласных за исключением собственно палатальных (с. 83).

Авторы высказываются в пользу традиционного различия в и.-е. чистых велярных, лабиовелярных и палатализованных велярных (с. 95). Они также постулируют наличие в и.-е. трех разновидностей сибиланта: обычного фрикативного сибиланта \*/s/, компактной фрикативной фонемы \*/š/ и лабиализованной фонемы \*/s̥/ (с. 116—134). Первая представлена такими хорошо известными этимологиями, как др.-инд. *sādāyati* «усаживает», арм. *nstim*, греч. *hédzomai* «сажусь», лат. *sedēō* «сижу», гот. *satjan* «ставить», литов. *sėdėti* «сидеть». Компактная фрикативная фонема \*/š/ представлена нулем в начальной предконсонантной позиции в древнеиндийском в отличие от начального s- в других и.-е. языках. Примерами могут служить др.-инд. *pásyati* «видит», греч. *sképtomai* «смотрю», др.-в.-нем. *sprehōn* «рассматривать». В древнеиндийском в срединной позиции использование таких форм, как вед. перф. *paspašé*, аор. *áspašā*, привело к восстановлению форм с начальным s- (типа *spásati*). Компактная фонема \*/š/ противопоставлялась диффузной фонеме \*/s/ и может рассматриваться как палатализованный коррелят последней. В начальной позиции перед гласной фонема \*/š/ представлена во многих диалектах нулем, но в другой группе как /s/: ср. инд. *áksi*, авест. *aši*, лат. *oculus*, литов. *akis*, ст.-слав. *око*, тох. А *ak*, В *ek*, но хет. *šakuwa* «глаза», *šakuwai*, гот. *saihvān* «видеть».

В рефлексах лабиализованной фрикативной фонемы \*/s̥/ лабиализация может выступать в виде самостоятельного лабиального компонента в последовательности либо может вовсе отсутствовать. Третий вариант — сохранение лабиального компонента при утрате фрикативного. Формы с \*/s̥/ в начальной позиции: гот. *swistar*, др.-англ. *sweostor*, др.-ирл. *siur*, валл. *chwaer*, др.-пнд. *svāsar-*, арм. *k'oyr* при лат. *soror*, литов. *sesuō*,

ст.-слав. *sestra*, тох. А *ṣar*, В *ṣer* (с. 123). Ср. также галл. *suevos*, валл. *chweched* (< \**ʃek*<sup>[h]</sup>-) при лат. *sex*, гот. *saihs*, тох. А *ṣäk* (< \**sek*<sup>[h]</sup>s-) при греч. дор. *Féks*, арм. *vec'* (< \**ʒek*<sup>[h]</sup>s-) (с. 124).

Авторы постулируют также поствелярную (или увулярную) глоттализованную смычную \**q'* и поствелярную (или увулярную) глухую смычную \**q<sup>h</sup>*. Первая представлена начальными *g-*, *j-* либо нулем. Ср., например, лат. *geminus*, др.-инд. *ṷamāh* «близнец», лтш. *jumis* «двойной плод», др.-исл. *Ymir* «имя героя», сходное с инд.-иран. *Yamāh*. Вторая представлена формами с начальным *k-* или нулем, например, лат. *costa* «ребро», ст.-слав. *kostǐ*, лат. *os/s-*, хет. *ḫaštai* «кость» (хеттское *ḫ-* отражает более древнюю поствелярную фонему, которая совпала с ларингальной фонемой в глухом велярном спиранте /x/) (с. 131).

Другим гипотетическим построением, которое также могло относиться к весьма древнему периоду, является ряд бабиализованных дентальных согласных, в некотором роде параллельный лабиализованному велярному ряду, а именно: \**t<sup>o</sup>*, \**d<sup>[h]</sup>o*, \**t<sup>[h]</sup>o*. Это предполагается таким рядом соответствий в начальной позиции, как \**du* в др.-инд. *dvāu*, авест. *dva*, гот. *twai*, *twōs*, литов. *dvī*, прус. *dwai* «два»; \**d-* в хет. *ta-a-i-u-ga-aš* «двухлетний», *ta-a-an* «второй»; \**y* в гот. *wi-t* «мы оба», тох. А м. р. *wi*, ж. р. *we* «два», греч. *eikosi* др.-ирл. *fiche*, лат. *uīginti*, арм. *k'san* «двадцать»; \*(*e*)*rk-* в арм. *erku* «два»; *b-* в авест. *baē* «два», кафирск. *baš* «двенадцать».

Схема раннеиндоевропейской системы смычных и сибилантных дана на с. 134. В приведенной авторами системе лабиальный и дентальный ряды остаются незаполненными в отношении признака палатальности и лабиальный ряд — в отношении признака лабиальности. Такие ряды, в частности палатализованный дентальный и палатализованный лабиальный, возникают в отдельных п.-е. диалектах, которые как бы заполняют недостающие фонологические звенья в и.-е. системе. Заполнение недостающих рядов происходит в некоторых из тех и.-е. диалектов, в которых при элиминации палатализованного ряда склеиваются согласные серии I и серии II, в частности, в кельтском и балто-славянском.

Хотелось бы здесь заметить, что в балто-славянском наблюдается определенное различие в отношении велярного (или палатального) ряда, с одной стороны, и лабиального и дентального рядов — с другой. У велярных этимологические последовательности \**k* и \**g* и гласного переднего ряда совпали с соответствующими последовательностями \**kj* и \**gj*. В результате и те, и другие отражены в исторических языках как \**k'* и \**g'*. Так, велярные в литов. *tikiū* «верю» и *lokū̃s* «медведь» — такие же, как в *regiū̃* «вижу» и *gū̃vas* «живой». Ср. также соответствующие латышские формы *ticu*, *lācis*, *redzu* и *dzīvs*. Аналогичным образом, имеем слав. *mlъ̃р* (< \**mlkjoN*) «молчу», *čь̃т* (< \**kitoN*) «читаю», *lẽж* (< \**legjoN*) «лежу» и *lẽжитъ* (< \**legitu*) «лежит». Поэтому с точки зрения данных фонологических совпадений так называемая славянская «первая палатализация» должна быть отнесена также и к балтийскому. Ни в балтийском, ни в славянском не было первичного совпадения \**b*, \**p*, \**d*, \**t* перед гласным переднего ряда с *bj*, *pj*, *dj*, *tj*, ср. слав. *l'ubiti* «любить» при *l'ubl'o* (< \**ljubjoN*) «люблю», лтш. *bite* «пчела» при *blāurs* «злой» при литов. *bite* «пчела» и *bjaurūs* «безобразный».

Чтобы типологически подкрепить вероятность предлагаемой системы согласных, авторы приводят консонантные системы других языков, таких, как общекартвельский, общесемитский, а также систему смычных и сибилантных спирантов диалектов абхазского языка (с. 136).

Должен заметить, что я не являюсь убежденным сторонником типоло-

гических аргументов. Я не считаю, что если отсутствует модель того или иного языкового явления, то и самого явления быть не может [3, с. 17—18]. С другой стороны, мне представляется, что существование модели показывает возможность соответствующего языкового явления. В частности, я не нахожу причин неприемлемости глоттальной теории, что противоречит мнению тех лингвистов, которые желают отвергнуть глоттальную теорию лишь потому, что традиционная теория также может быть правомерной. Даже если традиционная теория обладает вероятностью, она необязательно должна быть признана верной. Тот факт, что большинство и.-е. языков обнаруживает *-d* (*decem, déka, daša, dēšimt* и т. д.) в отличие от двух языков, где мы находим *-t* (*tasn, tainun*), не доказывает, что исконным звуком был *\*d*. Возможно, существовали другие и.-е. языки, которые имели этимологическое *t*- в этой позиции и которые бесследно исчезли. Существование языка не имеет никакого отношения к типу этого языка. Существование языка определяется лишь тем, что носителям этого языка удалось выжить либо оставить те или иные письменные памятники.

Возникновение долгих гласных в и.-е. существительных им. пад. ед. ч. авторы объясняют тем, что сочетание *\*-VC-s* преобразуется в *-VC̄-s*. Так, например, *\*uok<sup>[h]</sup>o-s* > *\*uōk<sup>[h]</sup>o-s* (ср. лат. *uōx* «голос», авест. *vāxš*, др.-инд. *vāk* «слово»). Подобным же образом *\*māt<sup>[h]</sup>ers* > *\*māt<sup>[h]</sup>ēr* «мать» с утратой конечного *\*-s* после сонанта (с. 183, 184). Авторы пишут, что подобное объяснение было предложено О. Семереньи [3, с. 109]. Однако в отношении основ с сонантами О. Семереньи дает несколько иное объяснение. Согласно последнему, в *\*mater-s* развилось *-err* и затем сочетание „краткий гласный + долгий согласный“ было транспонировано в сочетание „долгий гласный + краткий согласный“ [4, с. 30]. По мнению О. Семереньи, доказательством этого служат другие изолированные случаи, в которых можно исключить влияние аналогии; ср. *\*kēr* «сердце» < *\*kerd*, *\*wēr* «весна» < *\*wesr*, *\*pēs* «ступня» < *peś*, первоначально *\*ped-s* и т. д. О. Семереньи объясняет противоречащее этому окончание *-ons* (вин. пад. мн. ч. основ на *o-*) аналогией с консонантными основами. В другом месте О. Семереньи пишет: «Все чаще вместо доказательства выдвигается просто предположение или конкретный тезис, поддерживаемый автором» [5, с. 56]. Мне кажется, что пример с окончанием *\*-ons* (формант вин. пад. мн. ч. основ на *o-*) противоречит приведенной выше гипотезе О. Семереньи. Положение о том, что это окончание не является прямым отражением этимологического окончания основ на *o-* представляет собой как раз пример того, против чего выступает сам О. Семереньи, а именно «предположение или конкретный тезис, поддерживаемый автором». Предположение относительно окончания вин. пад. мн. ч. имеет целью просто сделать внешне более приемлемым его теорию относительно форманта им. пад. ед. числа и лишено какой бы то ни было доказательной ценности. Я высказал предположение, что сочетание *\*-er-C* перешло в *\*-ē-C*. Считаю, что мое предположение предпочтительнее, т. е. оно отражает часть общего структурного преобразования, а именно внутреннюю и.-е. монофтонгизацию, а не изменение, ограниченное определенным морфологическим классом. Кроме того, я показал [5, с. 25], как данную монофтонгизацию можно было бы интерпретировать в свете сформулированных У. Лабовым принципов развития вокалических систем.

Можно было бы добавить, что нет необходимости в принятии положения о том, что окончание *\*-s* первоначально встречалось в номинативе ед. ч. всех существительных мужского рода (или одушевленных) в древнейший период. Существующие и.-е. языки обнаруживают в том же падеже разно-

образные окончания в зависимости от основы и рода, и нередко встречаются случаи, когда падежные окончания проникают в основы, частью которых они не могли быть с этимологической точки зрения, ср., например, литов. род. пад. ед. ч. *šūn̄s* (этимологическая форма) «собаки», однако также *šūnīs* (основа на *i*), *šūnio* (основа на *jo*) и т. д. Аналогичным образом можно указать на совр. греч. форму им. пад. ед. ч. *patéras* в отличие от этимологического *patēr* «отец».

Главной проблемой исторического языкознания я считаю отсутствие общепринятой и достаточно фундированной методологии. Если бы такая методология существовала, ее можно было бы применять как исследовательскую процедуру. Даже беглого знакомства с любой лингвистической публикацией достаточно для того, чтобы показать существование расхождений по широкому кругу вопросов.

Современное «знание» реконструируемого индоевропейского основано на предположениях, подобных известной басне Шлейхера. Некоторые индоевропейцы, к счастью, начинают это признавать. Например, А. Вамесбергер пишет: «Догматические построения того или иного рода совершенно неуместны в конце представленных здесь исследований» [6, с. 142]. По мнению П. Болди и Р. Джонстон-Стейвер, «...в исследованиях по сравнительной реконструкции не существует механизма, который позволял бы установить правильность реконструированной системы или относительное превосходство одной предлагаемой системы над другой» [2]

Относительно попытки Г. Хайдера хронологически отодвинуть возникновение глоттализированных согласных назад к праиндоевропейскому периоду Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов пишут: «В данном случае мы имеем дело, очевидно, с наблюдаемым у некоторых исследователей стремлением во что бы то ни стало „спасти“ традиционную индоевропейскую систему смычных, которая сама по себе является лишь реконструированной языковой моделью, постулированной в результате теоретического осмысления соотношений между историческими родственными языками, а не исторически засвидетельствованной системой индоевропейского праязыка и поэтому такой же гипотезой, как и любая другая» (с. 1319). Как заметил М. Планк (по свидетельству Б. Барбера [7, с. 597]): «Новая научная истина побеждает не потому, что переубеждены ее противники, а скорее потому, что ее противники умирают, и вырастает новое поколение, знакомое с этой истиной».

Т. В. Гамкрелидзе с Вяч. Вс. Ивановым отмечают, что в дополнение к долгим гласным в им. пад. ед. числа и долгим гласным, возникшим из сочетаний с ларингальным, некоторые гласные происходят из сочетания гласного с *ɥ* или *ʝ*. Так, например, сочетание *\*ou* в предконсонантной позиции дает *ō*. В качестве примера авторы предполагают, что *\*k<sup>h</sup>ou-s* > *\*k<sup>h</sup>ō-s*, ср. греч. дор. *bōs*, лат. *bōs*,<sup>1</sup>вин. пад. ед. ч. *\*k<sup>h</sup>ou-m* > *\*k<sup>h</sup>ōm*, как в греч. дор. *bōn*, др.-ипд. *gām* (с. 191). В интервокальной позиции сохраняется первоначальное сочетание, например, греч. род. пад. ед. ч. *bo(F)ōs*, лат. род. пад. ед. ч. *bovis* и т. д. Я полностью согласен с таким решением, следуя в этом за О. Семереньи [8, с. 186] (см. мою книгу [5, с. 54—55] и статью [9, с. 114]). Однако я бы связал рассмотренное явление с более общей теорией монофтонгизации внутри индоевропейского, что может придать указанному фонологическому изменению общий структурный статус.

В первом разделе второго тома показывается, как лексика может быть использована в качестве основы для реконструкции семантического слова-

ря праязыка. Авторы пишут (с. 457): «Семантическая реконструкция соответствующих лексем диалектов определенного языка позволяет (хотя по необходимости и фрагментарно) представить общую картину основных моментов исторического существования носителей родственных диалектов».

Первая глава второго тома озаглавлена «Мир „живого“. Боги, человек, животные». Она начинается с этимологии \**k<sup>h</sup>oi-*, \**k<sup>h</sup>ei-* «жить». Авторы высказывают предположение, что корень \**b<sup>h</sup>eyH-* (др.-инд. *bhāvati* «становится» и др.) служил для обозначения растительного мира (ср. греч. *phutón* «растительность, растения»), а \**Hues-* (гот. *wisan* «быть») — для обозначения человека и животных: ср. хет. *hūiš-*, *hūēs-* «жить, существовать», др.-инд. *vāsati* «находится, пребывает» (с. 467—468). К одушевленным существам относятся дикие животные, обозначаемые \**ǵ<sup>h</sup>er-* (греч. *ther*, лат. *ferus*, др.-русск. *звѣрь* «дикий зверь»). Диким животным противопоставляются \**uīr-* «человек» и \**p<sup>h</sup>ek<sup>h</sup>u-* «домашнее животное». Все это иллюстрируется в терминах семантических различительных признаков: «дикое животное» противопоставляется «человеку/домашнему животному» по признаку «±дикий» (с. 471). В дополнение к классификации по признаку двуногости/четвероногости живые существа классифицируются по их разумности/неразумности. Разумные существа делятся затем на смертных, живущих на Земле, т. е. людей, и бессмертных, небожителей, т. е. богов. Ср. соответственно др.-инд. *mārta-*, авест. *maša-*, арм. *mard* «человек» (корень \**mer-* «умирать») и др.-инд. *amṛta-*, авест. *aməša*, греч. *ambrotos* «бессмертный» (<\**n + mṛt<sup>h</sup>o-*). Слово для Бога представлено \**t<sup>h</sup>ey*, \**t<sup>h</sup>iy-*: ср. хет. *šiu*, др.-инд. *devā-*, лат. *deus*. др.-ирл. *día* «бог», греч. *Zeús*, лув. *Tiyat-* «Бог Солнца». Авторы строят дерево семантических признаков недиких одушевленных существ (с. 481). Дикие животные, в свою очередь, делятся на три группы, а именно, животные «верхнего мира» [\**Hue(i)-* — птица, орел, журавль и т. д.], животные «среднего мира» (\**med<sup>h</sup>io-* — волк, медведь, леопард и т. д.) и животные «нижнего мира» (\**b<sup>h</sup>ud<sup>h</sup>n-* — змея, змей, червь, выдра и т. п.). Корень \**Hue(i)-* представлен в др.-инд. *vāti*, авест. *vāiti*, греч. *āēsī* «дует», и из этого названия для верхнего мира происходит и.-е. родовое название птицы, ср. др.-инд. *vī-*, лат. *avis* и др. Корень \**med<sup>h</sup>io-* представлен в др.-инд. *mādhyā-* «середина», др.-исл. *Midgarðr* «Средний (срединный) мир» и т. д. Корень \**b<sup>h</sup>ud<sup>h</sup>n-* представлен в др.-инд. *budnā-*, авест. *būna* «низ».

Во второй главе второго тома рассматриваются и.-е. названия диких животных и показывается значимость соответствующих понятий для древнего индоевропейца. Например, в статье «волк» авторы обсуждают названия для волка в различных и.-е. языках, ср. \**u<sup>h</sup>lk<sup>h</sup>o* (в др.-инд. *vṛkaḥ* и т. д.), \**u<sup>h</sup>lp<sup>h</sup>-* (в хет. *ulippana*, гот. *wulfs*, лат. *lupus* и т. д.), \**ueit<sup>h</sup>-n-* (хет. *uēna-*, др.-исл. *vitnir* и т. д.). По мнению авторов (с. 492—493), наличие нескольких лексем, обозначающих волка, «указывает на особую экологическую распространенность этого хищника на территории обитания индоевропейских племен, а также на его культурную и ритуальную значимость, что ясно отражается в древнейших индоевропейских традициях».

В древнехеттской традиции волк — воплощение сакральных качеств; в частности, волк и волчья стая символизируют единство и всеведение. Так, обращаясь к собранию (*pankuš*), царь Хаттусили I призывает своих подданных объединиться «как волчий род» (*u-e-it-na-aš ta-a-an pa-an-gur*). Облачение в волчью шкуру имеет магическую силу, по-

скольку явно придает человеку всеведение и, возможно, является символом особого юридического положения. Авторы сравнивают эту традицию с древнегерманской и отмечают частую встречаемость лексемы со значением «волок» в германских именах собственных, ср. др.-исл. *Ulf-björn*, *Björn-olfr*, др.-англ. *Beo-wulf*, др.-в.-нем. *Wulf-bero* и т. д. Приводятся также кавказские параллели [предлагается этимология имени Вахтанг: \**wax-tang* < иран. *vāhrka-tanū* «имеющий волчье тело» (с. 497)]. «По новейшим археологическим данным, древнейшие следы „волка“ обнаруживаются на рубеже VIII—VII тысячелетий до н. э. в широком ареале Передней Азии, включая и материковую Грецию — Фессалия, восточная Малая Азия, Иранское плоскогорье, Палестина (а также в некоторых областях Северной Европы — Англии)» (с. 497).

Третья глава посвящена индоевропейским названиям домашних животных, хозяйственной функции этих животных и их культа у древних индоевропейцев. Глава открывается этимологией лексемы \**ek<sup>h</sup>₂os* «конь, лошадь» (без формального различия рода в древнейших и.-е. диалектах), например, лув. *á-sù-wa*, др.-инд. *áśva-*, авест. *aspa-*, др.-перс. *asa*, осет. *jæfs*, греч. мик. *i-go*, греч. гом. *híppos*, венет. *ekupe-aris* «колесничий», тох. А *yuk*, В *ukwe*, др.-ирл. *ech*, галльск. *epo-* (в именах типа *Epo-na* «богиня возничих», т. е. «конская богиня»). Даже названия некоторых частей тела коня имеют и.-е. этимологии, ср. др.-инд. *tánuā* «край уха коня», лат. *tonīle* «конская грива», др.-в.-нем. *mana*, англ. *mane*, ср. также др.-инд. *grīvā* «грива на шее коня», русск. *грива* (с. 544—545). Лошадь — одно из наиболее священных животных в Ригведе. Божественные близнецы Ашвины занимаются, в частности, уходом за лошадьми и врачеванием лошадей. Разъезжают они в колесницах, запряженных конями. Несомненно ритуальная значимость лошади в древнеиранской традиции — она проявляется прежде всего в обрядах жертвоприношения лошади, аналогичных древнеиндийским ритуалам. Древний обряд перешел к скифам, следы его сохранялись до недавнего времени в осетинском обычае посвящения коня покойнику. Авторы останавливаются также на ритуальной роли коня, лошади в греко-микенской, римской, кельтской, балтийской и славянской традициях. Кроме того, авторы рассматривают возможных предков домашней лошади и возможные ареалы доместикации лошади. Приводятся гипотетические соответствия слову \**ek<sup>h</sup>₂os* (в реконструкции авторов \**sek<sup>h</sup>₂os*) в ближневосточных языках: аккад. *sisū*, угарит. *ssw*, араб. *sūs-jā*, др.-евр. *sūs*, хурр. *ešši* и т. д. Сюда же могут относиться и некоторые кавказские названия лошади: абх. и убых. *'a'čy*, авар и лак. *čy*, грузинское слово для понукания лошади *ači* и слово грузинского детского языка *ačua* (с. 560). Заметим, что И. М. Дьяконов возражает против того, что инд.-иран. \**áśva* дало хурр. *aššua*. Дьяконов отрицает также связь этого слова с шумер. *si-si*. По его мнению, для того чтобы принять это сопоставление, следует чрезвычайно растянуть хронологию (ведь название лошади было известно в шумерском с четвертого тысячелетия до н. э.); к тому же сопоставляемые слова слишком сильно расходятся фонологически [10, с. 137, 134]. В третьей главе подробно анализируются также понятия «осел», «бык», «корова», «овца», «коза», «собака», «свинья», «кошка», «домашняя птица», «пчела» и др.

Четвертая глава посвящена и.-е. названиям растений, их хозяйственному использованию и культовой роли у древних индоевропейцев. Как указывают авторы, мир растений, характеризуемый через семантический признак «неодушевленности», объединяет различные деревья, травы, злаки и цветы (с. 612). Глава открывается этимологией корня \**t<sup>h</sup>eloru-* / \**t<sup>h</sup>relo-*

(хет. *taru*, др.-инд. *dāru*, алб. *dru*, гот. *triu*, ст.-слав. *drěvo*, русск. *дерево*). Поскольку рефлексы этого корня в ареально удаленных диалектах обнаруживают значение «дуб», можно предположить, что это значение более древнее, чем значение «дерево»: ср. др.-прл. *daur*, алб. *drush-k* «дуб». Среди подробно обсуждаемых в этой главе названий растений, злаков, кустарников и трав — виноград, ячмень, пшеница, просо, рожь, овес, лен, конопля, вереск, роза и шиповник, мох и др.

Полемизируя с более ранней статьей Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, М. Гимбутас пишет: «Слово \**ieco-*, которое, по мнению авторов, значит „ячмень“, первоначально обозначало любые злаки, используемые для приготовления алкогольных напитков (в современном литовском *javai* обозначает злаковые вообще и никогда не имеет значения „ячмень“) [11, с. 186]. Однако в книге авторы приводят также греч. гом. *krī*, *krithē*, алб. *drithē*, арм. *gari*, лат. *hordeum*, др.-в.-нем. *gersta*, все со значением «ячмень», и пишут: «Строго говоря, это слово для „ячменя“ в индоевропейских диалектах обнаруживает две вариативные формы: \**ǵʰl̥h₂r̥dʰl̥-* и \**ǵʰl̥* (*e*)*rdʰl̥-*, формально трудно сводимые друг к другу... Эти диалектные слова для „ячменя“, возникшие, очевидно, позднее общеиндоевропейского названия „ячменя“ \**ieco-* и обозначавшие первоначально, вероятно, какую-то его разновидность, вытесняют более древнее название в ряде диалектов, что приводит к утере или изменению первоначального значения слова \**ieco-*» (с. 656). Хотя это вполне уместно как ответ на критику со стороны М. Гимбутас, развитие этого взгляда может привести к довольно сложной ситуации, когда любому слову станет возможным приписать любое значение (к сожалению, нередко семантические изменения носят хаотичный, беспорядочный характер).

Для краткости мы оставляем без комментария главы 5—10; в них рассматриваются окружающая географическая среда древних индоевропейцев, их материальный быт, социальная организация, хозяйство, мифология, ритуалы, поэтический язык, метрические схемы, системы счета и т. д.

В главах 11 и 12 обсуждаются вопросы и.-е. хронологии, проблема прародины индоевропейцев и намечаются пути, по которым носители и.-е. диалектов могли мигрировать с первоначальной территории в исторические места обитания. Авторы полагают, что выделение анатолийской языковой общности из праиндоевропейского произошло не позднее четвертого тысячелетия до н. э., а возможно, и значительно раньше. Есть основания считать, что образование и развитие отдельных анатолийских диалектов на основе общеанатолийского (после выделения последнего из праиндоевропейского) происходило в течение длительного времени в Малой Азии, т. е. в районе исторического расселения носителей анатолийских диалектов. К этому заключению можно прийти на основании данных анатолийской гидронимии. Наиболее древние названия рек и водоемов на территории Малой Азии могут быть проинтерпретированы именно на основе данных анатолийских языков; кроме того, обнаруживаются формы, восходящие к общеанатолийскому состоянию, но не представленные уже в отдельных исторически засвидетельствованных языках — хеттском, лувийском и патайском. Так, например, уже в папирусе Анитты (XVIII в. до н. э.) встречается название реки *Hulana*. Оно возводится к древнеанатолийскому слову \**Hulna* «волна» и сопоставляется с и.-е. наименованием волны \**Hul-*no-, ср. ст.-слав. *vlāna*, литов. *vilnis*, др.-в.-нем. *wella*, др.-инд. *āgnī-* «волна». Анатолийские диалекты стали расходиться в начале третьего тысячелетия до н. э., от общеиндоевропейского анатолийский отделился еще раньше, — а значит, период существования общеиндоевропейско-

го праязыка должен приходится на еще более далекое время, примерно на V—IV тысячелетия до н. э. «Индоевропейская языковая общность, оставшаяся после выделения из праязыка общепанатоллийской п. . . тохарской языковых общностей, . . . начинает примерно к этому же периоду распадаться на соответствующие диалектные группы» (с. 863). В частности, к этому периоду можно отнести отделение греко-армяно-арийской диалектной общности и последующий ее распад на индоиранскую, греческую и армянскую диалектную общности. Как пишут авторы, «первоначальным ареалом обитания носителей общепанатоллийского языка можно считать такую географическую область, которая своими экологическими, географическими и культурно-историческими характеристиками соответствует картине среды обитания, получаемой на основе лингвистической реконструкции лексики праязыка» (с. 865). Прежде всего можно предположить, что это была область с горным ландшафтом, что исключает равнинные территории Европы, не имеющие значительных горных массивов, — северную часть Центральной Евразии, весь восток Европы и северное Причерноморье (с. 866). Судя по названиям деревьев и травянистых растений, хорошо согласующимися с характеристиками горной области, территория первоначального расселения находилась сравнительно южнее в Средиземноморье. Средиземноморье понимается при этом широко — в него включаются Балканы и северная часть Ближнего Востока — Малая Азия, горные области Верхней Месопотамии, смежные ареалы (с. 867). Исключается также Центральная и Восточная (но не Юго-Восточная) Европа: в IV тысячелетии до н. э. животноводство и земледелие в Центральной Европе находились в зачаточном состоянии (с. 868), а для праиндоевропейского реконструируется система терминов, свидетельствующая о развитии скотоводства, с наличием основных домашних животных (лошади, ослы, коровы, быки, овцы, козы, собаки, свиньи). Для общепанатоллийской культуры характерно также наличие довольно развитого пчеловодства — на Ближнем Востоке оно было известно с глубокой древности (с. 868). Индоевропейские названия сельскохозяйственных орудий, растений, фруктовых деревьев, сельскохозяйственных продуктов и т. п. тоже указывают на область с ранним (IV тысячелетие до н. э. и даже раньше) развитием сельского хозяйства, т. е. на южную территорию, простирающуюся от Балкан до Ирана (с. 869). Названия индоевропейских повозок и терминология, связанная с бронзовой металлургией, также свидетельствуют в пользу локализации индоевропейской прародины в четвертом тысячелетии до н. э. в ареале от Балкан (включая Ближний Восток и Закавказье) вплоть до Южной Туркмении (с. 870). Лексические группы, отражающие фауну, флору, хозяйство и материальную культуру, подтверждают вероятность расселения древних индоевропейцев в обширном регионе, описанном выше. Эту область расселения можно сузить, если принять во внимание весьма ранние контакты между древними индоевропейцами и носителями семитских и картвельских языков. Имеются целые пласты лексических заимствований из одного языка в другой, а также ряд структурных черт, предполагающих взаимодействие языков в течение длительного периода времени. Одним из общепанатоллийских заимствований из семитского является \**t<sup>h</sup>awro-* «дикий бык», ср. сем. \**tawr-*, от которого происходят аккад. *šuru*, др.-евр. *šôr*, арабск. *tawr-* и т. д. По мнению авторов, заимствование произошло именно из семитского в индоевропейский, а не наоборот, — основанием для такого заключения является структура корня и передача семитского глухого интердентального \**t̪* с помощью глухого (придыхательного) и.-е \**t<sup>h</sup>*. При обратном направлении заимст-

вовании следовало бы ожидать в семитском начальным глухой (придыхательный) \*t<sup>h</sup> (с. 872). В другом заимствовании представлен хорошо известный п.-е. корень со значением «семь» — \*sep<sup>[h]</sup>t<sup>[h]</sup>m-, ср. сем. \*šab', \*šab'-at-, от которого происходят аккад. *seba*, ж. р. *sebettu*, др.-евр. *šeba*, *šib'ā*, арабск. *sab'*, ж. р. *sab'-at-*, геиз *sab'ū*, *sab'atū*. Авторы пишут, что числительное «семь» проникло в общиндоевропейский язык в форме женского рода и в функции абстрактного имени (т. е. «семерка») «с семитским окончанием \*-t- и с вторичным оформлением его собственно и.-е. суффиксом \*-m» (с. 875). Однако те же факты можно интерпретировать иначе — в этой связи нелишне отметить, что А. Бомхард [12, с. 216, 204] считает эти лексемы доказательством общего происхождения индоевропейского и афразийского. В отличие от Гамкрелидзе и Иванова (с. 876), Бомхард истолковывает слова типа аккад. *karnu* и лат. *cornū* в качестве лексических «двойников» [12, с. 179]. С другой стороны, И. М. Дьяконов [10, с. 130] пишет, что семитское \**taur-* «(одомашненный) бык; скот (теленки или корова)» должно реконструироваться на прасемитском уровне как \**ṣu-r-* и что фонема \**ṣ* явно сохраняется в семитских языках по крайней мере до конца второго тысячелетия до н. э. и только потом переходит в \**th t*. Таким образом, в VI—IV тысячелетиях до н. э. это слово не могло быть заимствовано в прасемитский в форме *taur-*, эта форма слишком недавняя, чтобы подвергнуться и обратному заимствованию — из семитского в общиндоевропейский. Это и не общиндоевропейское слово: оно встречается только в «европейских» диалектах, а значит, могло распространиться не раньше III тысячелетия до н. э. и только на европейской территории. В отношении семитских числительных Дьяконов [10, с. 124] указывает, что большинство из них (в том числе и числительные первого десятка) явно позднего происхождения (не являются праафразийскими): в разных группах афразийской семьи они различны и к тому же не подчиняются характерным для этой семьи правилам словообразования. Что касается корня со значением «рог», то Дьяконов [10, с. 130] пишет, что в его отношении принято констатировать заимствование из индоевропейского в семитский. Фонетическая форма в этом случае сомнений не вызывает, однако никаких указаний на возможное время заимствования (и на причину, вызвавшую это заимствование), по Дьяконову, нет. Можно надеяться, что при всем расхождении современных точек зрения позднее удастся прийти к единому взгляду на эти и прочие проблемы. Пока же археологических данных недостаточно, чтобы принять окончательное решение.

Соотнося лингвистические и археологические данные в вопросе об и.-е. прародине, авторы пишут: «Следует с самого начала отметить, что в намечаемом для праиндоевропейского первоначальном ареале распространения в V—IV тысячелетиях до н. э. не обнаруживается такая археологическая культура, которая могла бы быть явным образом соотносима с праиндоевропейской» (с. 891). Тем не менее на основании археологических свидетельств они пытаются соотнести праиндоевропейскую культуру с культурой Чатал-Хююка и с Халафской культурой (соответственно в Малой Азии и в Месопотамии). Кроме того, они высказывают предположение, что в число носителей куро-араксской культуры, охватывавшей Восточную Анатолию, Южный Кавказ и Иранское плоскогорье, входили определенные индоевропейские группы.

М. Гимбутас [11, с. 185] подвергает критике идею, согласно которой и.-е. прародина охватывает юго-восток Европы, Анатолию, Закавказье и Северную Месопотамию. По ее мнению, носителями этих культур были миролюбивые люди, жившие в двухкамерных домах с конца VII тысяче-

летия до н. э.: примерно в 5000 г. до н. э. стали известны двухэтажные жилища. В большинстве случаев у них был матриархат, религия была связана с культом женских богинь. Процветали скульптура и керамика (а не изготовление оружия). Индоевропейцы не знали лошадей и конных сражений, не имели метательного оружия, киежалов, мечей или копий (исключением является лишь период заката этой цивилизации, когда в ряде районов появились всадники — носители курганной культуры). Их религия и используемая ими символика подтверждают, что древняя европейская и древняя анатолийская культура (как и Халафская культура Месопотамии) были пеиндоевропейскими. Несомненно, в будущем авторам предстоит ответить на возражения Гимбутас, а нам остается только ждать интересного и живого обмена мнениями по этому вопросу.

Эта книга, несомненно, является наиболее важной, стимулирующей и полезной работой в области и.-е. лингвистики со времени публикации знаменитых «Основ» Бругмана и Дельбрюка. Это капитальный труд, который обессмертит его авторов в истории и.-е. языкознания.

Перевели с английского *Дронь А. Н., Полинская М. С.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Sag I.* The Grassmann's law ordering pseudoparadox // *Linguistic Inquiry*. 1974. V. 5.
2. *Baldi P., Johnston-Staver R.* Historical Italic phonology in typological perspective // *Reconstructions of the Proto-Indo-European sound system and their consequences* / Ed. by Vennemann T. The Hague, 1987.
3. *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970.
4. *Szemerényi O.* Recent developments in Indo-European linguistics // *Transactions of the Philological Society*. 1985.
5. *Schmalstieg W. R.* Indo-European linguistics: A new synthesis. University Park — London, 1980.
6. *Bammesberger A.* Studien sur Laryngaltheorie // *KZ, Ergänzungshefte*, 1984, № 33.
7. *Barber B.* Resistance by scientists to scientific discovery // *Science*. 1961. V. 134.
8. *Szemerényi O.* Latin *rēs* and the Indo-European long-diphthong stem nouns // *KZ*. 1956. Bd. 73.
9. *Schmalstieg W. R.* New thoughts on Indo-European phonology // *KZ*. 1973. Bd. 87.
10. *D'iakonov I. M.* On the original home of the speakers of Indo-European // *Journal of Indo-European studies*. 1985. V. 13. № 1—2 (= *Дьяконов И. М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов // *ВДИ*. 1982. № 3—4).
11. *Gimbutas M.* Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans: Comments on the Gamkrelidze — Ivanov articles // *Journal of Indo-European studies*. 1985. V. 13. № 1—2.
12. *Bomhard A. R.* Toward Proto-Nostratic: A new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam — Philadelphia, 1984.

—  
 2.  
 1.  
 —1  
 "1  
 2.  
 1.  
 111  
 6

СТЕПАНОВ Ю. С.

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛЕКСИЧЕСКИЕ  
ВХОЖДЕНИЯ В СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ \*

В настоящее время мы уже не представляем себе древнее индоевропейское, или протоиндоевропейское, предложение как нечто простое и примитивное по сравнению с современным. Напротив, мы обнаруживаем в нем своеобразные, зачастую «экзотические» отношения синтаксиса со словарем, сложное синтаксическое согласование и утонченные правила референции. Не менее сложен и аппарат, с помощью которого предложения описывают. Формальные трансформации и «порождения», не простые сами по себе, все более усложняются введением «лексического компонента», семантических преобразований и т. д. И, наконец, историческая картина, динамика развития, открывающаяся перед исследователем при реконструкции предложения, ставит его перед дополнительными трудностями, поскольку, согласно современным данным, мы застаем протоиндоевропейское предложение на этапе перестройки от древнего «активного» строя к современному номинативно-аккузативному. Тем не менее, в итоге этого все усложняющегося процесса исследования, вырисовывается гораздо более ясная, чем десятилетие назад, и, в сущности, простая в своей принципиальной организации картина протоиндоевропейского предложения.

Эту картину можно резюмировать следующим образом. Протоиндоевропейское простое (в синтаксическом смысле) предложение описывается сочетанием двух параметров: а) некоторым, сравнительно небольшим, набором структурно-семантических схем [синтаксических моделей, формальных моделей, пропозициональных функций (все данные термины — синонимы, принадлежащие разным системам описания)]; б) наборами лексем, занимающих места предикатов и актантов в каждой из структурных схем, что и называется лексическими входами (lexical entries). Несколько структурных схем, каждая со своим специфическим набором лексических вхождений, образуют так называемые главные типы простого индоевропейского предложения.

Для более полной картины требуется введение третьего параметра — в) описания взаимодействия главных типов, приводящего к появлению новых синтаксических конструкций. Имеются два основных вида таких взаимодействий. Во-первых, это взаимные отношения между структурными схемами, т. е. отношения формально-синтаксические, описываемые обычно как «трансформации». Во-вторых, это взаимные отношения между типами предложений, возникающие через лексические вхождения в них (один класс лексем входит одновременно в два разных типа предложений и т. д.), — то, что мы называем «перифразами». В то время как отношения трансформаций, в общем, одни и те же для всех индоевропейских языков

\* В основе этой статьи лежит расширенный вариант доклада, прочитанного на Советско-американском симпозиуме по сравнительно-историческому языкознанию в ноябре 1986 г. в Университете штата Техас (г. Остин, США)

и многих индоевропейских (в особенности, если это языки номинативно-аккузативного строя), отношения перифразирования национально специфичны даже в пределах индоевропейской семьи. В них отражаются зависимости между строем предложения и членением словаря, специфическая лексикализация каждого языка и т. д. Отношения перифразирования являются в настоящее время центральной проблемой синтаксической реконструкции. Лексические вхождения — ядро этой проблемы, им главным образом и посвящена настоящая статья. Что касается перифраз, то здесь будет затронут только один, но достаточно интересный их тип, позволяющий по-новому взглянуть на проблему происхождения и -е. перфекта и меди.

Остановимся очень кратко на некоторых этапах истории вопроса, или, точнее, двух вопросов — реконструкции структурных схем и реконструкции лексических вхождений, поскольку то и другое до последнего времени представляли собой по существу не связанные линии исследования.

Что касается структурных схем предложения, то еще в 1901 г. в фундаментальной статье объемом в одну страницу [1] Х. К. Уленбек обосновал тезис о том, что исторически засвидетельствованной системе падежей предшествовала в протоиндоевропейском другая система, с двумя основными падежами. Х. К. Уленбек назвал их «активом» и «пассивом». «Актив» был падежом действующего лица, агенса, т. е. падежом субъекта при активном глаголе. «Пассив» был падежом пациенса, т. е. безразлично лица или вещи — объекта при активном глаголе и субъекта при неактивном. В своей реконструкции Х. К. Уленбек исходил из фактов морфологии: в и.-е. языках номинатив и аккузатив существительных среднего рода совпадает по форме во всех числах — единственном, двойственном и множественном. Поэтому напрашивается предположение, что ранее эти формы имели не значение номинатива и аккузатива, а какое-то более общее значение, а именно представляли собой «пассив», падеж пациенса. Ниже мы будем исходить из этих положений.

Предлагаемая здесь реконструкция не является максимально дальней, какая возможна при использовании сравнительно-исторического метода. Такая реконструкция выдвинута в ряде работ Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова (см. [2] и др.) Согласно последней, прото-и.-е. язык восстанавливается как язык активного строя, возможно, с вкраплениями эргативных явлений. Условно назовем этот дальний этап — «этапом Гамкрелидзе — Иванова». Реконструируемый нами этап — столь же условно назовем его «этапом Уленбека» — следующий по времени, более близкий к настоящему, возможно даже следующий не непосредственно, а через некоторый промежуточный период. Содержание рассматриваемого нами «этапа Уленбека», совпадает с распадом активного строя, прежде всего присущих ему именных и глагольных классификаций (таксономий) и связанных с ними морфологических черт, и началом формирования видозалоговой системы балто-славянских и, по-видимому, греко-арийских языков. Приходящий на смену активному строю языка новый строй является номинативно-аккузативным [по иной терминологии: номинативным, еще иначе: аккузативным (применительно к типологии все эти термины — синонимы; впрочем, некоторые авторы применяют термин «аккузативные языки» для выделения языков со специфической организацией синтаксического дополнения, таких, например, как урало-алтайские)].

Будучи морфологической, реконструкция Х. К. Уленбека имела важные последствия для реконструкции прото-и.-е. синтаксиса. Из нее прямо вытекало (самим Х. К. Уленбеком не сформулированное) утверждение

о том, что на определенном этапе существовали по крайней мере следующие три резко различных типа предложений.

I т и п: Неактивный субъект (вещь) + неактивный глагол; показатель субъекта «нуль» или *-m* — в основах на *-o* (скр. *yugóm*, греч. ζυγον); пример: «Снег тает», «Камень лежит, торчит». (В семантической записи, в кавычках, на русском языке этот язык является не языком иллюстрации, а метаязыком, с помощью которого записываются типы предложений.)

II т и п: Активный субъект (человек или подобное человеку) + активный глагол; показатель субъекта *-s*; пример: «Человек идет», «Медведь лежит», «Ветер дует».

Если глагол в типах I и II выглядит в семантической записи на русском языке одним и тем же, то это значит лишь то, что этот язык не имеет средств различить два соответствующих действия своими лексемами (здесь: камень и медведь лежат неодинаково), и в семантической записи мы различаем их цифровыми индексами как семантические дублиеты. В работе Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, где фундаментально обоснована гипотеза об «активном прошлом» прото-и.-е. языка, реконструирован и пробный список таких дублиетов, в количестве  $4 \times 2 = 8$  единиц: семантемы «быть», «лежать», «стоять», «сидеть». Согласно этой реконструкции, «лежать» в активном классе представлено и.-е. корнем \**ses-* «лежать, спать» (хет. *šeš-zi* 3-е л. ед. ч. «спит», др.-инд. *sásti* «спит»); «лежать» в неактивном классе — и.-е. *k̑[h]ej-* «лежать» (хет. *kitta[ri]* 3-е л. ед. ч. медиа «лежит», др.-инд. *sate* «лежит», греч. *εἶται* «лежит») [2, с. 295].

III т и п: Активный субъект + активный глагол + неактивный объект; показатель субъекта *-s*, показатель объекта «нуль» или *-m* в основах на *-o*; пример: «Человек кладет камень», «Медведь кладет камень».

Для языков развитого номинативно-аккузативного строя полный набор типов, т. е. теоретически возможных сочетаний субъекта, глагола и объекта, очевидно, таков (звездочками отмечены типы, представленные слабо, в той или иной мере дефектные):

- I тип: Неактивный субъект + глагол;
- II тип: Активный субъект + глагол;
- III тип: Активный субъект + глагол + {неактивный объект};
- \*IV тип: Активный субъект + глагол + активный объект;
- \*\*V тип: Неактивный субъект + глагол + неактивный объект;
- \*\*\*VI тип: Неактивный субъект + глагол + активный объект.

Первые четыре структурно-семантические схемы, описанные по признакам «активность — неактивность», мы называем главными типами прото-и.-е. предложения (major sentence types). Выработкой этого понятия заключается, если говорить очень кратко, история вопроса по первой из названных линий.

Что касается второй линии исследований — лексических вхождений в предложение, то они не стали еще постоянным предметом индоевропейских штудий. Кроме нескольких списков лексем, главным образом глаголов, установленных в работах В. В. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе (один из таких списков приведен выше), можно указать на пионерскую и едва ли не единственную работу У. Лемана — главу «Лексические вхождения», в его книге о протоиндоевропейском синтаксисе 1974 г. [3], где рассматриваются различные производные от и.-е. корня \**er-* (в авторском обозначении \**ueg-*) «двигать» в соответствии с различными синтаксическими позициями. Лексические вхождения как система являются предметом настоящей статьи.

Именно лексическими вхождениями определяются в конечном счете различия типов предложений и объясняется дефектность IV, V и VI типов. VI тип, исторически явно более новый, представлен в и.-е. языках главным образом в поэтической речи. Достаточно указать в этой связи известное правило латинского языка: если абстрактное имя оказывается подлежащим при переходном глаголе — например, *Necessitas me subigit* (Plautus, Pseud. 7) «Необходимость меня побуждает», — то это обычно свидетельствует о персонификации понятия, служит признаком высокого стиля или пародии на него [4]. V тип [ср. такие предложения, как русск. *Молния зажигает сарай, Снег завалил дороги*, в некоторых разновидностях близкие к VI типу (*Стрела ранит врага*)] — вопреки мнению А. А. Шахматова [5] — исторически также довольно молодой. Как показал Ж. Одри [6], всякий номинатив неактивного субъекта в значении инструмента восходит к инструменталису, т. е. к типу «Молнией зажигает сарай», «Стрелой ранен воин». IV тип, например, «Воин убивает врага», хотя и входит в число главных типов, имеет специфические ограничения (см. ниже). Таким образом, не все теоретически возможные типы равно представлены в древних и.-е. языках, а следовательно, и в протоиндоевропейском.

Главной закономерностью, препятствующей равномерной реализации всех типов, является, как можно заключить уже из сказанного выше, тенденция к запрету некоторых типов лексем в некоторых синтаксических позициях. Эта тенденция проявляется прежде всего как запрет на «абстрактные» субъекты в сочетании с «конкретными» объектами. Тенденция носит в некоторой части; универсальный характер, а в некоторой является специфически индоевропейской. По своей способности занимать позицию субъекта в и.-е. предложении имена располагаются в следующую иерархию (в порядке убывания этой способности): лексем, означающие лиц/людей вообще/животных/растения/вещи/абстрактные объекты (типа «необходимость») (см. подробнее [7]). При этом иерархия исторически расширяется: в древних и.-е. языках она ограничена левой частью и с течением времени продвигается вправо. Мы обратили внимание на эту закономерность еще в 1961 г. [8], а в настоящее время ее можно определенно связать с перестройкой и.-е. языков от активного строя, характеризующегося резким противопоставлением активных и неактивных существей, прежде всего людей и вещей, к строю номинативно-аккузативному, в котором эти противопоставления и одновременно ограничения на позицию субъекта устраняются. При указанном подходе иерархия описывается как последовательно именная, лексическая.

Очень интересные результаты дал другой подход — совместное исследование именных и местоименных вхождений и их общая иерархизация. Первоначально этот подход вообще не связывался с проблемой лексических вхождений и рассматривался как проблема истории местоимений. Насколько нам известно, в индоевропейистике он впервые был четко сформулирован А. Н. Савченко в 1984 г.: местоимения и имена в прото-и.-е. языке (на определенном этапе его развития) в своем склонении составляют две различные системы, основанные на совершенно разных принципах: местоименное склонение образовано в большинстве случаев двумя разными основами, имеющими значения прямого и косвенного падежей (система, характерная для номинативно-аккузативного строя), в то время как именная «склонение» основано на противопоставлении не падежей, а активной и неактивной форм (система, характерная для активного строя) [9]. А. Н. Савченко связал эту индоевропейскую особенность с аналогичными чертами языков иных семей (в его представлении, «ностратиче-

ских») и тем самым показал ее типологически повторяющийся, а возможно, и универсальный характер.

На индоевропейском материале в русле того же подхода еще ранее было проведено исследование М. Сильверстейна [10]. Материалом наблюдений австралийского лингвиста были явления так называемой «расщепленной эргативности» (*split ergativity*), т. е. такие случаи, когда одни синтаксические конструкции оформляются по эргативному типу, а другие, в том же самом языке, по номинативно-аккузативному типу (американо-индейский язык чинук, австралийский дирбал). (Подобные явления отмечены также в грузинском, пушту и мн. др.) М. Сильверстейн отказался от понятия «грамматическое, т. е. морфологическое, подлежащее (*surface subject*)», поскольку это понятие не константное, а вариативное, зависящее от строения той или иной именной группы в предложении (ср. аналогичный отказ в советской лингвистике [7, с. 337]). Он расположил потенциальные субъекты действий в единую иерархию, включив в нее не только имена объектов действительности, но и обозначения участников речевого акта, соответственно местоимения. Иерархия такова (слева направо; знаки + или — означают соответственно наличие или отсутствие данного семантического признака): *+tu/—tu/+ego/—ego/* + собственное имя / — собственное имя / + общее имя, обозначающее человека / — общее имя, обозначающее человека / + одушевленное / — одушевленное / ... и т. д. По М. Сильверстейну, иерархия начинается с *tu* (латинское обозначение для «ты»), поскольку, по его мнению, это наиболее относительное понятие, создаваемое только в акте речи, тогда как *ego* («я») предшествует акту речи. Приложив эту иерархию к своему материалу, автор пришел к очень важному выводу: именные группы в вершине иерархии обнаруживают номинативно-аккузативную маркировку падежей (этот вывод совпадает с независимо позже полученным выводом А. Н. Савченко), в то время как именные группы в нижней части иерархии — эргативно-абсолютивную систему. Срединная часть часто бывает занята номинативно-дательными конструкциями.

Все эти данные существенно дополняют представления о собственно лексических и о местоименных вхождениях в прото-и.-е. предложение. Помимо этого, из накопленных наблюдений можно извлечь важный методический принцип. Поскольку иерархия подвижна, а в и.-е. языках границы субъектных вхождений к тому же расширяются, постольку главные типы предложений, определенные выше, на разных этапах истории предстают с различным лексическим наполнением (в чем и состоит их расширение, пересечение, вообще — перифразирование в указанном смысле этого термина). Необходимо поэтому для первого этапа реконструкции определить понятие «тип предложения» более жестко. Используемое для этого ограничение мы назовем принципом минимализа-ции: на начальном этапе реконструкции необходимо рассматривать лишь минимальные классы лексем, вхождения которых (как целых классов) необходимы и достаточны для определения типа, т. е. конституируют сами типы предложений и отличают их друг от друга.

Мы должны, следовательно, иметь гипотезу о том, какие имена существительные и какие глаголы, применительно к прото-и.-е. языку, отвечают семантическим признакам «активный — неактивный», поскольку именно эти признаки лежат в основе классификации. Как известно, однозначные представления об этом среди индоевропейцев отсутствуют. Опуская из-за недостатка места историю вопроса, сформулируем нашу гипотезу. Она состоит из двух отдельных частей — семантического представления ак-

тантов предложений, прежде всего субъектов, и семантического представления предикатов.

Применительно к актантам (прежде всего субъектам) признак «неактивный» означает «вещь, тело» или «подобный вещи, телу». Этот признак устанавливает именно минимальное соответствие между позицией субъекта и лексическим классом, способным выступать в этой позиции. Противопоставленный семантический признак «активный» может означать «растение», «животное», «человек» или их сумму, т. е. «все, обладающее активным, самостоятельным началом, жизненным циклом». Признак «активный» применительно к прото-и.-е. языку является менее определенным, вариативным и подвижным. [Этому соответствует, в частности, и то, что имена неактивных существей, например, «вода», восходят к одному и тому же корню в разных и.-е. языках, тогда как наименования соответствующей активной сущности («вода как активное начало» и др.) более разнообразны и представлены разными корнями в разных частях индоевропейского ареала.] В общем, изложенное здесь семантическое представление довольно традиционно, оно отвечает теории «одушевленного — неодушевленного» родов А. Мейе, К. Бругмана, Б. Дельбрюка и др.

Применительно к предикатам (т. е. прежде всего к глаголам) наша точка зрения более оригинальна. При том же условии минимальности (т. е. рассматриваются лишь классы лексем, минимально необходимые и достаточные для существования данных типов предложений): 1) предикатам I типа соответствуют глаголы *perfecta tantum*, точнее — глаголы, которые в языке Гомера составляют группу *perfecta tantum* со значением «состояния тела», и их внегреческие соответствия (например, *πέτρῃς* «воткнуто, торчит», ср. лат. *pāgus* «межевой столб»; 2) предикатам II типа соответствуют глаголы и.-е. *activa tantum* (например, скр. *jigāti* «идет», греч. *βαίω, βάσχω* «тот же»<sup>1</sup> и т. д.). Мы обращаем, следовательно, внимание прежде всего на группы «*tantum*». (Группа *media tantum* подробно рассматривается ниже).

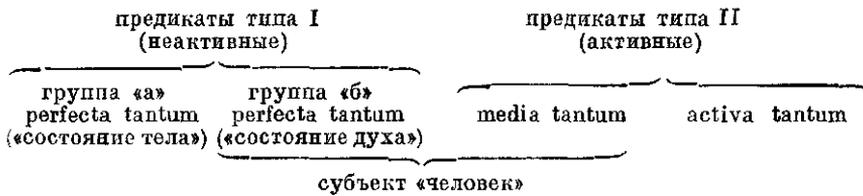
Уже самые поверхностные наблюдения над распределением лексики в главных типах предложений (а это, согласно общей гипотезе, древнейшие типы) обнаруживают примечательный факт: классификация предложений по субъектам и классификация тех же предложений по предикатам совпадают лишь частично. Это выражается прежде всего в том, что тип II (активные предложения) может иметь субъектом «активную сущность» («человек», «зверь», «ветер», «река», «вода как активное начало», «огонь как активное начало» и т. п.), и в этом случае его предикат — обычно глагол из класса *activa tantum*. Но в этом же типе II субъектом может быть подчеркнуто человеческая «активная сущность», именно и только «человек», и тогда предикатом выступает, по-видимому, преимущественно глагол из класса *media tantum*. (Показательные детали о связи медиального залого с одушевленным субъектом приведены в работе М. М. Гухман [11].)

С другой стороны, в классе *perfecta tantum* в языке Гомера и в их внегреческих соответствиях имеются не только глаголы, обозначающие «состояния тела», но и глаголы, обозначающие «состояния духа», т. е. состояния чисто человеческие (назовем первые группой «а», вторые группой «б»); в группе «б» синонимичной лексемой довольно часто оказывается глагол из сферы медиа, а иногда и *media tantum* (ср., например, семантемы «радоваться» — греч. *γαύωμαι*, лат. *gaudeo* — с депонентным, т. е. медио-

<sup>1</sup> В соответствии с традицией, древнегреческие и некоторые другие глаголы приводятся в форме 1-го л. ед. ч., а их русский перевод в форме 3-го л. ед. ч. или инфинитива, за исключением тех случаев, когда различие лиц значимо для семантики лексемы.

пассивным, перфектом *gávīsus sum*; «бояться» — греч. *δειδία*, арм. *erkñč'im* — с медиапассивным аористом *erkeay* и т. п.).

Неполное совпадение классификаций предложений по субъектам и по предикатам может быть разюмировано следующей схемой:



Этот обнаруженный нами факт несовпадения классификаций можно объяснить, по-видимому, одной из двух причин. С одной стороны, его можно объяснить более общим явлением, описанным Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым [12, с. 16; 2, с. 312], — переходом прото-п.-е. языка от активного строя к номинативно-аккузативному. Это преобразование, как отмечают указанные авторы, выразилось в переносе доминантной классификации из сферы имени в сферу глагола. При этом процессе бинарная классификация имен на активные и неактивные начинает терять ясные очертания, но зато глагол приобретает четкое разделение по бинарному принципу транзитивности — интранзитивности. В таком случае в отмеченном нами факте можно видеть отражение периода перехода и сосуществования обеих классификаций.

Возможно, однако, и иное объяснение — вмешательством «возмущающего фактора», нарушающего стройность существовавшей в языке бинарной классификации по принципу активности — неактивности. Этим фактором могло быть становление категории «одушевленность, личность». Ведь отмеченное несовпадение классификаций наиболее отчетливо проступает как раз при субъекте «человек, лицо» и его противопоставлении всем другим активным субъектам. Балто-славянский материал — становление категории одушевленности в славянском именном склонении и параллельное этому становление двух глагольных диатез, активно-каузативной и неактивной, в балтийском (литов. *Bernas merkia linus* «Парень мочит лен» — *Linai mirksta* «Лен мокнет») является, по-видимому, аргументом в пользу второго объяснения. Не исключено, впрочем, что оба объяснения могут быть в конечном счете совмещены.

Рассмотрим теперь лексические вхождения в главные типы предложений в деталях.

\*

I тип: Неактивный субъект + неактивный глагол («Камень лежит, торчит»). Как уже сказано выше, минимальный класс предикатов в этом типе реконструируется как лексемы, соответствующие гомеровским *perfecta tantum* со значением «состояние тела». Некоторые основные семантемы таковы: 1) «быть воткнутым, торчать»: греч. *πέγυγε*, *πάγος* м. р. «скала», лат. *repigit* «он воткнул», *pāgus* м. р. «межевой столб, вежа»; 2) «гореть, пылать»: греч. *δέδηγε*, скр. *dagdha-*, литов. *dēga* «горит» и «жжет»; 3) «цвести, быть в цвету»: греч. *τέθηλε*, презенс *βάλλω* (наличие презенса не противоречит рассмотрению этого глагола в группе *perfecta tantum*, поскольку этот презенс имеет статус «только презенса» — семантического отвлечения перфекта), арм. *dalar* «зелень,

трава», аяб. *dal* «расти»; 4) «быть возникшим»: греч. ὄρωρ, хет. *ar-* «прибывать, достигать», лат. донон. *orior* «подниматься, возникать, происходить из чего.-л.», скр. *rhóli* «поднимается, двигается»; в некоторых языках производные аффиксальные глаголы от этого корня имеют активное значение: хет. *ar-nu-* «приносить, доставлять», греч. ὄρωμι «устраиваться, бросаться» и др. К этому же ряду семантем следует отнести некоторые прилагательные: 5) гомер. *κόλος* «безрогий, комолый (о скоте); со сломанным острием (о копье)», вероятно, от предикатива «быть битым, увечным», родственно русск. *кол, колоть*, литов. *knólas* «кол» и др. (Подробнее о гомеровских *perfecta tantum* см. в работе И. А. Перельмутера [13].)

В отдельных и.-е. языках соответствующие лексемы отражены как небольшие компактные группы глаголов с аномальными парадигмами.

В германском это группа перфекто-презентов, точнее — часть этой группы, соответствующая перфектам «состояние тела» (гот. *ga-mot* «он имеет место, разрешение», *daug* «полезно», *ga-nah* «достаточно», *tag* «могу», *aih* «владею», *skal* «должен»). Другую часть германских перфекто-презентов составляют глаголы со значением «состояние духа» (ср. [14]).

В армянском, как мы полагаем, это группа из пяти глаголов на *-em*, имеющих аномальную основу аориста на *-ac'* вместо *-eac'*. Помимо этой черты формы, всю группу объединяет семантика — это глаголы состояния, имеющие либо только перфектное, либо только презентное значение (как и в германском, здесь объединены «состояния тела» и «состояния духа»): 1) *gitem* «знаю», ср. и.-е. \**uoid-* // \**uid-*; 2) *asem* «говорю», и.-е. \**ǵǵ-* // \**ǵǵ-* [15], греч. ἄνωγα «я приказал» — перфект со значением презенса, лат. *aio* < \**ǵǵ-io* «говорю», *ad-agium* «пословица», арм. *ař-ac* «пословица» [16, I, с. 115]; 3) *karem* «могу», без надежной этимологии, но, судя по значению, перфекто-презент; 4) *mart'em* «могу, умею», вероятно, тот же корень, что в *mart-nč'im* «сражаюсь, борюсь», ср. греч. μάρ-να-μαι «борюсь», только презент: к семантическому соотношению «борюсь» и «могу» ср. аналогичное литов. *galėti* «мочь» — *galėtis* «бороться (особ. врукопашную)»; 5) *merkem* «раздеваю, оголяю»; вариант этого глагола *merkanam* имеет то же строение, что и упомянутое выше греч. μάρναμαι; корень арм. *merk-* соответствует и.-е. \**merǵ-ro*, греч. γυμνός «голый», литов. *nūogas* «то же» [16, I, с. 333]; параллелью к этому армянскому глаголу служит литов. *nūogti* — глагол двух парадигм: 1) перех. *nūogti nūogia nūogė* «бирать, обижать»; 2) неперех. *nūogti nūogsta nūogo* «всего лишиться, остаться голым». К той же армянской группе, из пяти глаголов, вопреки форме, мы относим 6) *gom* «я есмь», у которого только презентная основа, восходящая к и.-е. перфекту \**uos-*, ср. греч. ἄ Γεσα эпич. аор. «проводить время», др.-инд. *vásati* «то же» [16, I, с. 25]. (О сходной трактовке этой арм. группы (но без *merkem*) см. в работе [41]).

В литовском это также компактная группа, состоящая, однако, из нескольких различных аномальных парадигм: с одной стороны, парадигмы типа *magėti māga magėjo* «хотеться», соответствующая упомянутому выше гот. *tag*; с другой стороны, глаголы двух парадигм типа *nūogti* и др.

В русском языке это «категория состояния»: ср. *кол*, прямо соотносимое с рассмотренным выше греч. *κόλος*, и соответствующий предикат «категории состояния» — *колко*, *Мне колко*, также *Мне больно*, *смешно*, *холодно*, *жарко*, *горько*, *сладко* и т. п. В этих русских семантемах глагол часто имеет две различные переходные парадигмы — «активную» и «неактивную», что соответствует в литовском типу *nūogti* (см. выше): русск. *рвать*, *рыть* (др.-русс. *рѣвати*, *рыти*) (того же корня, что греч. ὄρωρ и др.), 1) активный перех. *Я рву цветы*, 2) неактивный перех. *Меня рвет*.

II тип: Активный субъект + активный глагол («Человек идет», «Ветер дует»). Предикатами этого типа, согласно нашей гипотезе, выступают глаголы и.-е. группы *activa tantum*. Б. Дельбрюк достаточно полно обрисовал эту группу на основании совпадения показаний двух языков — греческого и древнеиндийского [17]. (в следующем ниже списке семантемы и лексемы совпадают, поскольку Б. Дельбрюк учитывал только этимологические соответствия): 1) «идти»: скр. *jigāti*, греч. βᾰσκω, βαίνω, авест. *jasaiti*; 2) «гнуть, гнуться»: скр. *bhujati*, греч. φέρω «бежать», семантическое соотношение между «гнуть(ся)» и «бежать» остается неразъясненным; 3) «дрожать, пугаться, спастись бегством, бежать»: скр. *trāsati*, греч. τρέω; 4) «ползти»: скр. *sārpati*, греч. ερπω; 5) «дуть»: скр. *vāti*, греч. πνι, ср. русск. *веять* (др.-рус. *вѣяти* (1) акт. неперех. «дуть», (2) акт. перех. «веять зерно», 6) «есть»: скр. *āti*, греч. ἔδω; 7) «пить»: скр. *pibati*, сюда же греч. πίνω, не вполне идентичное с скр. *pibati*, но восходящее к аналогичной форме; 8) «жить»: скр. *jīvati*, греч. ζάω, ζῶω, 9) «быть»: скр. *āsti*, греч. εἰμί (в настоящее время исконная принадлежность глагола «быть» к группе активных глаголов подвергнута сомнению; по-видимому, глагол имел исконно медиальную форму (ср. [18]), и др. лексем).

Вопреки самому Б. Дельбрюку и Э. Бенвенисту [19], это довольно разнообразная по семантике группа поддается некоторому семантическому обобщению: все глаголы здесь означают движения и основные жизненные проявления «активных существей», — если не выделять из них особо сущность «человек». Таким образом, это обобщение полностью отвечает нашей типологии предложений.

Э. Бенвенист, как известно, предложил другое обобщение: «В активном залоге глаголы означают процесс, который исходит из субъекта и развивается вовне» [19, с. 188]. Однако вряд ли эту формулировку можно назвать семантической. Сомнение на этот счет высказано также И. А. Перельмутером: «Нельзя, впрочем, полностью исключить и возможность того, что рассматриваемая нами связь имеет только синтаксический характер, что формулировка „действие замыкается в сфере субъекта“ (характеристика медиа, противопоставленная Э. Бенвенистом характеристике актива. — С. Ю.) представляет собой в данном случае чисто словесную транспозицию в семантическую область синтаксического явления — интранзитивности» [20, с. 129]. Скорее всего, формулировка Э. Бенвениста — это не синтаксическая и не семантическая характеристика актива (и, соответственно, противопоставленная ей — медиа), а характеристика абстрактно-семнологическая, поскольку ею указывается просто отличие актива от медиа как от иного класса форм (наподобие, например, различия между типами склонений), но не устанавливаются явные отношения классов форм к явлениям внешнего мира, в чем и состоит сущность семантики. Но каково бы ни было обобщение, предложенное Э. Бенвенистом, с ним трудно согласиться по существу: если еще можно представить себе процессы «дуть», «течь» и т. п. как «протекающие вне субъекта», то трудно приложить этот признак к «ползти», «есть», «пить».

Но другая черта и.-е. *activa tantum* подмечена Э. Бенвенистом удачно: «„быть“, так же как „идти“ и „течь“, представляет собой процесс, участие субъекта в котором не обязательно» [19]. Действительно, глаголы, принадлежащие к этой группе, представляют собой как бы постоянные, родовые характеристики активных существей, независимые от их волевых уси-

лий: чтобы быть тем, что они есть, они должны «жить», «ходить» (или «ползть»), вода должна «течь», ветер «дуть», солнце и огонь «жечь» и т. д. В сущности, «ветер» есть «то, что дует», «вода» — «то, что течет», «огонь» — «то, что жжет» (но не «горит»: «гореть» может и сжигаемый огнем предмет; «гореть» относится к неактивному классу предикатов), «змея» есть «то, что ползает», все «живое», есть «то, что живет».

Отсюда вытекают два важных следствия (подробное рассмотрение которых мы здесь опускаем). Во-первых, имена активных существей (типа «огонь как активное начало», противопоставленное «неактивному огню» — первое от корня п.-е. \**ḡni-*, второе от корня и.-е. \**reǵ₂-ur-* с чередованием -r // -n), возможно, являются не первичными именами и даже не именами в подлинном смысле слова, а извлечениями из соответствующих предикатов, «номинализациями предикатов». (В то время как парные к ним именования неактивных «огня», «воды» и т. п. являются, действительно, первичными.) В таком случае известная теория о дублетных, или парных, понятиях типа «активный огонь» — «неактивный огонь» и т. д., разделяемая многими индоевропейцами — А. Мейе, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым [2, с. 274] и др., нуждалась бы в уточнении. Во-вторых, делается понятной еще одна черта названных предикатов: они особенно часто дают предложения с устраненным субъектом, типа русск. (*Здесь дует; Морозит; Без шапки голову напечет; Весь день льет* и т. п.

III тип: Активный субъект + глагол + неактивный объект («Человек кладет камень»). Для этого типа предложения реконструируются с одинаковой вероятностью два источника, которые, возможно, действовали одновременно (подобно тому, как в этимологии слова часто обнаруживаются два независимых этимона).

Первый путь — из I (неактивного) типа предложений. Он реконструируется (в другом контексте реконструкции) Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ивановым следующим образом. Если прото-и.-е. язык на древнейшем этапе был языком активного строя, то предложение типа «Человек кладет камень» должно было иметь в нем специфические особенности. Поскольку здесь актант-субъект активный, а актант-объект неактивный, то структура предиката — в типологическом соответствии со строением предложений этого типа в активных языках — должна была содержать показатель неактивного актанта, объекта. Этим показателем, согласно реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, является элемент -e, — тот же самый, который выступает показателем предиката (как предиката-глагола, так и предиката-имени) в типе предложения «Камень лежит» (по нашей классификации, в I типе). Позднее этот показатель стал флексией 3-го л. ед. ч. медио-перфекта -e и вошел в ряд флексий перфекта: 1-е л. ед. ч. -*Ha*, 2-е л. ед. ч. -*i<sup>h</sup>* *Ha*, 3-е л. ед. ч. -e [2, с. 297—298]. Таким образом, с точки зрения этой реконструкции должно получаться, что предложение типа «Человек кладет камень» развивается из типа «Человеком камень лежит», а это последнее из типа «Камень лежит», — посредством введения актанта-субъекта. Этот путь можно, до некоторой степени, условно, назвать путем развития «изнутри предложения».

Есть, однако, основания предполагать и второй путь возникновения предложений III типа «Человек кладет камень» — «извне предложения», т. е. из соединения двух соседствующих в тексте простых предложений в одно сложное: «Человек кладет» (предложение активного II типа) +

+ «Камень лежит» (предложение неактивного I типа) → «Человек кладет камень» (предложение III типа). Этот путь мы назовем *сериальным*, в силу его типологического сходства с известными конструкциями языков Юго-Восточной Азии, китайского и вьетнамского, и ряда языков Африки. Так, например, во вьетнамском: «разбить чашку»: «бить» + «разбиться, быть разбитым» + «чашка» (*đánh + vỡ + chén*); в африканском языке акан: «сыпать в воду зерно»: «нести» + «сыпать, лить» + «зерно» + «плыть» (*he + fe + kwe + oke*), т. е. «Я сыплю зерно» = «Я несу и сыплю» + «Зерно плывет». (Относительно самого термина «серийная конструкция» следует заметить, что многие исследователи применяют его ограничительно: только к односубъектным сериям в языках Африки, типа «Я несу + я сыплю»; но для такого ограничения нет оснований. Под понятие серийной конструкции очевидно подводятся также индоевропейские аналитические каузативы типа франц. *laisser tomber* «ронять» = «позволить» + «упасть».) Непосредственные следы этого пути развития наблюдаются в IV типе и.-е. предложения (см. ниже). Наличие такого пути заставляют предполагать и балтийские диатезы глагола наиболее архаического типа, т. е. развитие парных глаголов из одного корня с аблаутными чередованиями. Ср. приведенный выше пример: *Bernas merkia* «Парень мочит» (глагол активной или активно-каузативной диатезы) + *Linai mirksta* «Лен мокнет» (глагол непереходной, неактивной, медиальной диатезы) → *Bernas merkia linus* «Парень мочит лен».

При этом пути развития неактивный актанта-объект (типа «лен» в приведенном примере) первоначально должен был просто примыкать к глаголу-предикату активного предложения. Следы этого, действительно, обнаруживаются. В очень многих случаях, как показала А. В. Десницкая, в древнегреческом аккузатив может рассматриваться и как обстоятельство винительный при непереходном глаголе, и как винительный прямого дополнения при переходном глаголе, в особенности при медиальной форме двудиатезных, активно-медиальных глаголов (медиальная форма, как мы уже отмечали, особенно часто ассоциируется с субъектом «человек»). Например: при глаголе ζώνωσι//ζώνουσι (акт.//мед.) «окопоясываться» ζώσατο δέ ζώνῃ (Ил. 14, 181) «окопоясалась поясом (по поясу, в отношении пояса)» — обстоятельство, или «подпоясала себе пояс» — прямое дополнение [21, с. 101]. Следовательно, глаголы-предикаты II (активного) типа предложений с течением времени могли развивать при себе прямое дополнение, преобразуя в него примыкающей «прото-аккузатив» и сами превращаясь при этом в переходные.

Этот путь (как и указанный выше «первый» путь из реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова) также находит типологические параллели в языках активного строя. В этих языках в таких предложениях, как «Собака змею укусила», субъектом будет имя, соотносящееся с личным аффиксом активного класса в составе глагола-сказуемого, в данном случае имя «собака»; напротив, имя ближайшего объекта, в данном случае «змея», инкорпорируется без показателя в состав сказуемого. Этот тип предложения отвечает «второму» пути индоевропейского предложения. Но в тех же языках активного строя предложения такого же характера могут оформляться и иначе: ближайший объект, здесь «змея», соотносится с инактивным аффиксом глагола-сказуемого в словоформе активного глагола [22]. Последний тип предложения отвечает «первому» пути индоевропейского предложения.

Все эти наблюдения, в особенности наличие «второго» пути, подводят к тому, чтобы принять за исторически первичный тип предикатов в пред-

ложениях III типа («Человек кладет камень») двудиазные глаголы, — глаголы с меной диатез актив — медий.

Однако этим предварительным определением очерчивается еще очень широкий круг глаголов, так как мена диатез засвидетельствована в весьма разнообразных комбинациях, В весьма полном описании И. А. Перельмутера для древнегреческого [20, с. 114—129] насчитывается 12—13 различных типов соотношений актив — медий. (Автор не учитывает, впрочем, параметра «субъект глагола», введение которого, с одной стороны, еще увеличивает количество групп соотношений актив — медий, но, с другой стороны, существенно упрощает картину.) Применяя принцип минимализации (см. выше), из всех этих групп мы отбираем лишь тот их вид, который соответствует самому определению III типа предложений, является конституирующим для него. Таким видом соотношения актив — медий является следующий: глагол в активе означает воздействие активного субъекта на неактивный, вещный объект, глагол в медию (особенно в аористе медию) означает состояние вешного объекта, возбужденное этим воздействием, типа *Дождь мочит* (актив) — *Сено мокнет* или: *намокло* (медий). В этом соотношении, в отличие от закономерности, отмеченной выше для *media tantum*, выражение «глагол в медию» следует понимать применительно не ко всем формам медию в равной степени, а главным образом применительно к аористам, которые часто синонимичны с формами архаического «активного непереходного» и медиального перфекта; в отличие от *media tantum* эти формы медию связаны, по-видимому, особенно тесно как раз не с субъектом «человек», а с субъектом «вещь». Многие формы актива в таких парах являются позднейшими, подстроеными к первоначальным формам медию для выражения каузативного значения: *σῆμαι* «гниль» → *σῆμι* «гноить», как *ὀρχίζομαι* «танцевать» → *ὀρχέω* «заставлять танцевать».

Балтийские примеры упомянутого типа можно найти в общих грамматиках. Приведем некоторые греческие примеры: 1) *σῆμι* «гною» — аор. *ἐσάτην* (с кратким α) «(оно) загнило», перф. второй неперех. *σέστηκα* «(оно) сгнило»; 2) *καίω* «жгу, зажигаю» — аор. *ἐκάτην* «(оно) загорелось». аор. арх. *ἐκαυα* «то же», перф. гомер. *κῆαυτο*, перф. мед. *κέκαυμαι* «(оно) сгорело»; 3) *πέμπλημι* «наполняю» — аор. второй мед. *ἐπέλητο* эпич. 3-е л. мн. ч. *πέλητο* «(оно, они) наполнились», перф. пасс. *πέπλημαι, πέπλησμαι* и др.

В силу особенностей указанного выше «второго» пути развития в этом типе предложений можно ожидать надежных аномалий по линии номинатив — аккузатив. Возможно, что именно это следует видеть в таких предложениях, как литов. *Sienas* (именит. п.) *lįja* «Сено (им. п.) заливает» в значении обычного *Sieną* (винит. п.) *lįja* «Сено (вин. п.) заливает (дождем)».

\*

IV тип: Активный субъект + глагол + активный объект. Семантическим (не грамматическим и не лексическим) примером этого протоиндоевропейского типа предложения служит современное русское «Человек, воин убивает врага». Он ставит исследователя перед лицом многих сложностей. Существо их заключается в трудности, — а может быть, и в невозможности — реконструировать этот тип предложения для того (а именно, переходного) этапа прото-и.-е. языка, который условно можно назвать «этапом Уленбека».

На первый взгляд может показаться, что причина трудностей — в ограниченности базы реконструкции, просто в том, что обозначения актив-

ных сущностей, людей, типа «человек», «враг» и т. п. как объектов в предложении или вообще не попадают в круг языковых явлений, охваченных реконструкцией Х. К. Уленбека, или их дистрибуция в ее рамках неясна. Действительно, например, основы на \*-o часто принадлежат именам неактивного класса (ср. \*pedo- «след ноги» при имени активного класса \*ped- «нога»). Однако, с другой стороны, имена зверей активного класса типа «волк» — также исконные основы на \*-o. Столь же недостаточно в этом отношении освещено положение основ на -ā, \*-ē (в частности в балтославянском) и т. д. Состав активного класса имен, его подклассы, членение и т. д., как уже было сказано выше, до сих пор недостаточно исследованы.

Тем не менее при реконструкции предложения эти трудности можно было бы обойти, т. к. для реконструкции достаточно, как уже было показано, «минимализованных» лексических вхождений. Можно было бы и в данном случае ограничиться примером лексем, заведомо принадлежащих к основам на \*-o, например, «волк», и одновременно принадлежащих к тому классу объектов, на которые человек способен активно воздействовать, например, «убивать». Тогда существование предложения типа IV (ограниченного в этом смысле) не должно было бы вызывать сомнений. Ограниченность базы реконструкции была бы при этом несущественна. Но, как мы увидим ниже, трудности с этим типом предложения связаны не с ограниченностью базы реконструкции, а с существом реконструируемой языковой реальности.

В засвидетельствованной письменностью и.-е. языках имя в позиции объекта оформляется формой аккузатива (формой на \*-m) независимо от принадлежности такого имени к активному или неактивному классу — во всех основах на \*-o, на \*-ā, \*-ē, в части основ на сонант и согласных основ типа \*ped-, а также суффиксальных основ на \*-ter// \*-tor// \*-tr и др. Между тем в реконструкции Х. К. Уленбека, если быть последовательным в ее рамках, показатель \*-m может быть отнесен только к пациенсу, т. е. к неактивному имени в позиции субъекта (в I типе предложений) и объекта (в III типе). Что же касается активного имени в позиции объекта, то, чтобы занять ее, такое имя должно было бы приобрести форму пациенса. Но последняя, как уже было сказано, на «этапе Уленбека» является формой неактивных имен.

Возникает вопрос: в какой форме мог существовать актант «— врага» (активное имя в позиции объекта) на этом этапе? Ответ на этот вопрос остается неясным. (Неясен он и в реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, — авторы вынуждены ввести особое понятие «структурно-синтаксический инактив», в отличие от «первичных, лексически заданных инактивов с постоянными маркерами инактивности» [23]. «Структурно-синтаксический инактив» — это такая (предполагаемая) форма, в которой имя лексического активного класса (например, «человек», «зверь»), постоянно маркированное показателем активности, могло бы выступить в предложении в позиции и н а к т и в н о г о актанта — объекта, пациенса. Такая синтаксическая форма не может быть собственной («классной») формой этого имени, которая как раз запрещает его появление в позиции пациенса. Такая форма не может быть и формой падежа на -m, т. к. последняя образуется позднее, в рамках номинативно-аккузативного строя языка. Что могло бы быть такой предполагаемой формой?

Мы видим только одну, очень отдаленную параллель к искомой форме — хеттские имена на -ant-. Они производятся от имен среднего рода (аналогичного неактивному классу), не могущих появляться в позиции

субъекта при переходном глаголе, т. е. в предложениях типа «Вода разрушила дом». Однако производные имена на *-ant-* не подвергаются этому запрещению и могут выступать в указанной позиции, т. е. становятся «структурно-синтаксическими активами» (например, *wetenant-* «вода — активное при *watar* // *weten-* «вода» — инактивное). Э. Ларош, впервые детально описавший это явление [24], объяснил его именно структурно-синтаксически и уподобил формы на *-ant-* падежу — эргативу. К этой трактовке присоединился ряд исследователей (например, [25]). (Заметим, однако, что, например, Э. Белвенист ее не принял и истолковал открытую Э. Ларошем особенность как факт лексики [26]). Это явление в трактовке Э. Лароша удачно использовано Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым для объяснения того, как слово, принадлежащее к инактивному классу могло быть употреблено в позиции активного актанта (т. е. в III типе предложений по нашей классификации) в форме «структурно-синтаксического актива». По-видимому, оно же послужило аналогом для их предположения о возможности такого же явления, но как бы с обратным знаком, в рассматриваемом IV типе предложений.

Однако в действительности мы не находим не только каких-либо индоевропейских форм, которые можно было бы прямо связать с такими актантами, как «— врага» в IV типе, но не имеем и внеиндоевропейских параллелей к подобному явлению в языках активного строя. Активный актанта в позиции объекта оформляется в этих языках принципиально иными способами (см. выше). Таким образом, как это ни парадоксально, оказывается, как будто бы, что предложение типа IV «Человек, воин убивает врага» не могло существовать на «этапе Уленбека» и заведомо не могло существовать на более ранних этапах прото-и.-е. языка, если это этапы языка активного строя, как они обоснованно реконструируются в работе Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова.

По-видимому, поставленный выше вопрос следует изменить. Вопросом является не «какова могла быть внутренняя конструкция, в частности форма актанта-объекта, в предложении IV типа?», а «какая конструкция могла выполнять семантические функции (быть эквивалентом) этого типа предложения?». Поставленный в таком виде, вопрос, кажется, может получить определенный ответ. Как уже было сказано выше, если следовать реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, то восстанавливается конструкция «Человеком камень лежит» в значении «Человек кладет камень» как один из вариантов последнего (нашего типа III). По нашему мнению, именно эта своеобразная конструкция в еще большей степени, чем типу III, присуща IV типу «Человек убивает врага» и, возможно, была единственной формой, в которой этот тип предложения мог существовать на рассматриваемом этапе. Следы этого реально прослеживаются в исторически засвидетельствованных и.-е. языках.

Прежде всего, в качестве таких следов можно рассматривать формы так называемого «супплетивного пассива». Так, в греческое предложение типа «Всадники убили их», трансформируясь в пассив «Они были убиты всадниками», принимает не форму пассива от глагола *κτείνω* «убивать» (хотя соответствующие формы существуют), а форму актива от глагола «умирать» (*ἀποθνήσκω*: *αὐτοὶ γὰρ ἀπέθνησκον ὑπὸ ἰππέων* (Хен. Суг. VII 1, 48), букв. «Сами же они умирали от (рук) всадников». Аналогично этому в хеттском глагол *aki* «он умирает» является пассивом к глаголу *kuen-* «убивать» и означает при таком употреблении «он убиваем». Аналогичные примеры можно привести из других семантических сфер, означающих воздействие одного человека на другого, — «хулить», «хвалить», «изгонять»,

«ставить (назначать)» и т. п. (Особенно хорошо изученных в материале древнегреческого языка.) Такие обороты обычно объяснялись в плане организации лексики, лексически, — как результат табу, запрета на называние убийства и некоторых других физических воздействий, т. е. как явление по своей природе общетипологическое и даже внеязыковое, общепсихологическое. Не отрицая известной роли табу, мы предлагаем, однако, в качестве основного объяснения указанное синтаксическое. В пользу последнего и против табу как единственной причины можно привести целый ряд фактов. Упомянем здесь только некоторые из них. В хеттском имеются каузативные глаголы со значением «губить» к простому глаголу «погибать» (*hark-*) — *harnink, barganu-*, не подвергшиеся ни эвфемистической замене, ни замене супплетивным пассивом; в греческом основной глагол этой лексико-семантической группы, *κτείνω* «убивать», имеет, как уже было сказано, нормальный пассив, который, однако, не употребляется в данном типе предложений, и к тому же, как показывает его этимология, уже является эвфемизмом (ср. скр. *ksan-*, *ksanóti* «вредить, ранить» [27]) и т. д.

В качестве другой группы явлений, в которой можно видеть косвенные следы рассматриваемой специфической конструкции («Враг умирает воином»), выступают, по-видимому, каузативные глаголы типа русск. *губить* при простом *гибнуть*. В отличие от каузативных отношений архаического типа, упомянутых выше в связи с III типом предложений, объект этих каузативов не «вещь», в которой возбуждается процесс, а «человек», в котором, если так можно выразиться, возбуждается действие или состояние. В литовском (соответственно, и в латышском) эти глаголы составляют значительную часть каузативов нового морфологического пласта на *-inti, -dinti* и, по-видимому, в меньшей степени более старого пласта на *-dyti*. Ср. литов. *žudyti* «губить» при *žūti* «гибнуть», *klaidinti* «делать так, чтобы кто-л. ошибся» при *klūsti* «ошибаться» и т. п. От архаических каузативов типа *meškėti* «мочить» при *miškėti* «мокнуть» (см. выше) они отличаются тем, что корневой аблаут сопровождается в них большим суффиксальным расширением. В синхронной грамматике часть таких каузативов (типа *klaidinti*) выделяется в особую группу, иногда еще более дробно разделяющуюся на глаголы фактитивные (в литовской терминологии *prigėžastiniai veiksmazodžiai* «причинные глаголы») и куративные, или глаголы понудительного залага (в литовской терминологии *ragūrinamieji veiksmazodžiai*). Их следует выделять в особую группу и при реконструкции.

С этой группой можно в определенной степени сблизить соответствующую по смыслу группу ведийских каузативов, т. к. они (при том, что весьма существенны их различия в зависимости от формы либо активной, либо медиальной) в тенденции все, по-видимому, тяготеют к тому, чтобы образовывать пары к простым глаголам, означающим действия и состояния человека (скорее, чем вещи). Из около 40 примеров каузативов, приведенных в «Грамматике ведийского языка» Т. Я. Елизаренковой, только шесть означают более или менее определенно действия или процессы, совершающиеся в вещах: *var-* «покрывать», *sar-* «течь», *duṣ-* «портиться», *grī-* «опираться», *śud-* — «точить», *riś-* «сиять» [28] (однако и они так или иначе могут относиться к человеку). По-видимому, именно доминированием этой черты во многих древнеиндийских каузативах объясняется появление таких специфических трансформаций, как скр. *Devadattaḥ pacati odanaṃ* «Девадатта варит рис» → *Pāśayati odanaṃ Devadattena*, букв. «Он варит рис Девадаттой», «Он делает так, чтобы Д. зарил рис» [29], где сохраняется первоначальный объект простого

глагола — вещь (здесь *рис* при глаголе *варить*), а новый объект каузатива — человек (здесь *Девадатта*) ставится в инструментальном падеже

К этому типу предложений принадлежит, вероятно, и следующий балто-славянский с инструменталисом лица: литов. *Rugius jie savim veža* «Рожь они собой возят», т. е. «на себе (за неимением лошадей)» [30] русск. *Достают невесту собою, а ино и Фоюю* [31], «собою» = «сами»

Образование каузативов такого типа, т. е. с объектом-лицом (иногда при наличии первого объекта-вещи), является, видимо, одним из путей (наряду с «супплетивным пассивом») разрешения трудностей, возникавших при переходе языка от активного строя, где предложения типа IV («Человек убивает врага») в таком виде невозможны, к номинативно-аккузативному строю, где они обычны.

\*

Кратко затронем теперь вопрос о перифразах (в указанном в начале статьи значении этого термина). Перифразы, в частности, можно рассматривать как некоторое расширение минимальных наборов предикатов и/или субъектов, присущих каждому типу предложений. Здесь мы остановимся на одном специфическом виде перифраз — пересечении предикатов, а именно предикатов I и II типов предложений.

В данном случае пересечение состоит в том, что типы I и II, не пересекающиеся в минимальном наборе своих предикатов (это гомеровские *perfecta tantum* «состояние тела» и их внегреческие соответствия у типа I и и.-е. *activa tantum* у типа II), начинают пересекаться при расширении наборов предикатов. Мы полагаем, что это процессы, возникающие не только как методические приемы лингвиста, работающего в области реконструкции, но что некоторые расширения и пересечения этого рода имели место в исторической действительности и что с ними, вероятно, связано происхождение и взаимное отношение и.-е. перфекта и медиа.

Формальные соответствия флексий и.-е. перфекта и медиа, открытые одновременно и независимо Е. Куриловичем и Х. Стангом в 1932 г [32; 33], дали начало одной из постоянных и дискуссионных тем индоевропеистики. Это обстоятельство отодвинуло в тень тот факт, что указанные морфологические соответствия покоятся на реликтах некоторой лексико-семантической группы глаголов, т. е. предикатов некоторых предложений. К этому факту мы и должны вернуться. Мы полагаем, что речь идет о пересекающихся предикатах I и II типов предложений.

Е. Курилович, показывая первоначальное тождество флексий и.-е. медиа и перфекта, исходил из того, что в некоторых глаголах ведийского языка в медиа имеется в имперфекте-аористе окончание 3-го л. ед.ч. *-a* (вместо обычного окончания аориста *-ta*), а в презенсе — окончание 3-го л. ед.ч. *-e* (вместо обычного *-te*). (В настоящее время эта особенность обычно обобщается формулировкой: флексия без дентальных.) Например, от корня *dih-* «идти» первая форма *adiha*, вторая *dihé*. Отсюда, как показал Е. Курилович, следует, что флексия вед. 3-го л. ед.ч. имперфекта-аориста медиа *-a* восходит к флексии 3-го л. ед.ч. перфекта *-e*. Те же глаголы имеют в 3-м л. мн.ч. презенса и имперфекта флексии, содержаще элемент *-r-*, так что в формах имперфекта также прослеживается более древнее перфектное основание флексии. Ни Е. Курилович в упомянутой работе ни Х. Станг, ни последующие исследователи не привели списка таких глаголов, и эта задача, казалось бы незначительная, до сих пор не была выполнена. Между тем по поводу некоторых из форм с упомянутыми особенностями среди индологов имеются разногласия в атрибуции по

категориям, а некоторые формы оцениваются одними исследователями как архаизмы, а другими как инновации.

Др.-инд. глаголы, имеющие флексию без дентальных в презенсе медиа в 3-м л. ед. ч. и/или в -r- в 3-м л. мн. ч., согласно списку Дж. Кардона (составленному в связи с исследованием другой проблемы [34]), следующие:

1) <i>joṣe</i>	«наслаждаться»;	9) <i>hinvé</i>	«приводить в движение»;
2) <i>mahe</i>	«почитать»;	10) <i>invire</i>	«гнать»;
3) <i>stavé</i>	«восхвалять»;	11) <i>ṛivire</i>	«вставать»;
4) <i>cité</i>	«замечать»;	12) <i>pinvire</i>	«жиреть»;
5) <i>duhé</i>	«дойти»;	13) <i>ṣṛṇvé</i>	«слышать»;
6) <i>bruvé</i>	«говорить»;	14) <i>tanvire</i>	«вытягивать»;
7) <i>vidé</i>	«находить»;	15) <i>vṛñjé</i>	«поворачивать»;
8) <i>sunvé</i>	«выжимать»;	16) <i>gñé</i>	«призывать».

К этому списку надо присоединить формы, которые квалифицируются разными авторами по-разному — либо как презенсы, аналогичные приведенным выше, либо как перфекты без удвоения:

17) <i>śáye, śere</i>	«лежать»;
18) <i>īše</i>	«повелевать»;
19) <i>iośé</i>	«быть довольным».

Формы *pinvire, hinvire*, приведенные выше, также некоторыми исследователями определяются как перфекты без удвоения. Наконец, в этот же список мы должны включить еще один глагол — 20) *āste* «сидеть», поскольку его долгий гласный указывает на перфектное происхождение (возможно, от корня \**es-* «быть»), хотя флексия этого глагола целиком нормальная медиальная (т. е. с дентальным) (ср. такую интерпретацию этого глагола, например, в работе [35, с. 299]. Х. Стагг, с другой стороны, также сопоставлял с этой др.-инд. группой хет. *ēša(ri)* «сидит», *media tantum* [33, с. 30].

Вторая морфологическая черта этой группы др.-инд. глаголов — флексия с -r- была детально обследована М. Лойманом, также в другой связи — с точки зрения инноваций древнеиндийского языка [36]. (Работа М. Лоймана Дж. Кардоне осталась, по-видимому, неизвестной.) Важнейшие из этих инноваций, согласно М. Лойману, следующие. 1) В комплексе -re, -ire, -rīre в перфекте, -ire в презенсе — *śáye, śere* «лежать» и *duhé, duhre* «дойти» осознаются как глаголы с перфектным значением *vide, vidre* «находить»; тип *ṣṛṇvire* «слушали» служит посредствующим звеном, и появляются более новые перфектные группы, например, *īše. īšire* «повелевать». 2) В комплексе -re, -ra, -ran — имперфект *aśayat, aśeran; śī, śe* «лежать» в греч. и индо-иран. дает прямо сопоставимые формы 3-го л. ед. ч. *κῆται* и *sete*, авест. *sacte*; но в Ригведе имеются и формы без дентальной флексии — 3-е л. ед. ч. *śáye*. ранняя форма 3-го л. мн. ч. *śere* (ав. *sōire, saere*) в Ригведе и Атхарваведе вытеснена формой 3-го л. мн. ч. имперфекта *aśeran*; обе последние формы по их окончаниям осознавались, по-видимому, в индо-иранском как перфекты, подобно лексеме от корня и.-в. \**dhe-* «класть», который в греческом в значении перфекта *τέθηκα* часто заменяется лексемой *κῆται* («положен и) лежит». Прочные группировки флексий 3-го л. ед. ч. -e и 3-го л. мн. ч. -re в перфекте медиа со всеми последствиями для презенса ограничены только двумя корнями — *śī-* «лежать» и *duh-* «дойти»: два других корня — *ved-* «знать» и *ī-* «справить, повелевать» являются уже подлинными перфектами [36, с. 13].

Из этих наблюдений следует, что общность флексий медиа и перфекта (которую Е. Курилович и Х. Стагг рассматривали «суммарно», на всей

группе глаголов. и при этом морфологически) охватывает два круга — круг инноваций и круг исконных перекрещивающей флексии, — последний, в конечном счете, только два корня с несомненностью — «лежать» и «дойти». Отсюда следует также, что морфологическая общность флексий покоится не только на категориальном сходстве медиа и перфекта (на что в первую очередь обращал внимание Х. Стаинг), но на специфической семантике упомянутых лексем. На этот факт необходимо теперь обратить особое внимание.

Наличие корня со значением «дойти» в этом круге лексем представляет непонятным, что стоит, вероятно, в связи с недостаточной выясненностью этимологии этого корня. Напротив, наличие лексемы «лежать» проливает свет на всю проблему. Группа из трех лексем — «лежать», «сидеть», «вставать» — образует, очевидно, центральную часть в группе из упомянутых выше 21 глагола, — означая основные позы и движения человеческого тела. Основным субъектом этих глаголов является, естественно, человек. Между тем в современных семантических исследованиях установлено, что под понятием «человек», под одним и тем же именем существительным, означающим человека вообще или человека в каком-либо его отдельном проявлении («воин», «охотник», «вождь», «муж» и т.д.), могут скрываться две различные семантические сущности — «человек как тело» (тело человека) и «человек как тело и дух (подлинно активная сущность)». Это различие синтаксически значимо. Как показала А. Вежбицка [37], предложение типа «Человек лежит на кровати» может быть семантически описано как «{Тело человека} лежит на кровати». Но предложение типа «Человек получил диплом университета» не может быть описано таким же образом, но лишь как «{Тело и дух человека} получил диплом университета». Именно это различие является определяющим для семантики описываемой группы из трех глаголов. Означая действие, они относятся к человеку как активной сущности («человек как тело и дух»), — «Человек садится, ложится, встает» = «Человек (как тело и дух) каузирует сесть, лечь, встать свое тело». Означая же результат действия, состояние, они относятся к человеку как неактивной сущности («человек как тело, тело человека») — «Человек сидит, лежит, стоит» = «Тело человека сидит, лежит, стоит». Как глаголы действия эти лексемы спрягаются по парадигме глаголов действия, — поскольку это действия субъекта «человек», — по парадигме медиа. Как глаголы результата действия, состояния, эти лексемы спрягаются по парадигме перфекта. В первом случае они выступают предикатами предложений II типа (активных), во втором случае — предикатами предложений I типа (неактивных). Но одновременно они представляют собой перекрещивание этих предикатов, или, по принятой нами терминологии, их перифразы.

Эта определяющая семантико-синтаксическая черта отражается в деталях морфологии флексий.

1) Вед. *śāye*, *śēte* «лежит» в точности соответствует, как уже было сказано, греч. *καίται*, хет. *kitta(ri)* с тем же значением, но в обоих языках это лексемы *media tantum*;

2) Др.-инд. *āste*, *āste* «сидит» — также *media tantum* и соответствует хет. *eś-* «сидеть», спрягающемуся по парадигме медиопассива, как *media tantum*; это обстоятельство не позволяет согласиться с мнением Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова об исконной принадлежности этой лексемы к «активному ряду форм». *mi*-спряжению [2, с. 195];

3) *ṛbhōti*, *ṛbhāti* «поднимается, двигается», 3-е л.ед.ч. презенса медиа *ṛbhé*, 3-е л.ед.ч. аориста активное *ārat*; сопоставимо с греч. *ὄρωμι* то

же знач., 3-е л. ед. ч. презенса меди *ḡṛṛṣi*, аорист активный *ḡṛ-ṛṣe*, имеется и аорист медиальный *ḡṛto*, параллельный др.-инд. *ārta*, а также тематический *ḡṛto*, параллельный др.-инд. *ārata*; имеются также формы *ḡṛṣe* — др.-инд. *ārṣīt* (у грамматиков) [38, с. 96]; др.-инд. корень *-ar-* имеет аблаутные чередования *ar-//ir-* и удвоение перфектного типа: 3-е л. ед. ч. през. актива *iyarti* «двигает, поднимает», последнее выступает и как актив. и как медий, и как каузатив к простому глаголу *ir-*; последний является *med. tant.* (3-е л. ед. ч. презенса *irate*), как и рассмотренный выше *ās-* «сидеть». Ввиду этих особенностей хет. *arnuz(z)i* «приносит, доставляет», прямо сопоставимый с этой группой, следует рассматривать как каузатив (*mi*-спряжения) не только к простому глаголу (*hi*-спряжения) *ar-* «достигнуть, прибыть» [39, § 153], но и к простому глаголу *med. tant. ar-* «стоять, становиться», последний параллельный лат. депонентному *orior, ortus sum* «вставать, начинаться». Корень в греч. *ḡṛṛṣi*, хет. *arnum, arta*, лат. *ortus*, ввиду соответствия др.-инд. *ṛtā-*, может представлять не ступень *\*or-*, а нулевую ступень [40, с. 824]. Ввиду всех этих соответствий следует скорректировать отнесение Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым корня *\*or-* к «неактивному ряду лексем» в противопоставлении к синонимичному корню *\*st(h)a-* (*\*st<sup>h</sup>laH-*) «стоять», относимому ими к «активному ряду» [2, с. 295].

В системе древнеиндийского языка рассмотренные лексемы (как и другие глаголы из указанной группы числом 21) принадлежат (в основных вариантах) к атематическим основам настоящего времени, у которых было два типа спряжения, соответствующих хеттским спряжениям на *mi-* и на *hi-*. Санскрит обобщил спряжение на *mi-* в активе, в то время как ведийский язык в медиі сохраняет следы этой двойной системы [35, с. 298—299].

Если следовать распределению глагольных форм на «два ряда» — «активные» и «неактивные», как в системе Вяч. Вс. Иванова и Вяч. Вс. Иванова — Т. В. Гамкрелидзе [2, с. 295 и др.], то здесь представлены лексемы обоих этих рядов в смешанном виде, — так, корни *k<sup>h</sup>ei-* «лежать» и *\*or-* «стоять, вставать» принадлежат к неактивному ряду (ср., однако, замечания выше), а корень *\*es-* «сидеть» — к активному.

Со всех точек зрения, группа представляется смешанной и гетерогенной, а потому в своем происхождении и неясной.

Лишь с одной точки зрения она представляется единой и компактной — с точки зрения основных поз человеческого тела как семантико-синтаксической группы, а переkreщивания различных залоговых флексий предстают при этом как полностью регулярные отношения, вызванные принадлежностью этой группы одновременно к составу предикатов I и II типов предложений.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Uhlenbeck C. C. Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen // IF. 1901. XII.
2. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I—II. Тбилиси, 1984.
3. Lehmann W. P. Proto-Indo-European syntax. Austin — London, 1974. P. 222—237. (2-nd ed. — 1980).
4. Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка. М., 1953. С. 134.
5. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Вып. 1—2. Л., 1925. § 128.
6. Haudry J. L'emploi des cas en védique. Introduction à l'étude des cas en indo-européen. Lille, 1978. P. 427.

7. Степанов Ю. С. Морфология имен и раций субъектов // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
8. Степанов Ю. С. Подлежащее в старых романских языках (глава из сравнительно-исторического синтаксиса) // Востник МГУ. Историко-филологическая серия. 1961. № 4.
9. Савченко А. П. Древнейшие процессы в области личных местоимений в праиндоевропейском языке // ИАН СЛЯ. 1984. № 6.
10. Silverstein M. Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in Australian languages / Ed. by Dixon R. Canberra, 1977.
11. Гузман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981. С. 182—189.
12. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Активная типология праиндоевропейского языка // ИАН СЛЯ. 1984. № 4.
13. Перельмутер И. А. Общиндоевропейский и греческий глагол. Л., 1977. С. 5—30.
14. Бенвенист Э. О некоторых формах развития индоевропейского перфекта // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 145.
15. Джаукян Г. В., Сараджева Л. А., Арутюнян Ц. Р. Очерки по сравнительной лексикологии армянского языка. Ереван, 1983. С. 61.
16. Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—III. Heidelberg, 1960—1972.
17. Delbrück V. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. 2. Theil. Strassburg, 1897.
18. Bader F. Le présent du verbe *être* en indo-européen // BSLP. 1976. T. 71. Fasc. 4. P. 26.
19. Бенвенист Э. Активный и средний залог в глаголе // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 188.
20. Перельмутер И. А. О функционально-семантических оппозициях активных и медиальных форм древнегреческого глагола (язык аттической прозы) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
21. Десницкая А. В. Сравнительное языковедение и история языков. Л., 1984.
22. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977. С. 117, 125, 307.
23. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Активная типология языка и происхождение праиндоевропейских именных парадигм // ИАН СЛЯ. 1981. № 2. С. 123—124.
24. Laroche E. Un «ergatif» en indo-européen d'Asie Mineure // BSLP. 1962. T. 57. Fasc. 1.
25. Tschekhoff C. Le double cas-sujet des inanimés: un archaïsme de la syntaxe hittite? // BSLP. 1978. T. 73. Fasc. 1.
26. Benveniste E. Les substantifs en *-ant* du hittite // BSLP. 1962. T. 57. Fasc. 1.
27. Hoffmann K. Vedisch *kṣan-* // Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für J. Knobloch. Innsbruck, 1985.
28. Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982. С. 367—370.
29. Ренон Л. Grammaire sanskrite élémentaire. P., 1978. § 102.
30. Jablonskij J. Rinktiniai raštai. T. I. Vilnius, 1957. P. 622.
31. Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. СПб. М., 1882. С. 169.
32. Kuryłowicz J. Les désinences moyennes de l'indo-européen et du hittite // BSLP. 1932. T. 33. Fasc. 1.
33. Stang Chr. S. Perfektum und Medium // NTS. 1932. VI.
34. Cardona G. Rigvedic *śruviṣē* // Language. 1961. V. 37. № 3.
35. Барроу Т. Санскрит. М., 1976.
36. Leumann M. Morphologische Neuerungen im Altindischen Verbalsystem. Amsterdam, 1952.
37. Wierzbicka A. Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.
38. Birwé R. Griechisch-Arische Sprachbeziehungen im Verbalsystem. Wolldorf (Hessen), 1956.
39. Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952.
40. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. I—IV (1, 2). P., 1968—1980.
41. De Lamberterie Ch. // Revue des études arméniennes. 1932. T. 16.

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.

**К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СМЫЧНЫХ И ФРИКАТИВНЫХ  
«МИНОЙСКОГО» ЯЗЫКА ПО ПОКАЗАНИЯМ ГРЕЧЕСКОЙ  
ЛИНЕЙНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КЛАССА В**

1. Линейное письмо класса В, которым записаны древнейшие тексты на греческом языке, относится к типу слоговых письменностей со знаками, передающими открытые слоги структуры CV. Эта письменность настолько не соответствует фонетическим характеристикам греческого языка, как парадигматическим, так и синтагматическим, и не приспособлена для адекватной передачи звуковой стороны греческого языка, что не оставляет сомнений в иноязычном ее происхождении. Линейное письмо В, очевидно, отражает письменность, созданную первоначально для негреческого языка.

2. Орфографические особенности линейного письма В, примененного для передачи греческого языка, но все еще сохраняющего специфические черты письменности, созданной первоначально для передачи языка существенно отличной от греческого структуры, позволяют сделать некоторые заключения о структурных характеристиках этого языка и определить ее типологическую принадлежность. Такой письменностью, послужившей источником для линейного письма В, можно считать линейное письмо А, передающее язык, очевидно, неиндоевропейского и несемитического структурного типа, условно именуемый «минойским».

Не предпретая, однако, во многом еще неясного вопроса о соотношении линейных письменностей А и В и о характере и конкретных фонетических значениях знаков линейного А, представляется возможным, оставаясь в пределах линейного В, судить о типологических характеристиках «минойского» языка, под которым следует понимать язык, для которого и была создана первоначально некоторая разновидность «эгейской» силлабической письменности, легшей впоследствии в основу греческого линейного письма класса В. Если этой разновидностью силлабической письменности окажется именно линейное А, то данное обстоятельство может повлечь дополнительные соображения относительно фонетического характера целого ряда знаков этой силлабической письменности.

3. Первое, что можно заключить о фонетическом характере «минойского» языка на основе линейного письма В, это то, что минойский язык отличался преимущественно открытыми слогами структуры CV; он характеризовался регулярным следованием согласных и гласных при отсутствии (или крайней редкости) скопления согласных; не различались согласные *r* и *l*.

4. Особенно важный вывод относительно фонетической природы «минойского» языка, к которому приходят почти все исследователи, заключается в признании отсутствия в «минойском» различий смычных по признаку звонкости/глухости. Минойский язык, согласно этой точке

зрения, не обладал значительными различиями между глухими и звонкими согласными (*k/g*, *p/b* и т. п.). Такой вывод делается на основе наличия в линейном В лишь по одному ряду знаков для передачи греческих лабиальных: звонкого β, глухого π (и придыхательного φ) и греческих велярных: звонкого γ, глухого κ (и придыхательного χ) — эти греческие фонемы передаются на письме соответственно сллабемами *b/pa*, *b/pe*, *b/pi*, *b/po*, *b/pu* и *g/ka*, *g/ke*, *g/ki*, *g/ko*, *g/ku*<sup>1</sup>. Однако наличие в системе линейного В двух рядов знаков для дентальных — звонкого и глухого, т. е. *da*, *de*, *di*, *do*, *du* наравне с *ta*, *te*, *ti*, *to*, *tu*, для передачи соответственно греческого звонкого дентального δ и глухих дентальных τ и θ, опровергает тезис об отсутствии в системе-источнике значащих различий между глухими и звонкими смычными.

Эти графические соотношения знаков для смычных в системе линейного письма В (по одному ряду для «лабиальных» и «велярных» при двух рядах для «дентальных»), отражающие, несомненно, первоначальные фонемные соотношения в системе языка-источника, следует истолковать в том смысле, что тут перед нами типичный случай фонемной системы с противопоставлением двух рядов смычных по признаку звонкости/глухости при отсутствии наиболее маркированных, «рецессивных» членов обоих рядов, т. е. велярного *g* в серии «звонких» и лабиального *p* в серии «глухих»:

Звонкие	Глухие
<i>b</i>	—
<i>d</i>	<i>t</i>
—	<i>k</i>

Такие системы типологически вполне закономерны и обнаруживаются во многих языках различного структурного типа (см [3]).

Таким образом, систему смычных «минойского» языка следует реконструировать в виде двух «дефектных» серий согласных, противопоставляемых по признаку звонкости/глухости, с пробелами в точках наиболее «рецессивных» членов оппозиции — звонкой велярной фонемы *g* и глухой лабиальной фонемы *p*. Такие отсутствующие в системе «минойского» языка фонемы, естественно, не были отражены на письме, созданном для «минойского» языка и приспособленном впоследствии для передачи греческого (ср. [4]). Этим и объясняется отсутствие соответствующих знаков в греческом линейном письме В. В соответствии с этим, при допущении связи между письменными системами класса А и В и приписывании фонетических значений знакам линейного А на основе их графического сходства с соответствующими знаками линейного В, линейные знаки А, обозначающие лабиальные и велярные смычные, следует транскрибировать не как *b/pa*, *b/pi*, *b/po*, *b/pu* и *g/ka*, *g/ke*, *g/ki*, *g/ko*, *g/ku* (что имеет смысл при транслитерации соответствующих греческих линейных знаков В), а как *ba*, *bi*, *bo*, *bu* и *ka*, *ke*, *ki*, *ko*, *ku*, т. е. исключая отсутствовавшие в системе «рецессивные» фонемы — звонкую велярную *g* и глухую лабиальную *p*.

5. В типологической лингвистике устанавливаются определенные универсально значимые соотношения в фонемной системе между группами смычных и фрикативных фонем. В частности, факультативное отсутствие «рецессивных» смычных — звонкого велярного *g* и/или глухого лабиального *p* — предполагает наличие в системе соответствующих фрикативных велярных фонем *γ* — *χ* и/или лабиальных фонем *ω* ~ *φ*, выступающих

<sup>1</sup> См. [1]; из последних работ по этому вопросу ср., например [2].



ЕЛИЗАРЕНКОВА Т. Я.

## О МОРФОНОЛОГИИ ХИНДИ

(К постановке проблемы)

Морфонология обычно не выделялась как особый уровень описания языка в хинди, как и в других новых индоарийских (н.и.-а.) языках, и дело здесь отнюдь не в общей неясности, связанной со статусом морфонологии, а скорее в некоторой неочевидности, завуалированности и разбросанности тех фактов, которые можно было бы интерпретировать как относящиеся к морфонологии. Между тем эти факты, описываемые на разных уровнях (фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса), могли бы получить, с синхронной точки зрения, единое и более стройное истолкование, будучи рассмотренными в совокупности и описанными на специально выделенном для этого уровне. Наконец, выделение этого уровня для н.и.-а. языков дает большие преимущества в установлении общих закономерностей их диахронического развития<sup>1</sup>.

О морфонологии существуют разные мнения. Морфонология в современной лингвистике — это, с одной стороны, операционное понятие, удобное и широко применяемое для описания многих языков<sup>2</sup>, с другой же, тот уровень описания языка, который вызывает наибольшие теоретические возражения со стороны отдельных ученых вплоть до полного его отрицания<sup>3</sup>. Реалистичным представляется подход к морфонологии, предложенный А. А. Реформатским, согласно которому морфонология как особый уровень существует, но отнести ее к базисным уровням нельзя. Каждый базисный уровень имеет свои единицы. Морфонология же берет от фонологии фонему, а от морфологии морфему. Морфонология — это мостик между двумя основными, базисными уровнями. В фузионно-флективных языках она особенно важна, в аналитических — менее [5].

Здесь будет принято рабочее определение морфонологии как уровня, на котором описываются чередования, требующие обращения к грамматической информации (причем грамматика понимается широко и включает в себя как формообразование, так и словообразование).

Среди н.и.-а. языков хинди принадлежит к тому типу, который сочетает в себе приблизительно в равной степени элементы анализа и флексии. В состав аналитических образований, особенно развитых в глаголе, входят в качестве их компонентов флективные формы. Отчасти эта флексия восходит к древним личным или падежным окончаниям, отчасти выработалась новая флексия [6] — одним словом, тип языка дает достаточные

<sup>1</sup> См. об этом в конспективном изложении [1].

<sup>2</sup> О задачах и границах современной морфонологии см. [2], а также краткое содержательное предисловие «От редакторов» к [3].

<sup>3</sup> См. мнение Е. Куриловича [4]: «Морфонология как особой дисциплины не существует». Факты, относимые обычно к морфонологии, принадлежат или морфологии, или синтаксису.

основания для выделения морфологии в качестве особого уровня описания.

Далее будут последовательно рассмотрены те факты языка хинди, которые подлежат интерпретации на морфологическом уровне.

### 1. Формообразование имени

В парадигме словоизменения имен существительных хинди, как известно, наблюдается та закономерность, что в основах, оканчивающихся на  $-ī$ ,  $-ū$ , перед флексией происходит сокращение конечного гласного, т. е. имеет место количественное чередование. При этом существенно, что все флексии имени в хинди, если они вообще материально выражены (а не являются нулевыми), представлены только долгими гласными:  $-ā$ ,  $-e$ ,  $-o$ ,  $-ā̄$ ,  $-ē$ ,  $-ō$ . Флексий, оканчивающихся на согласный (что в принципе вполне возможно) или на краткий гласный (что невозможно по фонетическим причинам<sup>4</sup>) в хинди не существует.

В случае исходного  $-ī$  количественное чередование сопровождается также возникновением в интервокальном положении эпентетического согласного  $-y-$ , отмечаемого на письме. При исходном гласном основы  $-ū$  соответствующий эпентетический согласный  $-v-$  у имен существительных на письме обычно не обозначается [9, с. 17].

Это правило моделирует образование ряда падежных форм мн. числа многочисленных существительных жен. рода и не столь распространенных существительных муж. рода на  $-ī$ , например: *larkī* ж.р. «девочка» — прямой пад. мн. ч. *larkiyā*, косв. пад. мн. ч. *larkiyō (se)*; *bhāī* м.р. «брат» — косв. пад. мн. ч. *bhāiyō (se)*, звательная форма мн. ч. *bhāiyō!*

Оно моделирует также образование ряда падежных форм мн. числа немногочисленных основ на  $-ū$  муж. и жен. рода (последние встречаются совсем редко), например: *hindū* м.р. «индус» — косв. пад. мн. ч. *hinduō (se)*; *bahū* ж.р. «невестка» — прямой пад. мн. ч. *bahūē*, косв. пад. мн. ч. *bahūō (se)*.

Все эти факты нельзя объяснить чисто фонетически:  $-ī$  или  $-u$  сокращается потому, что в интервокальном положении здесь возникает согласный  $-y-$  или  $-v-$ , поскольку по правилам слогаделения хинди одиночный интервокальный согласный принадлежит последующему, а не предыдущему гласному [8, с. 68]. в середине же слова допустим слог с исходом как на краткий, так и на долгий гласный.

Общая формула чередования гласных в именных основах такова:

$$\begin{aligned} & \cdot i + \bar{V} \# > \cdot y\bar{V} \# \\ & \cdot u + \bar{V} \# > \cdot v\bar{V} \# \end{aligned}$$

Данное морфологическое правило является для хинди универсальным, так как оно описывает все слова этого класса, имеющие указанную структуру. Оно действительно не только для слов собственно хинди, т. е. *tadbhava*, но и для заимствований, ср., например: скр. *mantrī* м.р. «министр» — косв. пад. мн. ч. *mantriyō (se)*; скр. *vandhū* ж.р. «невеста» — прямой пад. мн. ч. *vadhūē*, косв. пад. мн. ч. *vadhūō (se)*.

<sup>4</sup> Как отмечают индийские исследователи, в конце слова в хинди может быть только долгий гласный, см., например [7, с. 23]. Если же в санскритских заимствованиях, словах *tatsama*, встречаются в конечном положении краткие гласные  $-i$ ,  $-u$ , что и обозначается соответственно на письме, то в произношении хинди они удлиняются — см. [8, с. 56].

Таким образом, здесь имеет место грамматикализованное чередование гласных, свойственное определенному типу основ и происходящее на стыке двух морфем: основы и флексии.

В принципе в хинди нет запрета на сочетание *-i* или *-u* с последующим долгим гласным, в частности с одним из тех гласных, которые используются в качестве флексии. Однако в лексике *tadbhava* эти сочетания отличаются неустойчивостью, и большая часть слов, оканчивающихся на *-ī-y-ā*, *-ū-ā*, имеет варианты с кратким первым гласным в этом сочетании, например: *dīya/diya* «сочка», 1) *jīā/jiā* «ярмо», 2) *jīā/jiā* «азартная игра», *bīā/biā* «тетка по отцу», 2) *sīā/sivā* «стрелка часов», *kīā/kiā* «колодец», *dhīā/dhiā* «дым», но без вариантов с кратким гласным: *tīyā* «женщина», 1) *sīā* «попугай» (ер. также из других сочетаний долгих гласных *rīī/riī* «хлопок», *sīī/siī* «изла»).

В словах *videhī*, т. е. в заимствованной лексике, широко употребляющейся в хинди, сочетание *-īy-* достаточно часто встречается, например, в абстрактных именах жен. рода на *-at* (слог, ритмически приравниваемый к долгому гласному) из урду, как *tabīyat* «сердце, душа, самочувствие», *nīyat* «цель» и др.

По-видимому, целесообразно считать, что существует центр и периферия количественных чередований гласных *ī, ū* в именах существительных хинди. Центром является та область, где это чередование имеет регулярный и обязательный характер, а варианты недопустимы. А это бывает там, где с количественным чередованием связано выражение грамматического значения: числа, рода, падежа. Периферией данного явления следует считать факультативное чередование в отдельных лексических единицах, не связанное с какими-либо семантическими оппозициями.

## II. Формообразование глагола

При словоизменении глагола хинди у корней, оканчивающихся на *-ī, -ū*, перед флексией происходит сокращение конечного гласного, т. е. имеет место количественное чередование. Глагольная флексия подобно именной, тоже представлена только долгими гласными: *-ā, -ī, -e, -o, -ai, -ī, ū, -ē, -ō, -ai*. На морфемном шве в интервокальном положении могут возникнуть эпитетические согласные *-y-* после *-i*, или *-ā, -v-* после *-u* или *-ā*. Например: *jīnā* «жить» — прет. м.р. *jīyā, jīye*, ж.р. *jīyī, jīyī*, сослаг. накл. *jīyī, jīe, jīyī, jīo*; *chūnā* «прикасаться» — прет. м.р. *chūyā, chūe*, ж.р. *chūyī, chūyī*, сослаг. накл. *chūyī, chūe, chūyī, chūo*.

Корней этой структуры в хинди мало, но во всех них чередование происходит регулярно.

Корни аналогичной структуры на прочие долгие гласные не подвержены количественному чередованию. Корни на *-ā* вообще являются неизменяемыми. В ряде форм на морфемном шве в интервокальном положении у них возникает эпитетический согласный *-y-* или *-v-*, количество же гласного остается неизменным, например: *āpnā* «приходить», прет. *āyā, āye*; *rāpnā* «получать», прет. *rāyā*, сослаг. накл. *rāyē/rāye/rāve* и т. п.

Корни на *-e, -o*, как правило, не принимают участия в чередовании (в количественном чередовании они и не могли бы участвовать, поскольку в литературном хинди нет соответствующих кратких гласных), например: *khenā* «грести» — *kheyā, kheyē* и т. д.; *ronā* «плакать» — *royā, roye* и т. д. (по этому же типу *ṭenā* «точить», *khonā* «терять», *ḍhonā* «носить», *ḍonā* «сеять», *sonā* «спать» и др.).

Если в корнях данной структуры чередование и встречается, то оно выглядит как нарушение нормы (эти глаголы даются в описательных грамматиках как исключения, фактически же отражают исторически обусловленный тип чередования). В претерите происходит качественное чередование корневого гласного, а в формах сослагательного наклонения корневого гласный представлен нулем и флексия присоединяется непосредственно к согласному. Вот эти глаголы: *denā* «давать» — прет. м. р. *diyā*, *diye*, ж. р. *dī*, *dī*, сослаг. накл. *dā*, *de*, *dē*, *do*; *lenā* «брать» — прет. м. р. *liyā*, *liye*, ж. р. *lī*, *lī*, сослаг. накл. *lū*, *le*, *lē*, *lo*; *honā* «быть» — прет. м. р. *hiyā*, *hie*, ж. р. *hī*, *hī*, сослаг. накл. *ho*, *hō*.

Здесь обращает на себя внимание та особенность, что во всяком случае в формах претерита муж. рода историческое качественное чередование ритмически приравнивается к современному количественному (в формах жен. рода это нарушается из-за возникновения долгого гласного в результате контракции, хотя возможны и нестяженные формы типа *diyī*).

### III. Словообразование глагола

Область, о которой далее пойдет речь, а именно образование некоторых типов каузативных глаголов, находится, строго говоря, на границе словообразования и формообразования глагола. В хинди существуют четыре способа формального противопоставления каузативных основ некаузативным<sup>5</sup>, из них один — самый продуктивный, являющийся нормой — осуществляется посредством суффиксации и лишен чередования гласных (если не считать трехсложных основ с беглым гласным), а три других — с помощью чередования, сопровождаемого или не сопровождаемого суффиксацией.

Далее будет кратко рассмотрено соотношение корневых гласных в оппозициях глагольных основ по каузативности, базирующихся на чередовании. Поскольку эти оппозиции отождествляются с помощью нескольких параметров, одним из которых является структура корневого слога, необходимо предварительно в самых общих чертах остановиться на структуре слога в хинди.

Слог в хинди может насчитывать одну, две или три моры. Количество слога исчисляется, начиная со слогаобразующего элемента — гласного и учитывая следующий за ним согласный (в заимствованных словах возможны и два согласных). Таким образом, если есть один или два согласных, предшествующих гласному, они не принимаются во внимание. Слоги могут быть легкими (= краткими) или тяжелыми (= долгими). Легкий слог оканчивается на краткий гласный. Слоги иной структуры являются тяжелыми. Таким образом, тяжелый слог может быть представлен долгим гласным, кратким гласным + согласный (иногда два согласных) или долгий гласный + согласный<sup>6</sup>. При этом существенной представляется та особенность, что просодически приравниваются долгий гласный и последовательность: краткий гласный + согласный<sup>7</sup>. Легкий слог равен одной море, тяжелый двум, если структура его  $\bar{V}$  или  $\check{V}C$

<sup>5</sup> Речь здесь идет только о формальной оппозиции, а ее семантическая интерпретация остается в стороне — см. [10, 11].

<sup>6</sup> Такова трактовка этого вопроса в нормативной грамматике хинди [9, с. 13].

<sup>7</sup> Интересно, что в самом древнем фонетическом описании древнеиндийского языка, Рикпратипахье, имеет место иное просодическое приравнивание слогов. Легким слогом является  $\check{V}$  и  $\check{V}C$ , все остальные структуры дают тяжелый слог [12, I.15].

(где V — гласный, а C — согласный) или трем морам, если структура его  $\bar{V}C$  или  $\check{V}CC$ .

Некоторые авторы считают целесообразным различие трех количественных градаций слога: легкий слог  $\check{V}$ , средний слог  $\bar{V}$  или  $\check{V}C$  и тяжелый слог  $\bar{V}C$  или  $\check{V}CC$  [7, с. 26]. Для целей данного описания такая детализация себя оправдывает.

Разбиение слогов на классы на основании их количественной характеристики является кардинальным. Более частное разбиение производится на основании конечного элемента слога. Слог считается открытым, если оканчивается на гласный, и закрытым, если оканчивается на согласный.

В отношении слогораздела в хинди следует заметить, что в середине слова интервокальный согласный принадлежит последующему гласному, а в группе согласных первый принадлежит предшествующему гласному, остальные — последующему. Далее необходимо еще заметить, что некоторым словообразовательным типам в хинди, как и классам грамматических форм, свойственна определенная ритмическая структура, создаваемая заданной в определенных пределах последовательностью слогов.

Возвращаясь к проблеме чередования гласных в каузативных глаголах, надо рассмотреть в общих чертах те три способа формального противопоставления основ по каузативности, в которых используется чередование корневого гласного.

Нормальные цепочки противопоставления по каузативности состоят из трех членов: исходный глагол — каузатив I — каузатив II.

Тип. 1. Корень — закрытый слог (или копчается на закрытый слог) с гласным в слабой звуковой ступени (большая часть кратким). Чередование: слабая ступень — *guṇa*/удлинение исходного краткого гласного — слабая ступень/краткий гласный. Каузатив II имеет суф. *-vā*. Лишь небольшая часть корней данной структуры образует каузативы с помощью чередования.

#### а') Качественное чередование

	<i>phirṇā</i>	«вертеться»	—	<i>phernā</i>	—	<i>phirvānā</i>	
↳	<i>dikhṇā</i>	«казаться»	—	<i>dekṇā</i>	—	<i>dikhvānā</i>	и др.
↳	<i>khulṇā</i>	«открываться»	—	<i>kholṇā</i>	—	<i>khulvānā</i>	
↳	<i>tiṇṇā</i>	«сгибаться»	—	<i>toṇṇā</i>	—	<i>tiṇvānā</i>	и др.

Иногда чередование корневого гласного сопровождается чередованием конечного согласного: обычно *ṭ* — *ṭ'* (в единичных случаях — другие), например:

	<i>juṭṇā</i>	«соединяться»	—	<i>joṭṇā</i>	—	<i>juṭvānā</i>
	<i>chūṭṇā</i>	«освободиться»	—	<i>choṭṇā</i>	—	<i>chūṭvānā</i>
	<i>tūṭṇā</i>	«ломаться»	—	<i>toṭṇā</i>	—	<i>tūṭvānā</i>
	<i>phūṭṇā</i>	«разбиваться»	—	<i>phoṭṇā</i>	—	<i>phūṭvānā</i>
	<i>bikṇā</i>	«продаваться»	—	<i>becṇā</i>	—	<i>bikvānā</i> .

#### б') Количественное чередование в односложном корне

↳	<i>kaṭṇā</i>	«быть отрезанным»	—	<i>kātṇā</i>	—	<i>kaṭvānā</i>
↳	<i>bādhṇā</i>	«быть связанным»	—	<i>bādhṇā</i>	—	<i>bādhvānā</i>
↳	<i>piṭṇā</i>	«быть избиваемым»	—	<i>piṭṇā</i>	—	<i>piṭvānā</i>
↳	<i>khīcṇā</i>	«тянуть»	—	<i>khīcṇā</i>	—	<i>khīcvānā</i>
↳	<i>luṭṇā</i>	«быть ограбленным»	—	<i>lūtṇā</i>	—	<i>luṭvānā</i> и др.

#### б") Количественное чередование (a — ā) в двусложном корне

↳	<i>ukḥaṭṇā</i>	«быть выкорчеванным»	—	<i>ukhāṭṇā</i>	—	<i>ukḥavānā</i>
↳	<i>nikalṇā</i>	«появляться»	—	<i>nikālṇā</i>	—	<i>nikalvānā</i>
↳	<i>bigaṭṇā</i>	«портиться»	—	<i>bigārṇā</i>	—	<i>bigavānā</i>
↳	<i>samḥalṇā</i>	«держаться»	—	<i>samhālṇā</i>	—	<i>samḥavānā</i> .

Выбор ступени гласного в третьей форме диктуется ритмической закономерностью. В четырехсложной основе перед ударным слогом *-vā-* третий от конца слог (а именно конец слова является точкой отсчета) не должен превышать его по количеству мор.

В целом же в синхронном плане в типе 1 наблюдается некоторое противоречие. Долгота корневого гласного, всегда характеризующая 2-й член оппозиции, как правило, противопоставляется краткости гласного 1-го члена, но в отдельных случаях — исключениях (*chūṭnā, tūṭnā, phūṭnā*) — исходному долговому гласному слабой ступени. Так в синхронной плоскости отражаются две разные исторические модели: новоиндийская норма, в которой количественное чередование приравнивается к качественному<sup>8</sup>, и древнеиндийская система качественного чередования гласных, когда слабая ступень может быть представлена гласными разного количества.

В связи с двусложными корнями данного типа нужно отметить, что ритмическая структура 3-го члена сохраняется также в соответствующем члене у двусложных корней, образующих 2-й член по правилу с помощью суф. *-ā*, например: *samkñā* «сверкать» — *samkāna* — *samakvānā*, где во 2-м члене происходит редукция *-ā-* перед последующим ударным слогом с долгим гласным. Эти основы с беглым гласным характеризуются своей ритмической моделью в цепочке противопоставлений по каузативности.

Тип 2. Корень — открытый слог на долгий гласный. Чередование: долгий гласный — краткий гласный — краткий гласный. Каузатив I имеет суф. *-lā*, каузатив II — суф. *-lvā*.

Почти все корни данной структуры — а их сравнительно немного, — образующие каузативы, подвержены чередованию.

а) Количественное чередование, сопровождаемое качественным

<i>denā</i>	«давать»	—	<i>dilāna</i>	—	<i>dilvānā</i>
<i>dhonā</i>	«чыться»	—	<i>dhulānā</i>	—	<i>dhulvānā</i>
<i>ronā</i>	«плакать»	—	<i>ruḷānā</i>	—	<i>ruḷvāna</i>
<i>sonā</i>	«спать»	—	<i>sulāna</i>	—	<i>subvānā</i>
<i>khānā</i>	«есть»	—	<i>khilānā</i>	—	<i>khilvānā</i> .

Корневой гласный исходного глагола представлен ступенью *gūpa* у корней на *-e, -o*; в каузативах I и II у этих корней соответственно имеют место *-i, -u*. От корней на *-ā* возможны два ряда чередований: *ā — i* и *ā — a*.

Эта модель чередования совсем непродуктивна и изобилует исключениями. Так, ряд глаголов данной структуры имеет каузатив II, но не имеет каузатива I:

<i>gānā</i>	«петь»	—	<i>gavāna</i>	
<i>khēnā</i>	«грести»	—	<i>khivanā</i>	
<i>lenā</i>	«брат»	—	<i>lvānā</i>	
<i>khonā</i>	«терять»	—	<i>khōāna</i>	
<i>bonā</i>	«сеять»	—	<i>boāna</i>	(последние две формы без чередования).

Отсутствие каузатива I у этих глаголов не случайно, его объяснение следует искать в особенностях всей системы глагола в современном хинди. Качественное чередование корневого гласного является архаизмом в этой системе, его различительная сила невелика, и оно может прийти в противоречие с тем, что является нормой. Каузатив I от *gīnā* мог бы звучать \**gilānā*, но это совпало бы с каузативом от *gilnā* «проглатывать» (ср. неясность формы *khilānā* — 1) caus. от *khānā* «есть», 2) caus. от *khilnā* «радо-

<sup>8</sup> Тенденция к преобладанию количественного чередования в каузативах была отмечена еще Ж. Блоком [13, с. 242].

ваться»). Он мог бы звучать также \*galānā, но в этом случае совпал бы с регулярным каузативом от galnā «таять». Каузатив I от khenā \*khlānā совпал бы с каузативами от khānā и khlānā; каузатив I от khonā \*khu-lānā совпал бы с образованным в соответствии с нормой каузативом от khlunā «открываться», существующим наряду с каузативом I по непродуктивной модели kholna; а каузатив I от bonā bulānā совпал бы с широко употребительным каузативом от bolnā «говорить».

Если предположить на основании засвидетельствованных у этих глаголов форм каузатива II, что формы каузатива I должны были бы тоже не иметь начального -l- в суффиксе, то формы каузатива I должны были бы иметь на морфемном шве последовательность \*-i(y)ā-, \*-u(v)ā. По такой последовательности явно не характерна для каузативов (отсюда морфологически неясные формы без чередования: khoānā, boānā<sup>9</sup>). скорее она встречается у отыменных глаголов типа bhangiyānā «быть одурманенным, одурманивать» от bhang «бханг» или bhakiyānā «глупеть, одурачивать» от bhakiā «глупый, дурак» и т. п.

Похоже на то, что ряд очень употребительных в хинди глаголов с основой на -ā не знает противопоставления основ по каузативности прежде всего по чисто формальным причинам: из-за морфологической неясности рядов чередования -ā в хинди и их потенциального противоречия фонетической структуре формы, характерной для каузативного глагола.

б) Количественное чередование, не сопровождаемое качественным

	ṛinā	«лечь»	—	ṛlānā	—	ṛlvānā	
и	ṛinā	«пить»	—	ṛilānā	—	ṛilvānā	
и	ṣinā	«шить»	—	ṣilānā	—	ṣilvānā	
и	cāna	«просачиваться»	—	culānā	—	culvānā	
и	chūnā	«касаться»	—	chulānā	—	chulvānā.	

Корней — открытых слогов, которые бы оканчивались на дифтонги -ai, -au, в хинди нет.

Тип 3. Корень — закрытый слог с долгим гласным. Чередование: долгий гласный / гуа — краткий гласный / слабая ступень — краткий гласный / слабая ступень. Каузатив I имеет суф. -ā (редко -lā), каузатив II — суф. -vā (редко -lvā).

По характеру чередования этот тип близок к предыдущему.

а) Количественное чередование, сопровождаемое качественным

и	letnā	«лежать»	—	litānā	—	litvānā	
и	dekhnā	«видеть»	—	dikhānā	—	dikhvānā	
и	oḥnā	«покрывать»	—	dikhlānā	—	dikhlvānā	
и	bolnā	«говорить»	—	urhānā	—	urhvānā	
			—	bulānā	—	bulvānā	и др.

б) Количественное чередование, не сопровождаемое качественным

и	jāgnā	«пробуждаться»	—	jaḡānā	—	jaḡvānā	
и	māgnā	«просить»	—	māḡānā	—	māḡvānā	
и	ṛinā	«побеждать»	—	ṛitānā	—	ṛitvānā	
и	sikhnā	«учить»	—	sikhānā	—	sikhvānā,	
			—	sikhlānā	—	sikhlvānā,	
и	ḡhūlnā	«качаться»	—	ḡhulānā	—	ḡhulvānā	
и	ḡhūḡhnā	«искать»	—	ḡhūḡhānā	—	ḡhūḡhvānā	и др.

Значительная часть корней данной структуры образует каузативы с помощью чередования. Чередования не знают, как правило, корни

<sup>9</sup> Именно эти формы дает в своей грамматике Камтапрасад Гуру [14, ч. I, с. 168], в нормативной же грамматике форма boānā названа неправильной, а правильными считаются формы, трактуемые там же как исключения: buānā или buvānā [9, с. 84].

с дифтонгом *-ai-* или *-au-*. Исключение представляет собой один глагол:

*baṭhṅā* «сидеть» — *biṭhānā* — *biṭhvānā*,  
*biṭhlānā* — *biṭhalvānā*  
 (наряду с *baṭhānā* — *baṭhvānā*).

Все остальные корни — закрытые слоги с дифтонгом образуют **каузативы без чередования**:

*tairna* «плыть» — *tairānā* — *tairvānā*  
*cauknā* «вздрыгнуть» — *caukānā* — *caukvānā*  
*taulnā* «взвешивать» — *taulānā* — *taulvānā* и др.

Видимо, в современном хинди дифтонги не входят в соответствующие ряды чередования гласных по качеству. По количеству же они не могут чередоваться, так как в литературном хинди не существует кратких дифтонгов.

#### IV. Словообразование имени

В словообразовании имени хинди чередование гласного в основе при соединении ее с определенным суффиксом представляет собой в отличие от формообразования имени не универсальное правило, а лишь более или менее отчетливо выраженную тенденцию. Суффиксы, вызывающие чередование, обладают определенной ритмической структурой. Они большей частью бывают двусложными, причем последний слог всегда средний по количеству (чаще это открытый слог на долгий гласный, иногда просодически приравняемый к нему слог на краткий гласный + один согласный), а первый слог может быть или равным ему по количеству, или кратким. Реже встречаются односложные суффиксы, вызывающие чередование, причем они всегда представлены долгим или средним слогом. Чередование происходит в гласном первого слога исходной основы.

Чередования, вызываемые словообразовательными суффиксами, сводятся к тому, что первый слог исходной основы становится кратким. Это достигается или с помощью количественного чередования — сокращения исходного долгого гласного, или сопровождается также качественным чередованием: исходный гласный в ступени *gūra* (т. е. долгие *e*, *o*) переходит в соответствующий гласный слабой ступени (т. е. в краткие, *i*, *u*).

Суф. *-iyā* довольно часто вызывает чередование гласного первого слога. Этот суффикс в хинди имеет несколько функций, и способность вызывать чередование, как показывает материал, зависит в значительной степени от его словообразовательной функции.

Суф. *-iyā* образует относительные прилагательные от группы имен родства. В этой функции он регулярно вызывает сокращение первого гласного:

<i>dādā</i>	«дед (по отцу)»	— <i>dadyī</i>	«имеющий родство со стороны деда или бабушки (по отцу)»
<i>dādī</i>	«бабушка (по отцу)»		
<i>nānā</i>	«дед (по матери)»	— <i>nanyī</i>	«имеющий родство со стороны деда или бабушки (по матери)»
<i>nānī</i>	«бабушка (по матери)»		
<i>tātā</i>	«дядя (по матери)»	— <i>tatyā</i>	«имеющий родство со стороны дяди по матери или его жены»
<i>tātī</i>	«тетка (жена брата матери)»		
<i>phūphū</i>	«дядя (муж сестры отца)»	— <i>phuyū</i>	«имеющий родство со стороны тетки по отцу или ее мужа»
<i>phūphī</i>	«тетка (сестра отца)»		
<i>cāca/cacī</i>	«дядя (по отцу)»	— <i>cacyī</i>	«имеющий родство со стороны дяди по отцу или его жены».
<i>cāci/caci</i>	«тетя (жена брата отца)»		

Если корневым гласным является дифтонг, то чередования не происходит, так как в хинди дифтонги не входят в ряды морфологических

чередований и не имеют кратких соответствий, например:

<i>mausa</i>	«дедя (муж сестры матери)»	—	<i>mausiyā</i>	«имеющий родство со стороны
<i>mausi</i>	«тетка (сестра матери)»	—		тетки по матери или ее мужа».

Эти прилагательные морфологически являются неизменяемыми, например: *casiyā bhāi* «кузен по отцу», *casiyā bahin* «кузина по отцу» [15].

Суффикс *-iyā* образует существительные жен. рода с уменьшительно-ласкательным значением. С этой функцией тесно связана другая — образование имен, обозначающих существа женского пола, от имен, обозначающих существа мужского пола. Употребляясь с этим кругом значений, суф. *-iyā* довольно часто вызывает чередование гласного первого слога.

Таковы, например, уменьшительно-ласкательные формы с чередованием гласного первого слога от ряда терминов родства:

<i>jīī</i>	«старшая сестра»	—	<i>jīiyā</i>	«старшая сестричка»
<i>dīdī</i>	«сестра!» (обращение к старшей сестре)	—	<i>dīdiyā</i>	«сестрица!»
<i>bhāi</i>	«брат»	—	<i>bhāiyā</i>	«братишка»
<i>betī</i>	«дочь»	—	<i>betiyā</i>	«доченька» (с качественным чередованием).

Той же словообразовательной модели следуют многие производные основы жен. рода на *-iyā* с уменьшительно-ласкательным значением от весьма широкого круга лексики.

С количественным чередованием:

<i>ghorī</i>	«кобыла»	—	<i>ghuriyā</i>	«кобылка»
<i>cotī</i>	«жепская коса»	—	<i>cutiyā</i>	«чуб»
<i>loṭā</i>	«круглый металлический горшок»	—	<i>luṭiyā</i>	«котелок»
<i>belā</i>	«чаша»	—	<i>biluyā</i>	«чашка» и др.

С количественным чередованием:

<i>ām</i>	«манго»	—	<i>amiyā</i>	«маленький плод манго»
<i>bāt</i>	«каменная гиря»	—	<i>batiyā</i>	«каменная гирька»
<i>cāhā</i>	«крыса, мышь»	—	<i>cahiyā</i>	«мышь, мышенок» и др.

Однако строго обязательным чередование здесь не является, и можно привести немалое число примеров, в которых его нет:

<i>beṭī</i>	«коковы, кандалы»	—	<i>betiyā</i>	«кольцо на ноге»
<i>borā</i>	«мешок»	—	<i>boriyā</i>	«мешочек» и др.

Следует обратить внимание на ту особенность, что если в исходной основе имеет место интервокальная группа согласных, то в производной основе с суф. *-iyā* эта группа упрощается, и в результате первый слог становится легким:

<i>kuttā</i>	«кобель»	—	<i>kutiyā</i>	«сука»
<i>ḍibbā</i>	«коробка»	—	<i>ḍibiyā</i>	«коробочка»
<i>paṭṭhā</i>	«юнопа»	—	<i>paṭhiyā</i>	«молодая женщина»
<i>buḍḍhā</i>	«старик»	—	<i>buḍhiyā</i>	«старуха» и др.

Наконец, суф. *-iyā* употребляется в хинди для образования прилагательных и существительных — *nomina agentis* от исходных существительных. В этой функции суф. *-iyā* чаще не вызывает чередования, хотя возможно сосуществование двух вариантов производного слова, например:

<i>ḍāk</i>	«почта»	— <i>ḍākuyā</i>	«почтальон»
<i>jhāsā</i>	«обман»	— <i>jhāsīyā</i>	«обманщик»
<i>bhed</i>	«тайна»	— <i>bhedīyā</i>	«шпион»
<i>retī</i>	«напильник»	— <i>retīyā</i>	«шлифовальщик»
<i>moṭ</i>	«кожаное ведро для орошения»	— <i>moṭiyā</i> <i>moṭīyā</i>	«носильщик, рабочий» и др.

Было отмечено, что существительные муж. рода на *-iyā*, обозначающие лица, не всегда принадлежат к морфологически изменяемому типу [16, с. 71]. Таким образом, следы переходного характера проявляются и на морфонологическом, и на морфологическом уровне.

Суф. *-āin*, с помощью которого образуются существительные жен. рода от существительных муж. рода со значением жены того, кто обозначен основой муж. рода, присоединяясь к исходной основе, обычно требует легкого первого (в отдельных случаях и второго) слога. В результате гласный первого слога сокращается, если он долгий (в большинстве случаев речь идет об *ā*), и происходит количественное чередование:

<i>thākur</i>	«господин»	— <i>thākurāin</i>	«госпожа»
<i>pāthak</i>	«читатель»	— <i>pathakāin</i>	«читательница»
<i>bābū</i>	«господин»	— <i>babūain</i>	«госпожа»
<i>dūbe</i>	«дубэ» (титул брахмана — знатока вед)	— <i>dubāin</i>	«жена дубэ» п т.п. [14, ч II, с. 23],

но *caube* «чаубэ» (брахманская каста) — *caubāin* «женщина из касты чаубэ», поскольку дифтонги в хинди не принимают участия в чередовании.

До сих пор рассматривались вторичные именные суффиксы, образующие имена от имен. То же требование краткого первого слога исходной основы действительно в хинди и при образовании имен от основ глагола. Ситуация здесь сложнее в том отношении, что ряд глаголов представлен двумя ступенями чередования основы: простой и каузативом I. Для именного отглагольного словообразования обычно выбирается простая основа с кратким корневым гласным, что одновременно равно слабой ступени (иногда встречаются два варианта именной основы).

По такой модели образуются абстрактные имена с продуктивными суффиксами *-āī* и *-āo* от глагольных основ, например:

<i>ghirāī, ghirāo</i>	«окружение»	— <i>ghirnā</i> <i>ghernā</i>	«быть окруженным», «окружать»
<i>dkhāī</i>	«рассматривание, вид»	— <i>dkhñā</i> <i>dekhñā</i>	«казаться», «видеть»
<i>sīcāī</i>	«орошение»	— <i>sīcnā</i> <i>sīcānā</i>	«поливать» «заставлять поливать»
<i>silāī</i>	«шитье»	— <i>silnā</i> <i>silānā</i>	«шить», «отдавать шить»
<i>kudāī</i>	«прыганье»	— <i>kūdñā</i> <i>kudāñā</i>	«прыгать», «заставлять прыгать»
<i>khīcao</i>	«натянутость»	— <i>khīcnā</i> <i>khīcnā</i>	«быть натянутым», «тащить», «тянуть»
<i>ghumāo</i>	«вращение»	— <i>ghūmnā</i> <i>ghumānā</i>	«вращаться», «вращать»
<i>phulāo</i>	«набуханье»	— <i>phūlnā</i> <i>phulānā</i>	«набухать», «раздувать» и др.

Могут быть представлены и два варианта именной основы, например:

<i>juṛāī/joṛāī</i>	«соединение»	— <i>juṛnā/juṛnā</i>	«соединяться», «соединять»
<i>juṛāī/jotaī</i>	«пахота»	— <i>juṛnā</i> <i>jotnā</i>	«быть вспаханным», «пахать».

Регулярно происходит сокращение долгого корневого гласного в исходной глагольной основе при присоединении суффикса *nomina agentis*, прилагательных и существительных, *-akkar*, например:

<i>piyakkar</i>	«пьющий, пьяница»	— <i>pinā</i>	«пить»
<i>bhulakka</i>	«забывчивый»	— <i>bhūlnā</i>	«забывать» и др.

Гораздо менее регулярно встречается сокращение корневого гласного исходной именной или глагольной основы в сочетании с рядом других суффиксов, двусложных или односложных. Вот некоторые примеры:

<i>nīdasā</i>	«сонливый»	— <i>nīd</i>	«сон» (суф. <i>-āsā</i> )
<i>nakel</i>	«недоуздок»	— <i>nāk</i>	«нос» (суф. <i>-el</i> )
<i>hatheli</i>	«ладонь»	— <i>hāth</i>	«рука» (суф. <i>-eli</i> )
<i>lathait</i>	«слуга с дубинкой»	— <i>lāth</i>	«дубинка» (суф. <i>-ait</i> )
<i>chut pan</i>	«детство»	— <i>chotā</i>	«маленький» (суф. <i>-pan</i> ) и др.

Это периферия чередования гласных в именном словообразовании хинди.

К периферийным явлениям, отражающим в синхронной плоскости некоторые диахронические тенденции, относится наличие в хинди у ряда слов фонетических вариантов с долгим и кратким корневым гласным, причем различие в количестве гласного влечет за собой различие в количестве последующего согласного. Эти примеры можно, видимо, трактовать как некую трансформацию среднеиндийского закона двух мор, составлявших предельную меру слога. Первый слог в этих вариантах одного слова имеет долгий гласный, если за ним следует один согласный, и краткий гласный, если согласных два. Нередко согласный бывает перебральным, но это отнюдь не обязательно. Вот некоторые примеры:

<i>hāt/hattā</i>	«базар, лавка»
<i>hār</i> (диалектн.)	<i>haddi</i> «кость»
<i>pīthu/pitthi</i>	«начинка из вымоченных молотых бобов»
<i>pūthā</i> (диалектн.)	<i>putthā</i> «круп лошади»
<i>gīdh/giddh(a)</i>	«ястреб, коршун»
<i>bichū/bicchū</i>	«скорпион» и др.

## V. Словосложение

Существует тенденция к чередованию гласных и в словосложении хинди. Она реализуется весьма избирательно и только в тех типах сложных слов, компоненты которых подчинены одной ритмической структуре слова и не имеют самостоятельного ударения (так, в словах *dvandva* и в ритмических повторах чередования не встречаются).

В односложном первом компоненте первого слога (а основообразующий элемент обычно утрачивается при вложении в состав сложного слова) исконный долгий гласный может сокращаться, а гласный ступени *gūpa* давать краткий гласный в слабой звуковой ступени. Чаще всего в сложных словах-существительных происходит сокращение *-ā-* в первом компоненте. Качественное чередование встречается редко. Вот некоторые примеры:

<i>kāth</i>	«древесина»	— <i>kathputli</i>	«марionетка» (букв.
<i>kāthā</i>	«деревянный»	— <i>kāthputli</i>	«деревянная кукла»)
<i>pan</i>	«бетель»	— <i>panbattā</i>	«ящичек для бетеля»
<i>pāni</i>	«вода»	— <i>panghat</i>	«колодець»
<i>hāth</i>	«рука»	— <i>hathkarī</i>	«ручные кандалы»
<i>ghorā</i>	«конь»	— <i>ghuravār</i>	«всадник» (букв. «едущий на коне») и др.

Тот же тип чередования встречается в первом компоненте — числительном в составе сложных слов. Выступая в качестве первых компонентов сложных слов в современном хинди, ряд простых числительных с долгим гласным или гласным в ступени *gūḍa* представлен вариантом с соответствующим кратким гласным или кратким гласным в слабой ступени, а именно: *ek* «1» — *ik̄o*, *do* «2» — *duo*, *tīn* «3» — *tīo*, *pāc* «5» — *pac̄o*, *sāt* «7» — *sat̄o*, *āṭh* «8» — *aṭh̄o*. Вот некоторые примеры: *ikbārā* «единичный», *duhājū* «женившийся вторично, вышедшая замуж вторично», *tikonā* «треугольник», *paclarī* «ожерелье из пяти нитей», *satmanzilū* «семиэтажный», *aṭhgunā* «восьмикратный» и др.

Анализ приведенного материала показывает, что морфонологические чередования гласных в современном хинди достаточно широко представлены в разных классах слов (имя существительное, прилагательное, числительное, глагол) на разных уровнях описания (формообразование, словообразование, словосложение).

Чередование является количественным по преимуществу, и к нему просодически приравнивается качественное чередование.

Качественное чередование ограничено и парадигматически, потому что в нем не принимают участия имеющиеся в языке дифтонги. Ряды качественных чередований двучленны: *e* — *i*, *o* — *u*, как и количественных: долгий гласный — краткий гласный.

Чередование гласных в хинди в значительной степени подчинено ритмической структуре слова, заданной для каждого класса форм.

Ритмическая структура слова определяется последовательностью слогов с установленной количественной характеристикой, а это может обуславливать чередование не только гласных, но в отдельных случаях также и согласных (простой согласный — геминированный).

Морфонологическое чередование гласных в хинди имеет принципиально иной характер, чем в древнеиндийском языке, где оно было, во-первых, качественным по преимуществу, во-вторых, строго обязательным для определенных классов форм (иными словами, морфонология лежала в основе грамматики). В хинди же морфонологические чередования, будучи количественными по преимуществу, к тому же в целом представляют собой скорее тенденцию, а не закон, обязательный для всех членов того или иного класса форм.

В ряде отношений хинди продолжает в области морфонологии особенности, характерные для среднеиндийского этапа в развитии индоарийских языков. Высший ранг имеет ритмическая структура слова, данная в схеме последовательности долгих и кратких слогов, и этой схеме подчинено чередование гласных.

К этому следует еще добавить, что морфонологическое чередование гласных свойственно литературному хинди в меньшей степени, чем разговорному языку или диалектам.

Есть, наконец, еще одно соображение в пользу целесообразности предложенной трактовки. Согласно последним экспериментально-фонетическим исследованиям хинди, в этом языке конститутивным просодическим признаком слова является не ударение, а ритмическая его организация, т. е. последовательность слогов определенной количественной характеристики [17]. В рамках допустимых для хинди ритмических моделей и осуществляются чередования, используемые в разных классах форм.

Морфонологический критерий должен стать важным параметром для типологической характеристики н.и.-ар. языков. Об этом свидетельствует,

например, дискуссия о беглом гласном в гуджарати [18] и в хинди [19], которая велась в фонетических и фонологических терминах, притом что описание невозможно было провести, не прибегая к морфологии (речь шла о формообразовательных и деривационных морфемах). От этих практических исследований осталось сделать только один шаг к теоретическому обобщению — выделению морфонологии как особого уровня, необходимого для описания н.и.-ар. языков в разных планах.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Elizavetkova T. Y.* Morphology and its role in the history of development of the Indo-Aryan languages // Abstracts of papers Presented to the Third International Conference on South Asian languages and linguistics (January 13—16, 1982). Mysore, 1982. P. 107—108.
2. *Dressler W. U.* Grundfragen der Morphologie. Wein, 1977.
3. Славянское и балканское языковедение. Проблемы морфонологии. М., 1981. С. 3—4.
4. *Kurylowicz J.* Phonologie und Morphologie // Phonologie der Gegenwart. Wien, 1967. S. 169.
5. *Реформатский А. А.* Фонологические этюды. М., 1975. С. 98—118.
6. *Зограф Г. А.* Морфологический строй новых индоарийских языков (Опыт структурно-типологического анализа). М., 1976.
7. *Kelkar, Ashok.* Studies in Hindi-Urdu I. Introduction and Word Phonology. Poona, 1968.
8. *Bhāṭiyā, Kailāś Candra.* Hindībhasāmē akṣar tathā śabd kī sīmā. Kāśī, vi-sam-2027.
9. A Basic Grammar of Modern Hindi Government of India. Ministry of Education and Scientific Research. 1958.
10. *Елизаренкова Т. Я.* Об асимметрии в системе каузативных глаголов в языке хинди // Вопросы грамматики языка хинди. М., 1962.
11. *Липеровский В. П.* Глагол в языке хинди. М., 1984. С. 30—47.
12. *Rk-pratiśākhya.*
13. *Bloch J.* L'Indo-Aryen du Veda aux temps modernes P., 1934. P. 242.
14. *Гуру, Камтапрасад.* Грамматика хинди. Ч. I, II (Русский перевод). М., 1957.
15. *Джалилова Ш. И.* Термины родства и свойства в языке хинди: Дис. ...канд. филол. наук. М., 1976.
16. *Липеровский В. П.* Именные части речи в языке хинди. М., 1978.
17. *Румянцева И. М.* Вокализм и ритмическая структура слова в хинди: Дис. ...канд. филол. наук. М., 1983.
18. *Pandit P. B.* A contribution to the Schwa-deletion debate // Indian Linguistics. 1976. V. 37. № 3.
19. *Srivastava R. N.* On capturing inaccessible mind. Further evidence for word final schwa // Rad Jugoslovenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. 336. Zagreb, 1976.

РУМЯНЦЕВ М. К.

## СИНТЕЗ КИТАЙСКИХ ТОНОВ

В китайском языке и в других языках изолирующей типологии чрезвычайно большая роль принадлежит слоговому тону. Тон — единица фонологическая: он различает слогоморфемы. Но функции тона не замыкаются только на слогоморфеме. Тоны как просодическое средство организуют всю просодическую систему языка: они создают тоноритмику китайских слов и словоподобных образований, на их основе осуществляются все интонационные дифференциации — синтаксические, коммуникативные, модальные, эмоциональные, стилевые. Все названные просодии модифицируют физическую структуру тонов. В результате тон в речи всегда оказывается единицей интегральной, несущей в себе не только признаки слогового тона как такового, но и всех других просодических наложений. Естественно, что при первичном синтезе тонов нас интересовал, прежде всего, тон слоговой — исходная его структура, дифференцирующая слогоморфемы, а не возможные его варианты с интегральными признаками. Следовательно, в программы синтеза должны быть заложены все функционально значимые (в плане различения морфем) признаки тонов — контурные, регистровые, интервальные, амплитудные, временные.

Но если в естественной речи чистый тон без интонационных накладок получить в принципе нельзя, то в синтезе получение такого (чистого) тона оказывается методически невыгодным. В естественной речи нельзя произнести просто тонированный слог вне интонации называния, поэтому даже реализация тона в слогоморфеме в качестве самоназвания включает в себя некоторые признаки назывной повествовательной интонации. А в синтезе? Кажется, можно ведь не программировать интонацию называния при искусственном создании тона? Можно, но тон без нее не воспринимается как естественный, аудиторам становится трудно оценить его по качеству и собственно тональным признакам, поэтому во многих случаях при работе как с естественной, так и с искусственной речью назывная интонация служит хорошей моделью для реализации собственно тональных признаков: она может быть модально и эмоционально нейтральной, интонационные наложения на слоговой тон можно свести к минимуму. Именно такие интонационно нейтральные искусственные реализации тонов мы и старались получить в процессе первичного синтеза китайских слогов<sup>1</sup>. Оценку качества синтезируемых слогов производили два аудитора-китайки. Слоги признавались хорошими, если они правильно и однозначно опознавались с первого предъявления и квалифи-

<sup>1</sup> Синтез осуществлялся в Лаборатории экспериментальной фонетики ИСАА при МГУ на формантном синтезаторе СПИИ-75 (см [1]). Китайские гласные и тоны в синтезе были получены также американским исследователем Дж. М. Хауи [2]. Однако в его публикации рассматривается лишь один параметр тона —  $F_0$  (в том или ином времени звучания), что, безусловно, суживает общую проблематику тона, как естественного, так и синтезированного.

цировались как нормативно китайские слоги. Естественность (человечность) звучания в нашем синтезе, как правило, не достигалась. Явно машинные реализации отсеивались. Слоги с некоторой машинной окраской в звучании (как правило, незначительной), но удовлетворявшие названным требованиям, включались в общий корпус синтезированных слов.

Первый тон — ровный по частотному контуру (безынтервальный) и высокий по регистру — в нашем синтезе являлся исходным. Все слоги были синтезированы сначала в первом тоне, который создавался, как правило, константным значением  $F_0$  на протяжении звучания всей финали слога<sup>2</sup>.

При синтезе первого тона важно было создать в высоком регистре достаточно продолжительный участок звучания, который на слух воспринимался бы как ровный — безынтервальный. Время звучания этого участка перцептивно значимо; несоблюдение его временной нормы вызывает у слушателей негативную реакцию. Если даже тон хорошо опознается, то констатируется его ущербность по времени звучания. Самым же неожиданным явилось то, что некоторые синтезированные тоны, получив аудиторскую оценку «хороший тон», были снабжены оговоркой: «но лучше бы чуть продлить его». И эта оговорка относилась к таким программам синтеза, которые предопределяли вполне достаточное время звучания тона. Например, в программе синтеза слога *tōu* было предусмотрено 415 мсек звучания финали. Это время не только достаточное, но и, казалось бы, оптимальное даже для внеконтекстной реализации слога. В естественной речи именно такое, или даже меньшее, время звучания первого тона мы и наблюдаем в оптимальных реализациях. В синтезе же оно оказалось недостаточным для безоговорочного приятия тона аудитором. Объясняется это, видимо, тем, что несмотря на большое общее время звучания финали и константное значение  $F_0$  на протяжении всего звучания (170 Гц), высокий, ровный и, главное, достаточно продолжительный участок звучания в слоге создан все же не был. В значения самой формантной структуры на соответствующих участках, видимо, не были заложены какие-то параметры, которые бы «работали» на тон и вместе с частотой  $F_0$  создавали фонологически значимый участок звучания.

В звучании финали слога первого тона могут быть участки, до некоторой степени нарушающие его общий ровный контур, образуются даже иногда нисходящие и восходящие интервалы, но эти нарушения не должны выходить за пределы допустимых; скольжение частоты  $F_0$  образующее те или иные интервалы (в конце звучания или в начале), не должно приближаться к той критической зоне, в которой начинаются другие — интервальные тоны: второй, четвертый, третий. Кроме того, эти скольжения не должны мешать образованию обязательного участка ровного контура тона.

При аудировании реализаций некоторых программ первого тона аудиторы отметили небольшой «завал» (падение) тона в конце финали. Сравнение аудиторских показаний со значением  $F_0$  в программах этих реализаций показало, что действительно во второй половине звучания финали частота  $F_0$  была несколько меньшей. В слоге *sōng*, например, этот «завал» образовывался разницей в 6 Гц, приходящейся на всю вторую половину звучания финали (166—160; 1,03)<sup>3</sup>. В слоге *zāi*, признанном

<sup>2</sup> О синтезе гласных и согласных сегментов слогов см [3, 4].

<sup>3</sup> Здесь и в дальнейшем в скобках показаны частотные значения  $F_0$  (в герцах — Гц) и величина отношения большей частоты к меньшей (интервал).

по качеству его сегментов хорошим, а инициаль даже очень хорошей — естественной, первый тон одним аудитором был забракован, а другой воспринял его не как первый, а как второй. Обращение к программе этого слога показало, что на участке звучания финали была задана частота  $F_0$  с небольшим варьированием значений: 133—130, а полузвонкая инициаль  $z$  начинается с частоты 109 и продолжается с частотой 111 Гц. Таким образом, между началом и концом звучания слога создан восходящий интервал в целую терцию, который и был одним из аудиторов ассоциирован со вторым тоном.

В связи с оценкой аудиторами данной программы синтеза первого тона необходимо поставить проблему граничной интервальной зоны первого тона: какой восходящий (нисходящий) интервал не воспринимается еще как второй (четвертый) тон? Проблема эта сложная и специальными экспериментами в нашем синтезе не решалась, хотя синтез и предоставляет исследователю здесь большие преимущества: любые частотные интервалы с любым шагом их увеличения, начиная от нулевого, можно проверить на восприятие при одном и том же времени звучания, и один и тот же интервал при разном времени звучания. И, наконец, что также очень важно, эти проверки можно осуществить при однотипном и разнотипном распределении амплитудных значений. Естественная речь таких возможностей не предоставляет. А проверки эти в эксперименте синтезом нужны, поскольку известно в настоящее время, что существует некая зависимость, значимая для восприятия, между частотным интервалом и временем, за которое этот интервал образуется.

При выяснении граничных зон интервалов существенно также учитывать амплитудные распределения: образуется ли данный интервал у первого тона при амплитудном распределении, характерном для первого тона (равномерное распределение амплитуд), или амплитуды распределены по-другому — большие амплитуды смещены, например, к концу звучания. При таком смещении меньшие частотные интервалы или даже совсем безынтервальные реализации слогов могут восприниматься как тоны восходящие, а не ровные. Так, в нашем примере синтеза первого тона в слове *zai* неудача может объясняться не только тем, что в слове от его начала к концу образовывался восходящий частотный интервал, но и тем, что в программе не был соблюден унисон признаков, характерный для первого тона: ровный частотный контур — равномерное распределение амплитуд. В программе фактически создан унисон, характерный для второго тона: восходящий интервал сопровождается усилением амплитуд от начала звучания слога к концу.

Четыре программы первого тона с финалью *uap* один из аудиторов не воспринял как таковые: тон для него остался неясным, несмотря на то, что программы этих слогов предусматривали постоянную частоту  $F_0$  во всей финали или даже во всем слове. Объясняется это, по-видимому, тем, что основная частота в этих слогах была задана довольно низкой (139 Гц), а регистр первого тона — высокий, и аудитор по реализациям отдельных слогов не смогла составить для себя общую регистровую шкалу тонов для данного «голоса».

Второй тон — по частотному контуру  $F_0$  — восходящий. Его начало на шкале регистровых уровней помечается цифрой 3, обозначающей средний регистр, а конец — цифрой 5, символизирующей высокий регистр. Следовательно, в синтезе второго тона основная задача заключалась в том, чтобы между началом его звучания и концом создать тот частотный интервал, который воспринимается в данной языковой системе

как восходящий тон. Достигалось это направленным варьированием значений  $F_0$ , такой программой повышающихся частотных значений, которая и образует заданный интервал. Интервал тона задан языковой системой и может варьировать лишь в определенных пределах.

В нашем синтезе не решается задача установления граничных зон интервалов второго тона, но мы получили, однако, такие варианты интервалов, которые весьма близки к минимальным. Так, например, в слогах *ní*, *nín*, признанных аудиторами «естественными» (неотличимыми от человеческих), второй тон создан перепадом частот  $F_0$  от начала звучания к концу всего лишь в 1 секунду (153—170; 1,14). На участке инициали (105 мсек) значение  $F_0$  в этих слогах константно (153), затем за 640 мсек частота  $F_0$  возросла до 170; в слоге *nín* это значение осталось неизменным и на всем участке конечного назального элемента (140 мсек). Второй тон с интервалом в секунду создан и в слоге *háí*. Интервал этот образован в более низком частотном диапазоне (139—155) за практически такое же время, как и в слогах *ní* и *nín* — 660 мсек.

Очень слабый второй тон одна из аудиторов услышала в слогах *láí* и *báí*, в программах которых был задан восходящий интервал  $F_0$  лишь в м.секунду (130—139; 1,06). Другой аудитор тон в слоге *báí* приняла за третий. Этому способствовало заложенное в программе начальное падение частоты  $F_0$  с таким же интервалом, как и последующее повышение: 139—130. Полный контур тона, таким образом, оказался похожим на нисходяще-восходящий контур третьего тона: 139—130—139. В действительности же данные реализации не представляют четко ни второго, ни третьего тонов, поэтому вне контекста они и могут быть восприняты как весьма слабые варианты второго либо третьего тонов. Для акустически четкого второго тона в них мал восходящий интервал, для третьего — недостаточен «нажим» в первой части его звучания.

В слоге *tán*, признанном неотличимым от естественного, за 640 мсек синтезирован интервал второго тона в ум. квинту (1,42). Судя по естественным реализациям, этот интервал и близкие к нему являются оптимальными для внеконтекстных произнесений слогов второго тона.

Восходящий интервал второго тона в естественной речи создается обычно в двух вариантах: в варианте прямого скольжения частот  $F_0$  вверх от какой-то начальной точки и в варианте циркумфлексном (с ложбинкой), когда в начале звучания тона образуется некоторый участок небольшого падения частот, после которого идет прямое скольжение вверх. В фонологическом аспекте начальный участок падения частот избыточен, но фонетически он оказывается нередко необходимым; это как бы разгон, подготовка «стартовой» точки для последующего скольжения частоты вверх. Тон при таком «старте» приобретает особую выразительность. Чаще он встречается в слогах без инициалей или с сонорной инициалью. В синтезе представлены два варианта второго тона: без «ложбинки» и с «ложбинкой». В слоге *á* начальное падение частот  $F_0$  (139—130) происходит в первые 225 мсек звучания, последующее скольжение вверх (130—166) образует восходящий интервал в б. терцию (1,27), воспринятый как «очень хороший» второй тон. В слогах *ní*, *nín*, *yí* на начальном участке тона не происходит никакого падения частот, «стартовая» площадка оказалась ровной, но это не привело к ухудшению воспринимаемых качеств тонов. Все они восприняты аудиторами как «очень хорошие»; тон слога *yí* признан выразительным, а слоги *ní* и *nín* квалифицированы даже как неотличимые от естественных.

В оптимальном своем варианте второй тон, как и другие интервальные

тоны (3-й, 4-й), создается согласованным действием частотных и амплитудных распределений: повышение значений  $F_0$  от начала звучания тона к концу сопровождается повышением амплитудных значений. Реально же, в речи, в зависимости от разных факторов, главным образом, интонационных, возникают и тоны с той или иной степенью рассогласования частотных и амплитудных характеристик. Определить, какая степень рассогласованности частотных и амплитудных характеристик допустима, а во многих случаях необходима, в данной языковой системе, — задача чрезвычайно важная и теоретически, и практически. Теоретический аспект связан здесь с выявлением сложных взаимоотношений тона и интонации (во всех ее проявлениях), а практический — с возможностью тонкого моделирования тонов и их вариантов, пригодных для использования в программном синтезе речи. Интерпретация результатов синтеза второго тона, особенно программ «неудачных», предоставляет поучительный материал. Так, в программе синтеза слога *yi* при очень хорошем сегментном качестве слога второй тон был воспринят аудитором как первый, хотя частотный интервал  $F_0$  был задан для второго тона вполне достаточный (1,2); время звучания также было для второго тона оптимальным (305 мсек). Восприятие второго тона как первого при восходящем частотном интервале, равном б.терции, объясняется амплитудно-частотной рассогласованностью данной программы: частоты  $F_0$  от начала звучания к концу повышаются (от 150 до 181 Гц), а амплитуды  $F_1$  постоянны на всем протяжении звучания слога, т. е. создают модель не второго, а первого тона. В  $F_2$  во второй (большой) половине звучания тона (200 мсек из 305) амплитуды также постоянны. Такое распределение амплитуд и гасит частотный интервал. При изолированном восприятии тона амплитудная информация оказалась для аудитора более сильной, нежели частотная. Второй тон в синтезированном слове *máo* был воспринят аудитором как первый, хотя частотный интервал был еще большим — равнялся кварте (1,35) при времени звучания 590 мсек. Причина такого восприятия та же: не характерное для второго тона распределение амплитуд. В  $F_1$  на большом протяжении звучания (415 мсек) амплитуды высокие и постоянные, действуют по модели первого тона; эта тенденция поддерживается и амплитудами  $F_2$ . При изолированном восприятии тона и здесь амплитуды гасят интервал, образованный  $F_0$ , причем интервал большой. Меньшие интервалы гасятся легче. Следовательно, когда речь идет об определении граничных частотных интервалов, надо иметь в виду не только сам интервал и время, за которое он образован, но и форму (модель) амплитудного распределения при его образовании.

При психолингвистических экспериментах на восприятие часто приходится удивляться тому, как чутко ухо, воспитанное тональной языковой системой, улавливает внутренний, нередко противоречивый механизм тональных признаков. Хорошим примером этого является программа синтеза слога *qiáng*, которая при восприятии была квалифицирована как нечто среднее между первым и вторым тоном. И действительно, на протяжении 300 мсек в конце звучания тон в этой программе безынтервален: в течение 220 мсек представлен значением 181 Гц, в предшествующие 80 мсек образуется некоторый интервал (170 и 175 Гц), но он не воспринимается как восходящий — гасится равнонаправленными амплитудами  $F_1$ ; они неизменны на всем (300 мсек) участке звучания и поддерживают безынтервальное движение  $F_0$ . Все это и воспринимается аудитором как первый тон. Но в первой части звучания (в течение 160 мсек) программа предусматривает увеличение амплитудных значений, за это время обра-

зуется и частотный интервал (1,25), который работает уже в пользу второго тона. Эту раздвоенность в просодическом звучании аудиторы улавливают, и это безусловно свидетельствует о достаточно надежной соотнесенности восприятия и физических характеристик речевого сигнала. Уместно обратить внимание на то, что раздвоенность характеристик в речевом сигнале и разного рода их несогласованности, которые мы получаем в синтезе, оказываются для лингвиста-экспериментатора чрезвычайно информативными. Способом намеренного рассогласования физических характеристик синтезируемой речевой единицы можно выявить роль каждого ее параметра, выявить возможные пределы этой рассогласованности, как в плане универсальном, так и специфичном для данной звуковой системы. Должно иметь в виду, однако, что работа с тонкой физической структурой речевого сигнала даже на уровне синтеза — дело весьма трудное. Особенно трудно выявить тонкое структурирование одного и того же признака в зависимости от разной функциональной предназначенности составляющих его микроструктур. Амплитуды, например (признак интенсивности), в каких-то своих пропорциях входят в саму структуру изначального спектра звука, образующего то или иное его качество, но это качество может быть реализовано с большей или меньшей силой; образуется, следовательно, своя, другая пропорция этого признака, обеспечивающая не качество как таковое, а реализацию этого качества по шкале громкости. В китайском слоговом тоне амплитуды также работают двунаправленно: они входят в состав спектра, создающего то или иное качество финалей (*yí, wǐ, é* и др.), и модифицируют эти финали в тоновом плане, подстраивая свои значения под значения  $F_0$ . Здесь именно и возникает проблема согласованного и несогласованного действий  $F_0$  и амплитудных характеристик формант.

Двунаправленными являются и действия  $F_0$ . Значения этого параметра как обязательные компоненты входят в изначальный спектр финали слога, определяющий ее качества, и они же (значения  $F_0$ ), структурируясь определенным образом, представляют это качество в тоновом аспекте, формируют тон как определенную регистрово-контурную единицу.

Взаимосвязь качественного и тонального аспектов в амплитудных параметрах сигнала хорошо прослеживается на примере синтеза слога *ér*, признанного аудиторам неотличимым от естественного. В этой программе за 455 мсек звучания слога образовался оптимальный частотный интервал второго тона (127—172; 1,35). Амплитуды  $F_1$  действовали в унисон с  $F_0$  в первой части звучания на протяжении 235 мсек, затем их значения резко снижались. Это снижение амплитудных значений приходится на участок эризации финали. И здесь остается неясным: работали ли амплитуды на этом участке только на эризацию или же и на тон тоже?  $F_0$  и на этом участке работала на тон. Вполне возможно, что амплитудные характеристики также в этом участвовали, хотя общее движение амплитудных значений по всему звучанию и не было однонаправленным. При качественно однородном звучании финали (без эризации) амплитуды  $F_1$  вслед за  $F_0$  образовывали нормальную для второго тона восходящую линию значений.

Финали китайских слогов в разных тонах на слух воспринимаются как несколько различающиеся по своему качеству. Различия эти в разных тонах и разных финалях проявляются в неодинаковой степени. Но в любом случае важно установить, появляются ли эти различия в качестве финалей в результате различий в их спектральной картине или же значения всех формант остаются неизменными во всех тонах, а изменя-

ются лишь значения  $F_0$ , и, как следствие этого, на разных участках звучания слога возникают разные соотношения составляющих  $F_0$  с параметрами других формант, что и приводит к некоторому общему сдвигу в спектрах финалей и, следовательно, к разным оттенкам их качества в восприятии. Вопрос этот не только академический, поскольку разные оттенки финалей разных тонов создают собственно китайскую их специфику, т. е. для китайского восприятия функциональны и, следовательно, в синтезе должны быть смоделированы<sup>4</sup>. Моделирование же призвано вскрыть самый механизм указанного различия, т. е. ответить на вопрос, нужна ли тонкая коррекция исходных формантных значений слога (полученных в первом тоне) или же эта коррекция происходит автоматически — самим изменением значений форманты  $F_0$ ?

При синтезе второго тона в слове *tán*, признанном неотличимым от естественного, никакой коррекции частотных и амплитудных формантных значений произведено не было: F-картины в первом и втором тонах оказались тождественны. В первом тоне этого слога значение  $F_0$  было константным — 170 Гц на протяжении всего времени звучания, во втором тоне скольжением частот  $F_0$  вверх образовывался интервал в ум. квинту (139—198; 1,42). При создании малого интервала второго тона в слове *hái* (139—155; 1,11) частотных и амплитудных формантных коррекций также не производилось. Можно, по-видимому, предположить, что в принципе и в естественных произнесениях слога первого и второго тонов могут создаваться при относительном тождестве их спектральных картин. Другое дело, что такая ситуация в естественной речи практически может и не реализоваться или реализоваться крайне редко. Человеческие органы речи — синтезатор несравненно лучший, чем любой из ныне существующих машинных, в человеческих произнесениях возможны такие тонкие коррекции спектров слогов, которые мы не можем еще моделировать на машинах. Примеры тонких различий в естественных спектрах финалей разных тонов мы наблюдали при спектральном анализе их произнесений тремя дикторами. В финали *í*, например, второй восходящий тон тянет первую форманту вверх по мере возрастания значений  $F_0$  от начала звучания к концу. У диктора 1 (муж.) финаль *í* во втором тоне начинается со значения  $F_1$  в 250 Гц, ко второй половине звучания значения  $F_1$  возрастают до 300 Гц, и заканчивается финаль частотой  $F_1$  в 350 Гц. У диктора 2 (жен.) повышение значений  $F_1$  от начала звучаний финали *í* к концу еще заметнее: начало — 350 Гц, затем — 400 и конец — 500.

Анализ программ синтезированных слогов с финалью *í*, признанных аудиторами натуральными, — неотличимыми от естественных, показывает, что их натуральность как раз и обусловлена тонкой коррекцией (подстройкой) частотных и амплитудных значений  $F_1$  и  $F_3$  под значения  $F_0$ , согласованным действием всех составляющих спектра. Мера и конкретные пропорции этого согласования не являются универсальными, а определяются языковой системой, и направлены они, прежде всего, на создание нормативного (приемлемого в данной системе) качества звучания. Но достижение этой цели не случайно, по-видимому, оказывается сопряженным и с получением звучания натурального или близкого к таковому.

Впечатление натуральности возникает потому, что в спектре синтезированного гласного снимается монотонность (машинность) звучания,

<sup>4</sup> Функциональная значимость указанных различий подтверждается, в частности, и тем, что некоторые авторы предлагают рассматривать китайские гласные в разных тонах как разные фонемы.

оно, как и в естественной речи, становится неоднородным по качеству на разных участках звучания, развивается от начала к середине и к концу.  $F_1$ , например, согласуемая по правилам системы с  $F_0$  и частотно, и амплитудно, оказывается представленной не одним значением на протяжении всего звучания, а целым рядом согласованных значений внутри самой форманты и межформантно. В процессе согласования значений на каждом данном участке звучания синтезируемому сигналу фактически задаются частотные и амплитудные «микровариации». Но эти вариации не универсально-человеческие, обусловленные свойствами речевых органов, а системно-языковые, присущие данной фонетической норме.

В естественной речи регистрируется, как известно, и такое микроварьирование, которое не оказывает заметного влияния на качество звуков в системно-языковом плане, но придает им человеческие свойства. В нашем синтезе такая универсально-человеческая вариативность не моделировалась. Существенно, однако, то, что звучание естественное или близкое к таковому в синтезе может быть получено только за счет вариаций характеристик, обеспечивающих портативное качество звучания.

Т р е т ь и т о н — нисходяще-восходящий по частотному контуру  $F_0$ . Его начало на шкале регистровых уровней помечается цифрой 2, а конец — цифрой 4. В контуре третьего тона фиксируются обычно три участка: начальное падение частот  $F_0$ , ровный участок и скольжение вверх. Падение частот  $F_0$  большее и более продолжительное, чем во втором тоне, когда последний реализуется в циркумфлексной форме. Возможны также варианты третьего тона без начального падения или с очень небольшим падением. В этих случаях вся первая половина или даже большая часть звучания тона реализуется в низком регистре; во второй половине звучания происходит повышение частот  $F_0$ .

В восприятии третьего тона — его первой половины, ощущается как бы нажим, который в сочетании с последующим повышением частот и создает специфическое качество третьего тона. В синтезе создание этого «нажима» достигалось значительным понижением частот  $F_0$ . В слове *yí*, например, нисходящий интервал составил терцию (149—123; 1,2) и образован он был за 540 мсек, т. е. время, составившее почти две трети всего звучания слога. Интервал образовывался медленно, с затяжкой. На участке в 315 мсек возникал практически ровный контур  $F_0$ . Третий — завершающий участок тона с восходящим интервалом в 6 секунду (123—139; 1,12) был создан за 300 мсек конечного звучания. Некоторые авторы полагают, что впечатление нажима в третьем тоне создается максимумом мускульной напряженности, приходящейся на низкую часть тона [5]. Следует при этом иметь в виду, что ощущение мускульной напряженности на этом участке третьего тона соотносится не с большими, а наоборот, с меньшими амплитудами интенсивности. Из двух программ третьего тона, тождественных друг другу по всем параметрам, кроме амплитудных, как безусловно лучшая аудиторам была признана программа, в которой на участке ровного контура были меньшие амплитуды, чем на предшествующем участке. Это четко прослеживается по амплитудным значениям и  $F_1$ , и  $F_3$ .

Перцептивно качество финалей в третьем тоне заметно отличается от такового в других тонах. Физическую основу этого отличия составляют не только иные, чем в других тонах, распределения частот  $F_0$ , но и распределение амплитуд. Так, например, если в первом, втором и четвертом тонах разные оттенки в качестве финали в синтезе были созданы только за счет различного распределения частот  $F_0$ , то в третьем тоне к этому

обязательно добавляется еще иная, чем в других тонах, раскладка амплитудных значений, т. е. происходит заметный и закономерный сдвиг в общем спектре финалей.

Аудиторское восприятие синтезированных третьих тонов выявило ряд особенностей в их физической структуре, которые оказывают решающее влияние на их идентификацию. Прежде всего, начало третьего тона и вся последующая его часть — вплоть до конечного повышения частот — должны располагаться в зоне низкого регистра пятиуровневой китайской шкалы. Смещение этих участков тона вверх приводит к тому, что весь частотный контур тона, хотя в целом и оказывается правильным, но как третий тон не опознается, квалифицируется как регистрово ущербный. С такой ситуацией мы сталкиваемся в программе синтеза слога *bǐ*. При реализации этой программы слог опознается правильно, сегменты признаются нормативными, а тон квалифицируется как плохой — высокий по регистру. Реализация программы слога *hǎi*, в которой тон также смещен по регистру вверх, признана аудитором тоном кантонским, а не пекинским. Завышение начала тона в некоторых наших программах приводило к тому, что это начало третьего тона опознавалось аудитором как четвертый тон, а за этим четвертым тоном шла восходящая часть третьего тона, тон слога раздваивался и в целом признавался плохим. Так именно была квалифицирована реализация программы слога *hǎo*, в которой в нисходящей части первого тона (345 мсек) образовался интервал несколько больший, чем кварта (1,36). Этот интервал поддержан и убывающим распределением амплитуд  $F_1$ ; такое звучание и было воспринято как четвертый тон. Образовавшийся же интервал  $F_0$  последующей части звучания слога (120 мсек), равный м. терции (1,19), производил на аудитора впечатление нормального окончания третьего тона. Все это совмещалось в звучании одного слога. Тона с такими характеристиками в пекинской системе нет, поэтому он и был признан в целом плохим.

Другая опасность синтезировать неправильный третий тон кроется в образовании ненормативного для третьего тона восходящего интервала в конце звучания слога. Так, например, третий тон в слове *nǎ* был воспринят как второй. Способствовала этому такая просодическая структура слога, в которой восходящий интервал  $F_0$  имел все признаки второго тона: он был достаточно большим (1,18), формировался за время намного большее, чем интервал нисходящий (нисходящий — за 320 мсек, восходящий — за 560), и, главное, в движении частоты  $F_0$  в первой части звучания не было предусмотрено большее понижение частоты; понижение с интервалом 1,09 (139 : 127) оказалось для третьего тона недостаточным, в начале звучания нужен больший интервал, а в конце — меньший. Строго говоря, нужен не сам интервал — не его величина важна — необходим более низкий регистр для второй части третьего тона. Выхода же в низкий регистр рассматриваемая программа не обеспечивала, создалось лишь небольшое понижение, напоминающее «ложбинку» в начале второго тона. Все это и предопределило аудиторское восприятие тона.

Восприятие третьего тона как второго свидетельствует о том, что восходящая часть третьего тона по своему качеству (сегментному и тональному) не соответствует в программе модели третьего тона. Подобно тому, как начальная нисходящая часть третьего тона по своему качеству не должна быть похожа на четвертый тон, так же и конечная, восходящая часть третьего тона не должна повторять характеристики второго тона. Начальное падение частоты  $F_0$  в третьем тоне медленное и сдвоенное (с нажимом), не такое резкое, как в четвертом тоне, а восходящая часть —

не такая свободная в своем скольжении вверх, как во втором тоне, она тоже сдавленная и как бы закручивается в конце, образуя в завершении нечто похожее на неполный glottal stop. Полная глоттальная смычка образуется иногда в конце первой (нисходящей) части третьего тона. В таких случаях восходящая часть начинается с прорыва этой смычки. Все это и составляет специфику третьего тона, которая в синтезе должна моделироваться. Если не удастся воспроизвести эту специфику, тон получается дефектный.

Третий тон реализуется, как известно, в двух вариантах: в полном (циркумфлексном) и неполном (усеченном). Неполный вариант представлен только первой — нисходящей своей частью. Этот вариант третьего тона реализуется в слогоморфемах, занимающих позицию перед любым другим тоном, кроме третьего. В синтезе рассматриваемый вариант тона получен в позиции перед четвертым тоном в слове *q'iyi*. Тоноритмика слова признана нормативной. Усеченный третий тон характеризуется здесь нисходящим интервалом в м. терцию (134 : 114), образованным за 310 мсек. Интервал этот небольшой, но он затяжной, и выводит тон в низкий регистр. Затяжка же формируется временным фактором: в течение последних 100 мсек частота  $F_0$  практически не меняется (117 и 114 Гц), возникает ровный участок тона. Все это и создает типичную модель неполного третьего тона, воспринимаемую в слове *q'iyi* на фоне сильного четвертого тона с интервалом почти в целую квинту (162 : 110 = 1,47).

В программе слога *bi* неполный третий тон был получен и вне контекстного окружения (вне слова) как самостоятельная просодическая единица. Этот тон вне контекста был и опознан аудитором как таковой — неполный. Следовательно, характеристики его имеют не только относительную, но и абсолютную языковую ценность: не всякий нисходящий интервал воспринимается в данной языковой системе как четвертый тон; важен не только сам интервал (его величина), но и частотный регистр, в котором этот интервал образуется, специфические особенности образования нисходящего интервала. Существенным является, происходит ли свободное и резкое скольжение частоты  $F_0$  вниз или это падение затяжное (замедленное) и сдавленное.

Ч е т в е р т ы й т о н — нисходящий по частотному контуру  $F_0$ . Его начало на шкале регистровых уровней помечается цифрой 5, а конец цифрой 1. Эти пометы определяют четвертый тон как акустическую структуру с большим частотным интервалом между его началом и концом. Действительно, оптимальные для внеконтекстного восприятия и подчеркнута четкие реализации четвертого тона характеризуются интервалами, близкими к квинте или даже сексте. В его синтезе основная проблема заключалась в том, чтобы создать такой интервал и задать соответствующие этому интервалу амплитудные значения. Четвертый тон по времени звучания самый короткий, и, следовательно, большие интервалы должны создаваться за меньшее, чем в других тонах, время. Так, например, интервал четвертого тона в б. сексту (168—100; 1, 68) был создан в слоге *yi* за 170 мсек, и слог этот был признан неотличимым от естественного. Хорошими признаны также слоги четвертого тона с интервалами большими, чем в кварту. Нисходящие интервалы  $F_0$  в терцию и даже секунду уже производили у аудиторов впечатление четвертого тона. Но такие интервалы, особенно секунда, являются, видимо, граничными либо близкими к таковым. Тон опознается, но всегда сопровождается оговоркой: «не дотянут по интервалу». Самый малый интервал четвертого тона создан нами в слоге *si*, в котором частота  $F_0$  от начала звучания финали к концу изменялась

лишь на 12 Гц, т. е. был образован интервал лишь несколько больший, чем м. секунда.

В синтезе четвертого тона, пожалуй, еще в большей степени, чем в других тонах, необходимо соблюдать унисон (согласованное действие) характеристик. Особо важным фактором является согласование частотных значений  $F_0$  и амплитудных характеристик. Понижение частотных значений  $F_0$  от начала звучания к концу — образование большого нисходящего интервала — должно сопровождаться значительным спадом амплитудных значений. Несоблюдение этой согласованности приводит к ущербу тона: тон начинает восприниматься как инертный, вялый, недостаточный по интервалу, хотя интервал сам по себе вполне достаточный. Так именно воспринимался четвертый тон в слогах *шй*, *би*, *ми*. Частотные интервалы тонов в этих слогах составили: м. сексту и почти квинту. Эти интервалы вполне достаточны для самых оптимальных реализаций четвертого тона, а все они квалифицированы аудитором как недостаточные — инертные. Их инертность с очень большой вероятностью может быть объяснена несогласованным действием амплитудных характеристик. В программе слога *шй* на протяжении 240 мсек звучания (во второй его половине) из 340 мсек амплитуды  $F_1$  оставались неизменными и были по значению своему минимальными. Такими же постоянными минимальными амплитудами они были и в  $F_2$  на протяжении еще большего отрезка звучания. За это время образовывался частотный интервал тона, почти равный ум. квинте (1,39), а амплитуды действовали не по модели четвертого тона, а по модели первого. Переход со средних амплитуд на минимальные после первых 100 мсек звучания слога оказался недостаточным для создания амплитудной модели четвертого тона. В двух программах слога *ли* на всем протяжении звучания слога не было предусмотрено никакого амплитудного скольжения (от больших значений к меньшим), а частотный интервал был задан больший, чем в ум. квинту. И этот интервал оказался погашенным не характерным для четвертого тона амплитудным распределением: тон был признан плохим; аудитору показался недостаточным интервал падения тона.

Инертность (вялость) китайского четвертого (нисходящего) тона объяснялась ранее мною и некоторыми другими авторами недостаточной скоростью образования нисходящего интервала [6]. Новые наши данные показывают, однако, что это объяснение весьма уязвимо. Анализ программ синтеза нормативных и вялых (инертных) тонов свидетельствует, что сам по себе параметр скорости образования частотного интервала не может быть причиной инертности тона. Четвертый тон, хотя и является самым коротким из всех, но он варьирует по времени звучания в достаточно широких пределах. В разных условиях речи он может звучать 150—200 мсек и даже меньше, но может занимать и время в 400 или даже 500 мсек. А это приводит к тому, что параметр скорости образования частотного интервала оказывается величиной, в очень большой степени зависимой от времени звучания тона. И действительно, в нашем синтезе нормативные тоны были получены при небольших скоростях образования частотных интервалов, а при большей скорости тоны создавались инертные, вялые, хотя, казалось бы, большая скорость образования интервала должна была работать против инертности тона. При одном и том же времени звучания тона и одном и том же частотном интервале, т. е. при одной и той же скорости образования интервала, были получены как плохие (инертные) тоны, так и хорошие — нормативные. Так, в программах слогов *fan* и *pan* четвертый тон реализовался за 420 мсек. За это время в том и другом слоге образовывал-

ся частотный интервал тона равный 1,37. Следовательно, за 1 мсек создавался интервал в 0,0032 (1,37 : 420). Это и есть скорость образования частотного интервала данного тона в единицу времени (1 мсек). Она одинакова и в слове *fàn*, и в слове *pàn*. Однако тон в слове *fàn* признан нормативным, а в слове *pàn* — вялым. Отсюда следует, что не скорость образования частотного интервала тона надо винить в его инертности, по крайней мере, не общую скорость, связанную с временем звучания всего слога. Возможно, какие-то аспекты скорости и могут быть значимы для восприятия тона, но нашими данными они не выявляются.

Предпринятое исследование в целом можно рассматривать как попытку создать акустический алфавит для синтеза китайских тонов, а в принципиальных своих посылах и не только китайских, привлечь внимание к общим проблемам акустического моделирования просодии слога как базисной единицы всего просодического яруса китайского языка.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Скрипкин Г. Н. Краткое описание синтезатора речи СППИ-75 и принципов программирования // Лингвистическая интерпретация результатов экспериментально-фонетических исследований речевого текста: Тез докл. Минск, 1977.
2. Howie J. M. Acoustical studies of Mandarin vowels and tones Cambridge, 1976.
3. Рудянцева М. К. Синтез китайских слогов (финали) // Проблемы восточной филологии М., 1979.
4. Рудянцева М. К. Синтез китайских слогов (инициали) // ФН. 1978. № 5.
5. Задоевко Т. П., Хуан Шуин. Учебник китайского языка М., 1973.
6. Гань Аошун. Тональные контуры в кантонском диалекте // Вестник МГУ. Востоковедение. 1972. № 1.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

УСПЕНСКИЙ Б. А.

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ГРАММАТИК РУССКОГО ЯЗЫКА

(Грамматика Жана Соёе 1724 г.)

1. Доломоновские описания русского языка крайне немногочисленны, и все они представляют исключительный интерес [1, 2]. Как правило, они написаны на иностранных языках и предназначены для иноязычного читателя, практически заинтересованного в описании живой разговорной речи, а не книжных языковых норм. Рассматриваемая грамматика, датированная 1724 годом, не является исключением к этому правилу: она написана по-французски. Рукопись этой грамматики хранится в отделе манускриптов парижской Национальной библиотеки под шифром: Slave 5; на ее титульном листе значится: «Grammaire et Methode Russes et Françoises. Composées et écrites à la main par Jean Sohier Interprete en Langues Esclavonne, Russe et Polonnoise dans la Bibliotheque du Roy. divisées en deux parties. L'année 1724». Это объемистый труд: описание русского языка занимает здесь в общей сложности около девятисот страниц! Более ста лет назад эту рукопись описал И. М. Мартынов [3]; упоминание о данной грамматике можно найти у И. Добровского [4], а также у некоторых других авторов, которым она была известна из вторичных источников (Добровский ошибочно считал эту грамматику руководством по церковнославянскому языку). Как это ни странно, данная грамматика осталась вне поля зрения исследователей.

Автором нашей грамматики является Жан Соёе или *Согиер*, как он сам себя именует (Jean Sohier или Soyer), переводчик церковнославянского, русского и польского языков в Королевской библиотеке; как явствует из титульного листа, рукопись представляет собой автограф Соёе. О личности Соёе, к сожалению, очень мало известно. Сведений о нем нет ни в биографических словарях, ни в трудах, посвященных истории Национальной (бывшей Королевской) библиотеки. А. Мазол посвятил ему несколько строк в примечании к одной из своих статей [5], и это, кажется, все, что можно найти о нем в литературе. Из посвящения аббату Биньону (Jean-Paul Bignon), помещенного в начале данной рукописи, мы узнаем, что Соёе был удостоен места переводчика церковнославянского, русского и польского языков в Королевской библиотеке за три года до написания своего труда, т. е. в 1721 г., причем, вступая в эту должность, он обязался за короткое время изучить русский язык с помощью церковнославянского; церковнославянский язык, очевидно, был ему к тому времени уже в какой-то мере известен (л. Dv—E). Здесь же говорится, что данная грамматика — она представляет собой своего рода отчет о проделанной ра-

боте — писалась в течение двух лет, т. е. в 1723—1724 гг. (л. Ev—F)<sup>1</sup>. Её написанию предшествовала предварительная работа по сбору материала, которая велась, таким образом, в 1721—1722 гг. Аббат Биньон, которому Соёе посвятил свой труд, совмещал обязанности президента парижских Академий с должностью королевского библиотекаря — Королевская библиотека находилась в его ведении с 1719 г., и именно при нем начинается служба переводчиков [6]; должность переводчика церковнославянского, русского и польского языков была учреждена при этом в 1720 г. [5]. 12 января 1725 г. Биньон передал грамматику Соёе в библиотеку (см. запись в журнале аббата Журдена [l'abbé Jourdain], секретаря библиотеки [7]), где она с тех пор и хранится. Знаменательно, что в это же время — именно в январе 1725 г. — Соёе получает повышение и занимает должность первого переводчика церковнославянского, русского и польского языков, тогда как ранее он был вторым переводчиком [5]. Это совпадение, по-видимому, не случайно: можно предположить, что грамматика сыграла роль квалификационного труда, который обусловил продвижение в должности её автора<sup>2</sup>.

2. Грамматика Соёе предваряется посвящением (на русском и французском языках) и предисловием (на французском языке), которые объединяются общей буквенной фолиацией (л. A—L). Описание языка состоит из двух частей, каждая из которых имеет особую пагинацию: первая часть, озаглавленная «Grammaire Russe et Française», занимает 453 страницы, вторая часть под названием «Methode Russe Française» — 432 страницы<sup>3</sup>. В дальнейшем при ссылках мы будем обозначать номер части римской цифрой, номер страницы — арабской; таким образом, обозначение «I, 117» относится к 117 странице I части, обозначение «II, 32» — к 32 странице II части и т. п.

В посвящении автор говорит о необходимости изучения русского языка. Соёе выражает опасение, что французы отнесутся к его труду как к бессмысленному, полагая, что русский язык совершенно бесполезен («je m'attens que les François me regarderont comme un visionnaire, d'écrire dans une langue, dont ils croient ne pouvoir tirer aucun avantage» — л. В—С). Он протестует против такого мнения, подчеркивая, что он предлагает французскому читателю изъяснение «языка нужного, которого обучением можно содержать пристойную корреспонденцию, также же вы-

<sup>1</sup> Подтверждение этой даты находим в начале грамматики, в разделе, посвященном рассмотрению азбуки. Обсуждая числовые значения кириллических букв, Соёе замечает, что «нынешний год» («l'année presente») записывается «лжт — 1723 (ч. I, с. 8).

<sup>2</sup> Как нам удалось установить, копией грамматики Соёе является анонимная грамматика XVIII в. из библиотеки Арсенала, озаглавленная «Grammaire Russienne»; рукопись этой грамматики хранится в том же отделе манускриптов Национальной библиотеки под шифром: Arsenal 8801. Сопоставление обеих рукописей обнаруживает лишь незначительные разночтения. В списке Арсенала отсутствуют посвящение и предисловие; вместе с тем, эта копия не закончена — она покрывает менее половины первой части нашей грамматики.

Нет никакого сомнения в том, что данная копия была снята непосредственно с той рукописи, которая исследуется в настоящей работе, т. е. с автографа Соёе (подписного экземпляра, предназначенного для аббата Биньона). С одной стороны, здесь, как правило, учтены те исправления, которые Соёе вносит в свой текст (будь то вставки или вычеркивания). С другой же стороны, в конце последней (99-й) страницы рукописи Арсенала в левом нижнем углу значится в скобках цифра 180; при этом данная страница соответствует именно 180 странице основного списка (автографа Соёе) — очевидно, таким образом, что переписчик, прервав свою работу и рассчитывая ее продолжить, пометил для себя, на каком месте он остановился.

<sup>3</sup> Как видим, сам Соёе именует «грамматикой» лишь первую часть своего сочинения; мы же вкладываем в этот термин более широкий смысл и, соответственно, называем «грамматикой» все сочинение Соёе.

разумѣть книги» («une langue necessaire pour la correspondance et l'intelligence des livres» — л. Fv—G). Со́е при этом отдаёт себе отчет в разнице между «языком Славенским» («la langue Esclavonne») и «Россійским диалектом» («la dialecte Russe» — л. Dv—E); свою задачу он видит в том, чтобы определить правила, позволяющие «чисто и исправно писать» («écrire correctement») по-русски (л. Bv—Cv). Итак, в посвящении речь идет о достоинстве и норме русского языка как языка литературного.

Но что понимать под русским литературным языком? каково его отношение к церковнославянскому языку и к русской живой речи? Эти вопросы специально рассматриваются в предисловии к грамматике, где содержится любопытная характеристика русской языковой ситуации начала XVIII в. Здесь сообщается, что в России диалектный язык («язык провинций») отличается как от языка, принятого при дворе <sup>4</sup>, так и от канцелярского, приказного языка: в России пишут не так, как говорят, и говорят не так, как пишут («...le langage de ces Provinces [перед этим перечислялись районы, где употребляется русский язык] est bien different de celui de la Cour, et le stile dont se servent les Russes dans leurs Chancelleries, est aussi bien different du langage de ces peuples, et de celui dont ils se servent eux-mêmes en parlant, en sorte qu'ils écrivent autrement qu'ils ne parlent, et parlent autrement qu'ils n'écrivent» — л. H—Hv).

Со́е видит свою задачу в том, чтобы описать именно этот канцелярский — или, если угодно, письменный русский (не церковнославянский!) язык, — который, по его мнению, необходим не только для того, чтобы писать и, в частности, вести корреспонденцию, но также и для того, чтобы понимать книги («C'est donc du stile de Chancellerie que j'ay entendu traiter icy, et donner des regles dans ma Grammaire et dans ma Methode, comme étant le seul le plus utile, et le plus necessaire à sçavoir pour l'écriture, la correspondance, et l'intelligence des livres» — л. Hv). Итак, речь идет о литературном языке, на котором пишутся книги и на котором в то же время ведется делопроизводство. Этот язык характеризуется как «изящный и энергичный», причем подчеркивается, что он «отнюдь не черпает своей силы в диалекте», но «заимствует всю свою красоту и энергию из церковнославянского языка» — так, что в России «невозможно писать по-русски, не зная церковнославянского языка» («Ce stile de Chancellerie est un stile elegant et energique, qui ne tire rien de sa force de la dialecte, mais qui emprunte toute sa beauté et son energie de la Langue Esclavonne; en sorte qu'on ne peut bien écrire en Russien sans le secours de la Langue Esclavonne» — л. Hv—I). По утверждению Со́е, литературный язык в России в принципе отличается от разговорного: «по-русски можно плохо говорить и в то же время хорошо писать, и напротив — хорошо говорить, но при этом плохо писать; и подобно тому, как смешно говорить по-русски так, как пишут, точно так же смешно и писать так, как говорят. Итак, есть огромная разница между тем, как говорят и как пишут по-русски: в одном случае употребляется обычная народная речь, в другом — особая речь ученых и грамотных людей; первую можно назвать собственно диалектом, вторую — языком, ввиду ее соотнесенности и сходства с церковнославянским...» («On peut mal parler, et bien écrire en Russien, comme on peut bien parler, et mal écrire en Russien: et comme il est ridicule de parler Russien comme on l'écrit, il est de même de l'écrire comme on le parle. Il y a

<sup>4</sup> Упоминание языка двора едва ли отражает языковую реальность: скорее всего, это дань французской стилистической традиции, связанной прежде всего с именем Воже́ла (C. F. de Vaugelas).

donc une grande difference entre parler Russien et l'écrire; l'un est le langage ordinaire du pais, et l'autre est le stile des Savans et des gens de lettres: le premier est ce qu'on appelle proprement dialecte, et le dernier qu'on peut appeller Langue, par rapport à sa conformité avec la Langue Esclavonne...» — л. I—IV.). В соответствии со сказанным, изучение русского литературного языка предполагает определенное знакомство с церковнославянским, без помощи которого, по мнению Соёе, невозможно хорошо писать по-русски («Il faut par consequent, avant d'apprendre la Langue Russe, avoir quelque connoissance de sa Mere Langue [имеется в виду церковнославянский], sans le secours de laquelle il n'est pas possible de venir jamais à bout de faire aucuns progrez dans la Langue Russe, et encore moins de se mettre en état d'écrire bien en stile de Chancellerie» — л. IV). Отмечая принципиальную разницу между письменным и разговорным — или, если угодно, литературным и нелитературным — русским языком, Соёе оговаривает возможность в каких-то случаях приводить в своей грамматике примеры из разговорной, диалектной речи, поскольку они могут служить для иллюстрации тех или иных грамматических правил: «Quoy-que mon dessein n'ait été en composant ma Grammaire et ma Methode. que d'écrire en stile de Chancellerie, je n'ay pas laissé de rapporter quelquefois des exemples un peu triviales, et du bas stile de la dialecte, dont on se sert en parlant, parceque les regles, que je donnais, le demandoient, et m'y conduisoient insensiblement, et qu'il n'est pas non plus hors de propos de savoir en passant un peu de la dialecte par occasion de sa Mere Langue» — л. Kv — L).

Одновременно Соёе, как мы уже знаем, вполне отдаёт себе отчет в различиях между церковнославянским и русским языком: его грамматика — это именно грамматика русского литературного языка, поскольку он противопоставляется церковнославянскому. Характерно, между прочим, что русский почерк Соёе, по его признанию, обусловлен стремлением имитировать новую, гражданскую печать («l'impression moderne des Russes» — л. Jv): гражданская азбука естественно ассоциируется вообще именно с русским, а не с церковнославянским языком.

Итак, русский литературный язык оказывается противопоставленным у Соёе как церковнославянскому, так и разговорному языку. Это язык прежде всего письменный по своей функции, на нем пишутся как документы, так и книги. Он именуется канцелярским, но, в сущности, это литературный язык, призванный конкурировать с церковнославянским (с которым он при этом генетически связан).

Характеристика русской языковой ситуации у Соёе восходит к Лудольфу (ср. характеристику русской языковой ситуации в предисловии к грамматике Лудольфа [8, л. A — A/3v]), однако здесь обнаруживается и существенное отличие. В самом деле, Лудольф не ставил перед собой задачи описания литературного языка: русский язык рассматривается им прежде всего как средство устной коммуникации, и он специально подчеркивает, что описывает разговорный язык [8, л. A/1v, A/2v]. Соёе же, как мы видели, неоднократно говорит о чистоте, правильности, изяществе русской речи, он обсуждает именно нормы русского языка как языка литературного, письменного<sup>6</sup>. Соответственно, например,

<sup>6</sup> Не случайно в посвящении Соёе выражает опасение, что русские отрицательно относятся к его труду, поскольку он, иноземец, берется описывать норму их языка: «России [sic!] меня за безумного почтутъ, въ такомъ намѣреній бутъ бы они имѣли шть меня якъ шть мастера того самого дѣла сего языка учить» («les Russes me traitteront de ridicule, de m'engiger en Grammairien qui veut leur apprendre une langue, qu'ils doivent sans doute mieux savoir que moi» — л. Bv — C).

описывая склонение прилагательных и местоимений, Со́е замечает, что форму род. падежа муж. и ср. рода следует писать с церковнославянским окончанием *-го* при том, что в разговоре произносится *-во*, т. е. предписывается писать *такого*, *лукавого*, хотя в соответствии с произношением следовало бы писать *таково*, *лукаово* (I, 52, ср. 54 сл., 90 сл.)<sup>6</sup>. Между тем Лудольф дает только формы на *-во* (*бѣлово*, *моєво* [8, с. 19, 22 сл.]), поскольку они ближе к разговорному произношению. Формы на *-во* Лудольф считает русскими, а соответствующие формы на *-го* — церковнославянскими (ср.: Slav. *такого* — Russ. *таково*; Slav. *единного* — Russ. *одново* [8, с. 5]); Со́е же квалифицирует и те и другие формы как русские, но противопоставляет их как книжные (литературные) и разговорные. Это всего один пример, но он достаточно показателен: Со́е, как видим, в принципе ставит перед собой задачу ко д и ф и к а ц и и русского литературного языка. Можно предположить, что различие в позициях, которые занимают Лудольф и Со́е по отношению к русскому языку, обусловлено изменениями русской культурной и языковой ситуации: грамматику Со́е отделяет от грамматики Лудольфа четверть века (чуть больше), однако эта четверть века очень значительна — Лудольф писал свою грамматику в начале Петровской эпохи, грамматика Со́е была написана в ее конце. Во времена Лудольфа литературным языком был еще язык церковнославянский, но в петровское время появляется новый литературный язык, противопоставляющий себя церковнославянскому [9]<sup>7</sup>. Этот новый литературный язык в той или иной степени может ассоциироваться с приказным языком [9], и, может быть, именно поэтому Со́е склонен отождествлять русский литературный язык с языком канцелярий («le stile de Chancellerie») <sup>8</sup>. Итак, мы вправе, по-видимому, видеть в грамматике Со́е отражение петровских реформ.

3. В предисловии к своей грамматике Со́е дает понять, что его труд совершенно оригинален; он заявляет, что ему не удалось обнаружить грамматики церковнославянского или русского языка, которой он мог бы воспользоваться при систематизации языкового материала, и ему пришлось проделать всю работу самостоятельно (л. Jv — K). Это заявление не соответствует действительности. Мы знаем по крайней мере одно грамматическое руководство, которое, несомненно, было в его распоряжении, — это грамматика Лудольфа. Мы уже говорили, что предисловие к грамматике Со́е обнаруживает знакомство с Лудольфом. Еще в большей степени это проявляется в первой части нашей грамматики, которая испытывает самое непосредственное влияние грамматики Лудольфа — в целом ряде случаев изложение Со́е представляет собой прямой перевод соответствующих фрагментов из Лудольфа. Это дает повод некоторым авторам утверждать, что грамматика Со́е — это просто-напросто перевод грамматики Лудоль-

<sup>6</sup> Само собой разумеется, что формы *такого*, *лукаово* лишь относительно отвечают разговорному произношению — они соответствуют ему постольку, поскольку дело касается консонантизма, а не вокализма, однако именно качество согласного оказывается релевантным в данном случае.

<sup>7</sup> Действительно, если Лудольф знал всего одну печатную книгу на русском языке — «Уложение» 1649 г. [8, л. A/1v], — то Со́е имел в своем распоряжении целый ряд таких книг. Со́е замечает в предисловии, что его описание основывается на анализе определенного корпуса текстов, состоящего из печатных и рукописных русских книг (л. K). Надо полагать, что, говоря о печатных изданиях, Со́е имеет в виду книги гражданской печати.

<sup>8</sup> Здесь уместно отметить, что формы прилагательных на *-ого*, которые кодифицирует Со́е (*лукаово* и т. п.), соответствуют именно норме приказного языка: окончание *-ого* в приказном языке было противопоставлено окончанию *-аго* в церковнославянском [10, с. 153; 11, с. 61, примеч. 1].

фа (см., например [12]). Так могут думать лишь те, кто не видел нашей грамматики. Достаточно сказать, что вторая часть грамматики Со́е является собой самостоятельный труд, совершенно независимый от Лудольфа; однако даже и первая часть нашей грамматики, ближайшим образом связанная с Лудольфом, совсем не всегда его повторяет и в целом должна считаться п е р е р а б о т к о й грамматики Лудольфа, а не ее переводом.\* Со́е всячески стремится дополнить Лудольфа, и в целом ряде случаев он дает новую информацию, которая у Лудольфа отсутствует. Повторение того, что говорит Лудольф, может быть чисто автоматическим, но отступление от него — всегда сознательно и значимо; в этих условиях нас должно интересовать прежде всего не сходство, а различие, т. е. именно эти сознательные отступления.

Что же нового дает Со́е (в первой части своей грамматики) по сравнению с Лудольфом? Переработка коснулась как грамматической систематизации, так и самого языкового материала.

Так, например, Со́е выделяет двадцать склонений, тогда как у Лудольфа их пять; при этом число склонений у Лудольфа определяется церковнославянской грамматической традицией, тогда как Со́е основывается не на традиции, а на анализе языковых данных. Оба автора специально оговаривают свой подход. Лудольф говорит в своей грамматике: «Мы сохранили здесь число и порядок склонений, какое существует в церковнославянской грамматике, так как всегда приходится обращаться к церковнославянской грамматике по поводу трудных слов, мало употребительных в обычной речи» («Retinuius igitur numerum & ordinem Declinationum, qui in Grammatica Slavonica extat, quoniam in vocabulis difficilibus & in communi sermone parum usitatis ad Grammaticam Slavonicam semper recurrendum est» [8, л. 11, ср. л. A/2v]). Между тем Со́е заявляет иное: «Я придерживался такого порядка и числа склонений, который показался мне наиболее подходящим; в случае же трудных слов, мало употребительных в русском языке и не подпадающих под данные правила, необходимо обращаться к церковнославянской грамматике» («j'ay observé pour les déclinaisons l'ordre et le nombre qui m'a paru le plus convenable; et pour les mots difficiles qui sont peu en usage dans la dialecte Russe, et qui ne peuvent être réduits à ces règles-cy, il faut absolument avoir recours à la grammaire Esclavonne» — I, 16; ср. еще предисловие, л. К, где Со́е говорит, что классификация склонений и спряжений основывается у него на анализе имевшегося в его распоряжении корпуса русских текстов). На этом примере хорошо видна как общая зависимость Со́е от Лудольфа, так и относительная самостоятельность его подхода. Равным образом, если Лудольф выделяет три времени (настоящее, прошедшее и будущее), то у Со́е мы находим четыре времени — прошедшее время разделяется им на «перфект» и «имперфект» (I, 116—118); подробнее об этом будет сказано ниже.

В тех случаях, когда Со́е сохраняет классификационные схемы Лудольфа, он нередко наполняет их новым языковым материалом: так, например, первое склонение у Со́е (I, 34—36) соответствует первому склонению у Лудольфа [8, с. 15—16], однако Со́е не повторяет пример Лудольфа, а предпочитает привести парадигму другого слова. В тех же случаях, когда Со́е приводит парадигму того же слова, что и Лудольф, он может давать другие формы этого слова: ср., например, парадигму слова *городъ* у Со́е (I, 38—39) и у Лудольфа [8, с. 16] — форме *городомъ* (дат. мн.) у Лудольфа соответствует форма *городамъ* у Со́е; там, где Лудольф дает одну форму *городехъ* (местн. мн.), Со́е приводит варианты формы *го-*

*родехъ и городахъ*. В целом можно сказать, что парадигмы у Соёе достаточно самостоятельны — мы видим, что он вовсе не стремится копировать Лудольфа, даже в тех случаях, когда он имеет такую возможность.

Мы говорили о принципах организации языкового материала. Но что нового дает Соёе (по сравнению с Лудольфом) в трактовке этого материала? Начнем с фонетики и орфографии, т. е. тех уровней, в которых наиболее наглядно проявляется языковая норма.

В фонетическом плане представляет интерес указание на двоякое произношение буквы *g*, которая соотносится с латинскими *g* и *h* (I, 3), т. е. эта буква, согласно Соёе, может читаться и как смычный, и как ффрикативный согласный. Лудольф, между тем, соотносит букву *g* только с латинской *g*, т. е. приписывает ей исключительно смычный характер [8, с. 6]. Это различие вполне понятно, если иметь в виду, что Лудольф описывает разговорное произношение, тогда как Соёе претендует на описание произношения литературного (см. выше): действительно, в книжном произношении, находящемся под влиянием церковного чтения, данной букве соответствовал ффрикативный задненебный [13].

Орфографические рекомендации Соёе могут опережать свое время: в ряде случаев его орфография фиксирует норму, которая позднее становится общепринятой. Обратимся например, к правописанию прилагательных. Мы уже упоминали, что Соёе рекомендует писать окончание *-го* в формах род. падежа муж. и ср. рода (*такого, лукавого*) прилагательных и местоимений, одновременно указывая, что эти формы произносятся с окончанием *-во* (*таково, лукаво*) (I, 52 сл.). Нельзя не заметить, что эта рекомендация соответствует принятой сейчас норме правописания. Для прилагательных им. падежа муж. рода Соёе дает окончания *-ый* и *-ой* (*лукавый, строгий* — I, 51), тогда как у Лудольфа встречаем только формы на *-ои* (*бѣлои, доброи, высокои* и т. п. [8, с. 19—20]): при этом русские формы на *-ои* противопоставлены у Лудольфа церковнославянским формам на *-ыи* (ср. *святыи* — там же). Как видим, Соёе допускает в рамках русского литературного языка как русское, так и церковнославянское окончание (подобно тому, как он кодифицирует, например, книжное и разговорное произношение буквы *g*) — выбор того или иного окончания определяется, по-видимому, стилистической принадлежностью слова; можно сказать, что Соёе кодифицирует славянизмы в русском литературном языке. Подобный подход характерен в дальнейшем для Ломоносова, который также фиксирует в своей «Российской грамматике» (в § 161) варианты окончания *-ый* и *-ой* [14, с. 462—463], и затем в академической грамматике 1802 г. [15] и т. п.

Актуальный для XVIII в. вопрос о правописании прилагательных в им. падеже мн. числа (этот вопрос вызывал бурные споры, поскольку различные его решения были обусловлены ориентацией на русскую или, напротив, на церковнославянскую языковую стихию [16]) получает у Соёе решение, которое станет впоследствии нормативным в литературном языке. Соёе выделяет формы муж. рода с окончанием *-е*, противопоставляя их формам жен. и ср. рода с окончанием *-я* (муж. *лукавые* — жен. и ср. *лукавыя*; муж. *строгие* — жен. и ср. *строгия*; и т. п. — I, 54—59); между тем Лудольф дает тройное противопоставление, относительно близкое к церковнославянскому: муж. *бѣлие* — жен. *бѣлиа* — ср. *бѣла* [8, с. 19]. Правописание прилагательных в им. падеже мн. числа, которое кодифицирует Соёе, закрепляется в дальнейшем орфографическими правилами 1733 г. и вслед за тем фиксируется в грамматике Адодурова 1738—1740 гг. [12, с. 31—34]; эта орфографическая норма оказалась очень устойчивой и со-

хранялась вплоть до реформы 1917—1918 гг. [17]. Замечательно, что Тредиаковский и Ломоносов считали, что данная орфографическая норма вводится лишь правилами 1733 г. [18; 19; 14, с. 87], по-видимому, не подозревая о том, что такое правописание существовало и раньше. Грамматика Соёе — это первое грамматическое руководство, где фиксируется данная норма.

Уже из приведенных примеров видно, что Соёе нередко дает параллельные, вариантные формы, соотносимые с церковнославянской и с русской языковой стихией. Морфологическая вариативность такого рода очень наглядно представлена в парадигмах, приводимых в нашей грамматике. Так, мы встречаем здесь формы *городехъ* и *городахъ* (местн. мн.), *сердцовъ* и *сердцъ* (род. мн.), *папугаѣхъ* и *папугаѣхъ* (местн. мн.), *христѣя* и *христѣи* (им. мн.), *христѣянахъ* и *христѣанехъ* (местн. мн.), *карабляи* и *караблѣи* (твор. мн.), *уничиженеи* и *уничижени* (род. мн.), *божѣей* и *божѣя* (род. ед.), *бѣдной* и *бѣдныя* (род. ед.) и т. п. (I, 39, 43, 45, 48, 49, 52, 53)<sup>9</sup>. Вариативность форм предстает у Соёе как последовательно проводимый принцип кодификации русского языкового материала. Подобная вариативность в особенности характерна для вин. падежа мн. числа; Соёе может давать здесь параллельные формы, одна из которых совпадает с формой им. мн., а другая — с формой род. мн.: *капли* и *капель*, *анатомѣи* и *анатомѣи*, *судѣи* и *судѣи*, *папугаи* и *папугаевъ*, *христѣяна* и *христѣанъ*, *караблѣи* и *караблѣи* (I, 35, 37, 38, 43, 45, 48), ср. также *роды* и *родъ* (I, 42), где форма *родъ*, в сущности, также омонимична форме род. мн., хотя Соёе приводит для род. мн. форму *родовъ*, а не *родъ*. Рекомендации Соёе безусловно неправильны, однако и в этом случае они обусловлены стремлением объединить в рамках русского литературного языка церковнославянские и русские формы<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Если Лудольф дает для местоимения *она* такие формы вин. падежа ед. числа, как *ю*, *неа* [8, с. 22], то Соёе, приводя эти же формы, указывает еще и форму *ее* (I, 89); при этом форма вин. ед. *ее* противостоит у Соёе форме род. ед. *еѣ*, которая у Лудольфа отсутствует.

<sup>10</sup> В самом деле, Соёе явно не разобрался в категории одушевленности. Он отмечает, впрочем, что эта категория проявляется в вин. падеже ед. числа (I, 40, 44), и этими сведениями он обязан Лудольфу (ср. [8, с. 16, 19]). Сведения Лудольфа, в свою очередь, восходят к грамматике Смотрицкого, где об одушевленности говорится только применительно к формам ед. числа [20, л. Д/7v; 21, л. 105]. Соответственно, у Смотрицкого форма вин. мн. не совпадает с формой род. мн. (ср.: вин. ед. *того клеверета* — вин. мн. *тыя клеверты* и т. п.). На этом фоне совпадение данных форм выступает как стилистически окрашенное — формы вин. мн., совпадающие с формами род. мн., предстают как специфические русизмы (вожлоквиализмы, недопустимые в церковнославянском). Именно так, например, трактует подобные формы Федор Поликарпов в «Технологии» 1725 г. ([22, с. 97]; ср. [11, с. 107] — авторство Поликарпова установлено Е. Э. Бабаевой); аналогичное замечание в отношении форм прилагательных «можно найти и у Смотрицкого — Смотрицкий рассматривает совпадение форм вин. мн. и род. мн. именно как свойство «простого» языка [20, л. 1/107об.; 21, л. 151]. Напротив, формы вин. мн. одушевленных имен, совпадающие с формами им. мн., выступают как более архаичные и относительно близкие к церковнославянским — в принципе они могут восприниматься вообще как славянизмы.

Вслед за Смотрицким, Лудольф констатирует формальное различие одушевленных и неодушевленных существительных в ед. числе, однако во мн. числе форма вин. падежа одушевленных существительных (так же, как и неодушевленных) всякий раз совпадает у него с формой им. падежа — это проявляется как в образцах парадигм (*жены*, *лошади*, *князѣ* [8, с. 15, 18]), так и в примерах разговорной речи (*гости*, *товарищи*, *гуляшники*, *неприятели* [8, с. 49, 63, 75]) Неясно, отражает ли рекомендация Лудольфа диалектное явление (см. об архаических говорах, где категория одушевленности последовательно проявляется лишь в формах ед. числа [23]; ср. [24]) или же он оказывается в данном случае под влиянием церковнославянской грамматики, которую он определенным образом упрощает). В принципе возможны оба объяснения, причем

В целом ряде случаев мы находим у Соёе принципиально новую грамматическую информацию, отсутствующую у Лудольфа. Примером может служить описание будущего времени. Если Лудольф говорит только об аналитических формах будущего времени, образуемых с помощью вспомогательных глаголов *быть* и *стать* (конструкции «*буду* + инфинитив» и «*стану* + инфинитив» [8, с. 27, 30]), то Соёе специально оговаривает возможность образования синтетической формы (с помощью приставки) и уточняет значение аналитических форм: конструкция «*стану* + инфинитив» соотносится им с ближайшим будущим («*quand on parle d'une action qu'on va faire sur le champ*»), конструкция «*буду* + инфинитив» — с относительно отдаленным будущим («*quand on parle d'une action qu'on fera dans peu*») (I, 120—122). Таким образом, аналитические формы будущего времени предстают как семантически маркированные, они выражают ту или иную степень близости к моменту речи; просто будущее время, т. е. немаркированное будущее («*quand on parle d'une chose qu'on doit faire sans determiner le temps*»), выражается, согласно Соёе, синтетической формой (I, 120). В дальнейшем, приводя парадигмы спряжения, Соёе постоянно дает французские соответствия типа *уцлню* «*j'estimerai (un jour)*», *буду цлнить* «*j'estimerai (dans peu)*», *стану цлнить* «*j'estimerai (tout à l'heure)*» (I, 173—174); *забуду* «*j'oublierai (un jour)*», *буду забывать* «*j'oublierai (dans peu)*», *стану забывать* «*j'oublierai (tout à l'heure)*» (I, 287—288) и т. п.; выражение *ип jour* относится при этом именно к недифференцированному будущему.

Не менее любопытна трактовка прошедшего времени. Как мы уже упоминали, Соёе, в отличие от Лудольфа, выделяет два прошедших времени, которые он определяет как «перфект» и «имперфект» — в разряд имперфекта попадают при этом формы итератива или несовершенного вида, а также конструкция типа *бывало я читаю*, которая, по словам Соёе, принадлежит исключительно разговорной речи (I, 117—118). Напротив, употребление форм итератива (*ночевовалъ, дивовался* и т. п.) в специальном значении давнопрошедшего времени — при обозначении действия или состояния, относящегося к отдаленному прошлому, — в принципе характерно для традиции приказного, т. е. письменного языка (ср. [25]). Во всяком случае трактовка форм итератива как форм какого-то особого прошедшего времени вписывается в достаточно устойчивую грамматическую традицию. Уже Дмитрий Герасимов в «Донатусе» 1522 г. квалифицирует такие формы (*люблывах, учывах, хачывах* и т. п.) как формы «минувшего пресовершенного» времени, соотнося их с латинским плюсквамперфектом [26]. «Донатус» представляет собой описание церковнославянского языка, однако подобные формы имеют вполне очевидный русский субстрат [27, 28]. Именно Соёе впервые отмечает данное явление как факт русского языка, и в дальнейшем оно неоднократно фиксируется в русских грамматиках. Так, Федор Поликарпов в «Технологии» 1725 г. относит формы итератива к особому «мимошедшему» времени, которое он выделяет в русском языке

они не обязательно противоречат друг другу: диалектная речь может создавать условия для восприятия церковнославянской грамматики. Во всяком случае Соёе, несомненно, мог ассоциировать приводимые Лудольфом формы с книжной, церковнославянской языковой стихией. Соответственно, Соёе повторяет рекомендации Лудольфа (приводя формы *вин. мн.*, омонимичные *пм. мн.*), однако дополняет их альтернативными решениями (приводя варианты формы *вин. мн.*, омонимичные *род. мн.*). Соёе, по всей видимости, стремится объединить в одной парадигме славянизмы и русизмы, представив их как допустимые варианты; в данном случае такое объединение неправомерно, однако нас интересует прежде всего дескриптивная стратегия Соёе как кодификатора русского литературного языка.

наряду с «прешедшим» и «преходящим»: «прешеднее» время соотносится с формами прошедшего времени совершенного вида (*написалъ*), «преходящее» время — с формами прошедшего времени несовершенного вида (*писалъ*), тогда как к «мимошедшему» времени относятся формы типа *писывалъ* ([22, с. 124]; ср. [11, с. 108].) Поликарпов специально подчеркивает при этом, что «мимошедшее» время принадлежит исключительно «простому», т. е. русскому языку, и приписывает ему значение давнопрошедшего времени: «мимошедшее, еже простѣ точию употребляемо, — что давно дѣлывалъ» ([22, с. 107]; ср. еще грамматику Поликарпова 1724 года [29] — авторство Поликарпова установлено Е. Э. Бабаевой, ей же принадлежит и хронологическая атрибуция этого сочинения). Позднее Адогуров в своей грамматике 1738—1740 гг. расчленяет, как и Соёе, прошедшее время на «перфект» и «имперфект», относя к имперфекту формы итератива, ср. перфект *я любилъ* — имперфект *я любливалъ* и т. п. [30]<sup>11</sup>. Наконец, и Ломоносов в «Российской грамматике» (§ 268, 316, 360, 362, 380, 396, 407, 422, 425) трактует такие формы, как *тряхивалъ*, *брасывалъ* и т. п., как формы «давно прошедшего» времени [14, с. 480, 491, 502, 507, 514, 518, 527, 534, 536, ср. с. 680, 698]. При этом Ломоносов объединяет в рамках «давно прошедшего» времени итеративные глагольные формы и конструкции со словом *бывало* (*глатывалъ* — *бывало глоталъ* — *бывало глатывалъ*). Как видим, это довольно близко к тому, что говорит Соёе, — разница только в том, что Соёе ассоциирует с формой итератива конструкцию *бывало* + личная форма наст. времени), а Ломоносов — конструкцию *бывало* + личная форма прош. времени)<sup>12</sup>.

Особенно содержательны разделы грамматики Соёе, посвященные степеням сравнения (I, 62—66, 79—87). Указания Лудольфа на этот счет крайне скудны (см. [8, с. 20]), и Соёе здесь вполне оригинален. Так, Соёе кодифицирует формы сравнительной степени на *-ѣ* (*холоднѣе*, *лукавѣе*); при этом он полагает, что такого рода формы образуются только от прилагательных с основой на *л, м, н, р, в, у, п* (I, 64, 79—80). Равным образом он фиксирует аналитические формы сравнительной степени, образуемые с помощью слов *болѣе* и *вѣще* (*болѣе лукавий* или *вѣще лукавий*), а также аналитическую форму превосходной степени, образуемую с помощью слова *самой* (*самой лукавий*) (I, 83, 86). Одновременно отмечаются синтетические формы превосходной степени на *-ѣйш-*, *-айш-*; любопытно, что в то время как Лудольф трактует такие формы как славянизмы [8, с. 20], Соёе может образовывать их от полногласных основ, ср. *молодѣйшій* и т. п. (I, 65—66, 84) — впрочем, для слова «короткий» он дает парадигму *короткой* — *коротчи* — *кратчайшій*, где полногласная основа преобразуется в неполногласную, подобно тому как это происходит и в современном русском литературном языке. Необходимо подчеркнуть, что степени сравнения — это та область именной морфологии, где особенно отчетливо и наглядно проявляется противопоставление церковнославянского и русского языка (ср. специальные замечания Федора Поликарпова по этому поводу в его «Технологии» 1725 г. [22, с. 97]; ср. [11, с. 107]). Тем самым указания Соёе оказываются в данном случае исключительно информативными — в целом они свидетельствуют о его принципиальной ориентации именно на русский языковой полюс.

<sup>11</sup> Соответствующие разделы грамматики Адогурова дошли до нас в шведском переводе Михаила Грѣнинга (см. [2]).

<sup>12</sup> В одном случае, впрочем, Ломоносов фиксирует в своей грамматике (§ 536) и конструкцию с настоящим временем, относя ее — подобно Соёе — к просторечию [14, с. 568, ср. с. 700].

Несомненной заслугой Со́е является выделение деепричастий, которые он определяет как «герундив 1-го вида» («Le premier gerondif» — I, 133—136; ср.: II, 139—141). Со́е различает при этом деепричастия наст. времени на -я (*любя*) и деепричастия прош. времени на -въ (*любивъ*). И в этом отношении Со́е также не имеет предшественников<sup>13</sup>.

Как явствует уже из посвящения и предисловия к грамматике, Со́е видит свою задачу прежде всего в том, чтобы свести структуру русского языка к системе четких и надежных п р а в и л, позволяющих образовать одни формы из других (л. Вv—C, Cv—D, L). В какой-то мере эту задачу ставит перед собой и Лудольф, однако Лудольф уже в предисловии подчеркивает, что он не в состоянии это сделать сколько-нибудь последовательным и исчерпывающим образом: «Кто внимательно всмотрится в этот язык, тот заметит, как трудно привести его к определенным грамматическим правилам. . .» («Quicumque linguam hanc accuratius inspexerit, & consideravit, quam difficulter ad certas regulas grammaticas referri queat. . .» [8. т. A/2v]). Между тем Со́е заявляет, что он для русского языка «справылы придаць надежныѹ, въ то время когда хто частѹ въ своемъ самомъ собственпомъ азыкѣ ихъ дать не можетъ» («. . . donner des regles, dans le temps qu'on ne peut pas quelquefois en donner de la sienne propre [langue]» л. Вv—C). Действительно, Со́е идет гораздо дальше Лудольфа в этом отношении: в дополнение к тем правилам формообразования, которые дает Лудольф, Со́е в целом ряде случаев формулирует свои собственные правила, у Лудольфа отсутствующие. Так, например, он подробно описывает образование причастий и деепричастий. Согласно Со́е, причастия наст. времени действит. залога в 1-м спряжении образуются от формы индикатива 1-го лица ед. числа наст. времени прибавлением окончания -щи (*ночую* + -щи = *ночующи*); во 2-м же спряжении они образуются от формы индикатива 3-го лица мн. числа наст. времени заменой окончания -тъ на -щи [(*любятъ* — *тъ*) + *щи* = *любящи*]; причастия прош. времени действит. залога образуются от формы индикатива прош. времени заменой окончания -лъ на -виий [(*любилъ* — *лъ*) + *виий* = *любивиий*] (I, 130—133). Причастия наст. времени страдат. залога образуются от формы индикатива 1-го лица мн. числа наст. времени прибавлением окончания -ый (*любимъ* + *ый* = *любимый*); причастия прош. времени страдат. залога в 1-м спряжении образуются от формы индикатива прош. времени заменой окончания -лъ на -нный (-н) или -тый (-тъ) [(*резалъ* — *лъ*) + *нный* = *резанный*], [(*взялъ* — *лъ*) + *тый* = *взятый*]; во 2-м спряжении они образуются заменой окончания -илъ на -енный (-енъ) [(*любилъ* — *илъ*) + *енный* = *любенный*], причем отмечается, что те глаголы, которые имеют вставное -л- в форме индикатива 1-го лица ед. числа наст. времени, могут получать такую же вставку [(*купиъ* — *илъ*) + *л* + *енный* = *купленный*] (I, 137—141). Деепричастия наст. времени образуются от формы индикатива 1-го лица ед. числа наст. времени заменой окончания -у (-ю) на -я [(*жгу* — *у*) + *я* = *жгя*], [(*ночую* — *ю*) + *я* = *ночуж*] или же от формы 3-го лица мн. числа наст. времени отъятием

<sup>13</sup> Правда, о «деепричастиях» говорит уже Смотрицкий, однако он понимает под деепричастиями нечто другое, а именно формы им. падежа кратких (усеченных) причастий, согласуемых по роду и числу (120, л. O/8 — 8v, II/1v — 3, P/2 — 3v, C/3 — 3v, У/3 — 3v, Ф/1, Ш/3v — 4v; 21, л. 198, 199v — 201, 210—212, 220v — 221v, 242—243, 259v, 312—313); ср. [31]. Вслед за Смотрицким о «деепричастиях» говорит и Федор Максимов [32]. Максимов в принципе понимает под «деепричастиями» то же, что и Смотрицкий, однако, поясняя их употребление в церковнославянском языке, он приводит параллельные «простые» формы, ср. ц.-слав. *сѣдѣ* — «прост-л» *сѣдѣчи* и т. п.; тем не менее категория «деепричастий» не выделяется у Максимова как особая категория «простого» языка

окончания *-тъ* (*любятъ — тъ = любя*); деепричастия прош. времени образуются от формы индикатива прош. времени заменой окончания *-лъ* на *-въ* (*любилъ — ль*) + *въ = любивъ* (I, 134—136). В итоге выстраивается сложная иерархия форм, которые находятся в отношениях деривационной зависимости — своего рода порождающая грамматика. Замечательно, что случаи иррегулярного формообразования, не подпадающие под те или иные правила, Со́е может объяснять как результат церковнославянско-русской интерференции. Именно таким образом он объясняет, например, случаи иррегулярного образования степеней сравнения — приводя примеры суффиксальных форм сравнительной степени, Со́е считает, что они образованы от церковнославянских (не от русских) прилагательных, которые он при этом и реконструирует; так, от прилагательного *великой* сравнительная степень *болши*, которая образована от церковнославянского *боллой* «великий»; равным образом форма *мениши* образована не от русского прилагательного *малой*, с которым она входит в парадигматические отношения, а от церковнославянского *меной*; форма *лутчи* образована не от русского прилагательного *доброй*, а от церковнославянского *лутой*; и т. п. (I, 82—83). Иначе говоря, предполагается, что в подобных случаях имеет место контаминация русских и церковнославянских форм, которые объединяются в одной парадигме. Это остроумное решение вопроса, хотя и неверное.

Понятно, что увлечение правилами в отрыве от живого употребления способствует появлению искусственно образованных форм, не соответствующих реальным фактам русского языка: подобные формы представляют собой, так сказать, неизбежные издержки производства. Такого рода примеры нередки у Со́е, будь то формы типа *знаю* (1 лицо ед. числа наст. времени от *знать* — I, 124), *встая* (деепричастие от *встать* — I, 357) или такие образования, как *буду пустить*, *буду дать* и т. п. (I, 239, 359 и др.); ср. и у Лудольфа *буду здѣлать* [8, с. 30]. Чисто искусственным, кабинетным образованием являются, конечно, и формы причастий будущего времени (*будуци писать* — I, 133, 158 и сл.), которые у Лудольфа отсутствуют.

Очень ценны стилистические указания Со́е: приводя те или иные формы, он отмечает иногда их специфически разговорную окраску — такое указание мы встречаем, например, относительно конструкций «*бывало* + личная форма наст. времени» (*бывало я читаю* и т. п. — I, 118) или уменьшительных форм имен существительных (I, 49—50). В отличие от Лудольфа [8, с. 21], Со́е не говорит, что уменьшительные формы собственных имен выступают в русском языке (в эпистолярном стиле) как специальные формы величivosti, и это легко понять, поскольку в нач. XVIII в. эта манера уже выходит из употребления [33]: 30 декабря 1701 г. было официально запрещено подписываться уменьшительными именами [34]; Со́е замечает, вместе с тем, что в разговорной речи уменьшительные формы существительных могут употребляться с особой модальностью — их употребляют, когда говорят о том, что не представляет для говорящего специального интереса («*en parlant de choses indifférentes*» — I, 50). Что касается различий между славянизмами и русизмами, то здесь Со́е в основном следует Лудольфу (I, 30—33; ср. [8, с. 4—5]), однако в одном случае он делает важное дополнение, указывая, что церковнославянскому окончанию инфинитива *-ти* соответствует русское окончание *-тъ* (I, 130). Это указание не так тривиально, как может показаться, — достаточно упомянуть, что Сумароков и Барсов считают форму инфинитива на *-ти* собственно русской формой [10, с. 177].

4. Итак, основным источником является для Со́е грамматика Лудоль-

фа. Как известно, Лудольф доводит свою грамматику до синтаксиса — вместо синтаксиса он дает примеры фраз на русском языке (образцы русской диалогической речи). Со́йе поступает иначе: описанию русского синтаксиса он посвящает вторую часть своего сочинения, которая, в отличие от первой части, именуется не собственно «грамматикой», а «методом». Разница в названиях подчеркивает различную направленность обеих частей — если «грамматика» в принципе имеет систематический характер, то «метод» имеет характер практический. Задача «грамматики» — классификация языкового материала, т. е. его анализ; задача «метода» — организация текста, т. е. его синтез. Эта последняя задача решается путем сопоставления русского языка с французским, т. е. задаются правила преобразования французского текста в русский текст. Речь идет, таким образом, о строении русской фразы (по сравнению с французской) и о правилах ее порождения (отправляясь от французского языкового материала). Эта часть грамматики Со́йе написана целиком в русле традиции картезианской лингвистики, идущей от универсальной грамматики аббатства Пор-Рояль.

Описание Со́йе имеет в данном случае не обобщающий, а вполне частный характер — оно целиком посвящено русским соответствиям тех или иных французских синтаксических показателей (грамматических слов и конструкций). Но это объясняется именно представлениями об универсальной природе всех вообще языков: предполагается, что на синтаксическом уровне французский и русский языки имеют одну природу и расходятся лишь в частности — как раз этими частностями Со́йе и занимается. В современных терминах можно было бы сказать, что они (языки) совпадают по своей глубинной синтаксической структуре, но расходятся на внешнем уровне, по своей поверхностной структуре (ср. [35]). Такой подход предполагает прежде всего выяснение глубинной структуры французского языка, т. е. того языка, с которым сравнивается русский; иначе говоря, для того, чтобы описать правила порождения русского текста, необходимо предпринять внутреннюю реконструкцию исходного (французского) речевого материала. Французский язык, через сопоставление с которым строится описание русского синтаксиса, оказывается при этом одновременно и метаязыком (языком описания), и языком-объектом (предметом описания): он оказывается языком описания постольку, поскольку через него описывается русский язык; он оказывается предметом описания постольку, поскольку для того, чтобы стать языком описания, он сам нуждается в анализе — в вычлениении (реконструкции) глубинной структуры.

Как это проявляется? Положим, нам надо определить, как передается на русском языке слово *qui*. Для этого прежде всего необходимо выяснить, какие значения это слово имеет во французском языке, — ясно, что разные его значения могут в принципе передаваться разными способами. Выясняется, что это слово может выступать как вопросительное или указательное местоимение или же как местоимение относительное; затем устанавливается, что в первом случае оно передается по-русски словами *кто* или *что*, во втором случае — словами *которой*, *которая*, *которое* или *иже*, *яже*. *еже* (II, 3 сл.). Это элементарный пример, но в принципе так же устанавливаются и более сложные соответствия, которые предполагают рассмотрение специфической сочетаемости как исходного французского слова, так и его русского коррелята. При этом может оказаться, что во французском языке в определенных ситуациях вместо *qui* употребляется какое-то другое слово — например, местоимение *lequel* (II, 9—10). Тем самым оказывается, что *qui* в данном случае — это обозначение логического конструкта, т. е. элемент метаязыка (или, если угодно, компонент глубинной струк-

туры); в других же случаях *qui* — это описываемое явление, т. е. элемент языка-объекта. Если в приведенном примере *qui* выступает как элемент метаязыка по отношению к фактам французского языка, то в других случаях *qui* может выступать в подобной функции по отношению к фактам языка русского. Как видим, описание такого рода предполагает достаточно сложные логические операции.

Поскольку рассматриваемые французские слова и конструкции (типа *qui* в только что разобранным примере) принадлежат метаязыку, Соёе может, формулируя то или иное правило (обеспечивающее переход от французского текста к русскому), свободно соединять их с русскими словами. Так, например, он может констатировать, что при выражении сомнения после глаголов *douter, deliberer, demander, interroger, considerer, ne savoir* ставится частица *ли*, которая сочетается с каким-то другим глаголом в форме индикатива (II, 196); или что слово *que* после *едва* или *еще не* превращается в *какъ* или *когда* (II, 270). Точно так же, обсуждая слово *sans* и способы его передачи на русском языке, Соёе замечает, что при наличии предшествующего отрицания это слово преобразуется — в русском, не во французском языке! — в слово *чтобы*, которое по-русски передается как *чтобы* (II, 173—174); рассматривая местоимения *que* и *quel* в начале фразы, выражающей восхищение или вопрос, он говорит, что эти местоимения могут превращаться в слово *сколько*, которое по-русски передается словами *коль, сколь, сколько* (II, 35); относительно местоимения *он*, стоящего в начале фразы после союзов *quand* или *lorsque*, нам сообщается, что оно преобразуется в *себя*, т. е. *кто* (II, 119); и т. д. и т. п. Совершенно очевидно, что, называя французские слова, Соёе имеет в виду в подобных случаях как сами эти слова, так и их русские эквиваленты; точнее было бы сказать, что он называет элементы универсальной грамматики, общей для обоих языков. Именно представление о единой природе русского и французского языков — как и всех других языков человеческого общества — позволяет ему свободно варьировать средства выражения, переходя от французских языковых средств к русским, и наоборот. Равным образом, формулируя правила перехода от французского текста к русскому, Соёе последовательно применяет эти правила и на французском языковом материале, демонстрируя с помощью французских языковых средств, как можно говорить по-русски, — французские слова оказываются организованными при этом по русским синтаксическим моделям. Эти французские фразы, построенные на русский манер и представляющие собой буквальный (дословный) перевод соответствующих русских фраз, играют двойную роль: с одной стороны, они облегчают понимание приводимых русских примеров (т. е. помогают разобраться в них читателю-французу), с другой же стороны, эти фразы на ломаном французском языке фиксируют как бы промежуточную ступень при переходе от правильной (исходной) французской фразы к правильной русской.

Правила синтаксического преобразования, которые формулирует Соёе, могут разительно напоминать процедуры порождающей грамматики. Эти правила, как мы видели, могут прилагаться к французскому языку, и в этом случае они предназначены для преобразования французской фразы в русскую. Однако они могут прилагаться и к русскому языку, и тогда они предназначены для систематического (иерархического) представления русского синтаксиса. Так, констатируя, например, что местоимение *quel* в начале вопросительного предложения передается по-русски словами *которой* или *какой* (II, с. 27 сл.), Соёе указывает затем, что эти русские слова могут заменяться словом *что* (II, 33) — перед нами последователь-

ная цепочка трансформаций уже в рамках русского языка. Или другой, более сложный пример: нам сообщается, что слова *que* и *de* после таких слов или выражений, как *avoir soin, tâcher, faire en sorte, faire ses efforts, prendre garde, observer, tenir la main, songer, prier*, передается через *чтобы* или *дабы*, причем последующий глагол ставится в сослагательном наклонении (II, 47 сл.). Далее отмечается, что в определенных условиях форма сослагательного наклонения в такого рода фразах заменяется формой инфинитива (II, 55—57). При этом оказывается, что в конструкциях с инфинитивом исходные французские слова (*que* и *de*) могут передаваться не через *чтобы* и *дабы*, а с помощью союза *какъ* (II, 57—58). Наконец, выясняется, что глагол в форме инфинитива может непосредственно присоединяться к предшествующему глаголу, т. е. без помощи какого бы то ни было союза (II, 59—61). В дополнение ко всему мы узнаем, что после глагола *prier* (имеется в виду русский глагол, соответствующий исходному французскому слову) форма инфинитива может заменяться формой императива (II, 62—65). Такой подход позволяет нашему автору систематически организовать русские синтаксические конструкции, расположить их в иерархической последовательности.

Формулируемые Сойе правила — правила превращения французской фразы в русскую фразу — могут иметь достаточно сложную логическую структуру. Ядро правила составляет замена того или иного французского слова (или группы слов) на соответствующее русское. Предварительно определяются условия такой замены: они формулируются на французском материале и относятся к глубинной структуре предложения. В дальнейшем указываются синтаксические преобразования, автоматически происходящие в результате данной замены уже в рамках русского языка, — эти преобразования относятся, напротив, к поверхностной структуре предложения. Если при этом возможны различные преобразования, они могут быть организованы по модели порождающей грамматики, т. е. быть представлены в виде последовательной цепочки трансформаций. Например:

Условие замены	Замена	Следствие замены
После глаголов: <i>craindre,</i> <i>apprehender,</i> <i>avoir peur</i>	Заменить <i>que</i> на <i>чтобы</i>	Последующий глагол принимает форму сослагательного наклонения  Форма сослагательного наклонения может быть заменена формой инфинитива

Ср.: *Je crains qu'on n'ait fermé la porte* — *Боюсь чтобы ворота не заперли;*  
*Je crains que je ne m'enivre* — *Боюсь чтобы не напиться* (II, 86—89).

Как видим, рассматриваемая грамматика представляет интерес не только как опыт описания русского языка начала XVIII в., но и в чисто теоретическом плане: ее автор предстает перед нами как талантливый лингвист-теоретик.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Unbegaun B. O.* Russian Grammars before Lomonosov // Oxford Slavonic Papers. 1958. VIII.
2. *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975.
3. *P[ère] Martynof, S. J.* Les manuscrits slaves de la bibliothèque impériale. P., 1858. P. 34—36.
4. *Dobrowsky J.* Institutiones linguae slavicae dialecti veteris... Vindobona, 1822. P. LXII.
5. *Mazon A.* L'abbé Gabriel Girard, grammairien et russisant // Revue des études slaves. 1958. T. XXXV. Fasc. 1—4. P. 28—29. (note 4).

6. [L'abbé Jourdain]. Memoire historique sur la Bibliothèque du Roy // Catalogue des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy. Theologie. 1<sup>ere</sup> Partie. P., 1739. P. 56—58.
7. *Omont H.* La Bibliothèque du roi au début du règne de Louis XV. Journal de l'abbé Jourdain, secrétaire de la Bibliothèque // Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France. 1893. T. XX. P. 218.
8. *Ludolf H. W.* Grammatica Russica quæ continet non tantum præcipua fundamenta Russicæ linguæ, vorum etiam manuductionem quandam ad grammaticam Slavonicam. Oxford, 1696.
9. *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1985. С. 3—4.
10. *Живов В., Успенский Б.* Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века // International Journal of Slavic linguistics and poetics, 1983. XXVIII. P. 153.
11. *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
12. *Veurens J.* Histoire de la slavistique française // Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern / Hrsg. von J. Hamm und G. Wytrzens. Wien, 1985. P. 245.
13. *Успенский Б. А.* Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова // Semiotyka i struktura tekstu / Pod red. Maýenowej M. R. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1973.
14. *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. VII. М.—Л., 1952.
15. Грамматика Российская, сочиненная Императорскою Российскою Академиею. СПб., 1802. С. 77.
16. *Успенский Б. А.* К истории одной эниграммы Тредиаковского // Russian linguistics. 1984. VIII. P. 79—80, 104—106.
17. Обзор продолжений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.) М., 1965. С. 280.
18. *Тредьяковский [В. К.]* Соч. Т. III. СПб., 1849, с. 62, 197, 224—225, 230.
19. *Волперский В. П.* Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского «О множественном прилагательных пелых имен окончений» // ФН. 1968. № 5. С. 87—89.
20. *Смотрицкий Мелетий.* Грамматика Славенския правильное Свнтагма. Евве, 1619.
21. [Смотрицкий Мелетий]. Грамматика. М., 1648.
22. [Шоликарнов Федор]. Технолоґія то есть художное собесѣдованіе о грамматическом художествѣ, собранное вопро-сответами по алфавиту числительному в пользу любителей отеческаго в дѣло 1725. Рукопись Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, НСРК F 1921.60.
23. *Пеньковский А. Б.* Заметки о категории одушевленности в русских говорах // Русские говоры. К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975. С. 152—163.
24. *Grappes A.* Impersona Animacy in 18th century Russian // Russian linguistics. 1984. VIII. P. 295—311.
25. *Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953. С. 262.
26. *Ягич И. В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896 (оттиск из «Исследований по русскому языку», I. СПб., 1885—1895). С. 566—567, 572, 583.
27. *Кузнецов П. С.* Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. С. 263—265.
28. *Живов В.* Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник // Russian linguistics. 1986. X. P. 103—105.
29. [Шоликарнов Федор]. [Грамматика]. Рукопись Центрального гос. архива древних актов, собр. Оболенского № 6, л. 230.
30. *Groening M.* Россійская грамматика. Thet är Grammatica russica... Stockholm, 1750. P. 128, 130, 137, 138.
31. *Запольская Н. Н.* «Усеченные» причастия в русском литературном языке XVIII в. // Вестник МГУ. Сер. филолог. 1985. № 3. С. 39.
32. [Маковский Федор]. Грамматика славенская въ кратцѣ собранная въ Грето-славенской школтѣ, яже въ великомѣ Новѣградѣ при домѣ Архіерейскомѣ. СПб., 1723. С. 128.
33. *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. 2-е изд. М., 1938. С. 56.
34. Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. Т. IV. СПб., 1830. С. 181 (№ 1884).
35. *Chomsky N.* Cartesian linguistics. N. Y.—L. 1966. P. 35 ff.

## НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

КАЦНЕЛЬСОН С. Д.

## ЗАМЕТКИ О ПАДЕЖНОЙ ТЕОРИИ Ч. ФИЛЛМОРА

1. К проблеме филлморских «падежей»  
и предикативной валентности

Ч. Филлмор стремится очистить падежи от всяких дополнительных наслоений, обусловленных несемантическими функциями именных членов предложения, и прежде всего коммуникативными функциями «позиционных» падежей (именительного и винительного). Так называемые «позиционные» падежи не имеют прямого семантико-грамматического содержания. Исходный для всей парадигмы падеж, именительный, является прежде всего носителем чисто коммуникативной функции «темы», выделяющей тот аргумент, который стоит в центре внимания говорящего и определяет собой построение данного фрагмента речевого текста. Функция темы в принципе не зависит от валентных свойств предиката, и, соответственно, ее может выполнять любой аргумент любого предиката. Нейтральность этой функции по отношению к семантике предложения и делает возможным присутствие ее в любом предложении и функционирование члена предложения, наделенного этой семантически нейтральной функцией, в качестве точки отсчета для другого позиционного падежа — винительного. Падеж объекта, винительный, может так же, как именительный, выражаться позиционно, занимая вторую позицию в предложении. При этом, однако, требуется дополнительное условие: свою функцию (или функции, если их много) винительный падеж может выполнять только при переходном глаголе. Следующий за именительным другой немаркированный (беспризначный) падеж оказывается винительным в силу одной лишь им занимаемой позиции. Как и функция «темы», функция «прямого объекта» не является сама, по своей сущности, семантической. К функции темы она прямого отношения не имеет и связана с нею лишь постольку, поскольку выражающий тему член предложения занимает в нем первое место и является отсчетной точкой при выделении формально немаркированной формы прямого объекта.

Принципиальная асемантичность формы «субъекта» (вернее, «темы») предполагает акт ее семантической интерпретации в предложении. Этот акт опирается на особое семантическое правило, фиксирующее предпочтительное (преференциальное) отношение данного поливалентного глагола к одному из своих аргументов, который обладает преимущественной способностью функционировать в качестве субъекта при данном глаголе. Что же касается остальных аргументов, то они могут выступать в роли субъекта при данном глаголе, если последний получает особую форму, сигнализирующую об изменении глагольной интенции (интенциональности). Скрытое в каждом глаголе свойство интенциональности помогает семантической интерпретации формы субъекта. Интерпретация эта осуществ-

ляется легче, если правило интерпретации заранее обобщено: для глаголов действия оно гласит, что форма подлежащего при нулевой интенциональности глагола выражает действующее лицо.

Стремление Филлмора обнаружить глубинные падежи в их собственно семантической функции вполне оправдано. Некоторые предвзятости мешают ему, однако, последовательно провести свое намерение. Филлмор, например, обнаруживает свой инструменталис и в таких фразах, как *Ключ открыл дверь*. Но глагол *открывать* предполагает три валентности — агенса, объект открывания и инструменталис. При этом интенционально глагол направлен на форму подлежащего, что позволяет ей выражать только агенса, т. е. действующее лицо или существо. Поскольку *ключ* не отвечает этим условиям, то это слово не может стоять в форме подлежащего. Если вопреки сказанному мы все же решимся на такую фразу, то она получит семантический сдвиг в сторону одушевления ключа (*Волишебный ключ прыгнул в скажину, щелкнул и открыл дверь*) либо в сторону осложнения значения новым оттенком приспособленности (ср.: *Этот ключ не открывает двери, нужно подобрать другой*, где *открывать* означает «быть пригодным, подходить»). Во втором случае фраза *Ключ открыл дверь* означала бы «Этот ключ подошел».

Филлмор приводит и третью фразу, в которой ключ трактуется как глубинный инструменталис: *John used the key to open the door* (ср. еще в 1)<sup>1</sup> четвертый вариант: *John used the key to open the door with*). Фразы последнего типа требуют, как замечает Циммерман, пояснения относительно того, как соотносятся между собой глаголы *use* и *open* и каков статус конструкции *to open the door* в целостном предложении. Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Глагол *use* «употребить, пустить в ход» и т. п. является «строевым» (в смысле Щербы) глаголом, выражающим эксплицитно общую идею использования или, что то же, употребления орудия, без указания на тип орудия и характер предполагаемого данным орудием действия. Именно поэтому такой глагол предполагает либо контекст, уточняющий характер употребления, либо глагольное дополнение, указывающее на характер действия, в целях достижения которого было использовано данное орудие. Глагольное дополнение цели может быть более или менее эксплицитным. Ср.: *воспользовался ключом, чтобы (with) открыть дверь*.

Филлмор переносит в глубинный падеж то, что функционально не относится к глубинным падежам. О глубинных (семантико-синтаксических) падежах имеет смысл говорить только применительно к функциям, специфицирующим отношения именного аргумента к предикату определенного типа. Между тем именная форма, обычно используемая для выражения отношения определенного именного аргумента к предикату, в некоторых случаях может быть использована для другой цели. В примере *Ключ открыл дверь* она используется, как мы видели, либо для стилистических целей персонификации (искусственного подведения аргумента под категорию лица), либо в целях выражения категории пригодности (соответствия или несоответствия инструмента своему назначению). Приводимые Филлмором примеры доказывают, таким образом, обратное тому, что он собирался доказать, именно то, что каждому глаголу присуща определенная типовая валентностная схема его развертывания в предложение. Так, *открывать* имеет следующую схему: «действующее лицо — объект воздействия — инструмент». Принципиальное отсутствие действующего лица

<sup>1</sup> В данной статье содержится также библиография работ Ч. Филлмора.

в схеме означает, что действие подчиняется иной схеме и, следовательно, не совпадает по значению с тождественным по названию глаголом с иной типовой схемой. Это значит, другими словами, что различия типовой схемы (или схемы валентности) могут служить средством разрешения полисемии, снятия ее. В приведенном выше примере *Ключ открыл дверь* постановка имени орудия на место действующего лица и, следовательно, отсутствие аргумента действующего лица является средством метафоризации имени орудия и его персонификации, совмещения в орудийном имени свойств как орудия, так и лица, что возможно только в сказке, мифе и т. п. В данном случае мы имеем дело не только с персонификацией артефакта со специальным орудийным значением, но также с переосмыслением глагольного действия, которое мыслится теперь уже не как пространственное перемещение ключа, его вторичное воздействие на замок под первичным воздействием человека и его руки. (Ср.: еще: *Он открыл дверь*, в случае незапертой двери, где действие не требует орудия).

Недостаток концепции Филлмора заключается, следовательно, в том, что он не учитывает роли валентностной схемы и ее возможного влияния на значение аргумента, вследствие которого оно может претерпеть существенный семантический сдвиг. Другой недостаток концепции Филлмора состоит в том, что придавая ведущее значение семантике имен в плане определения их падежной роли, Филлмор упускает из виду зависимость не только данного «падежа», но и предложения в целом от валентностной схемы глагольного значения. Для Филлмора *ключ* во всех трех приведенных выше фразах одинаково выполняет функцию инструменталиса, хотя более обоснованным представляется мнение, в соответствии с которым приведенные фразы не совпадают по значению и, следовательно, *ключ* выполняет различные функции в этих фразах. Собственно функцию инструменталиса *ключ* выполняет только во фразе *Джон открыл дверь ключом*. Во фразе *Ключ открыл дверь* первое слово выполняет комбинированную функцию, орудия и агенса, что указывает на смещение значения предиката и, соответственно, его валентностной схемы. В третьем предложении *ключ* выполняет функцию, сходную с его функцией в первом предложении. Но есть и разница, обусловленная различием в значении глаголов *открывать* и *использовать*, *употребить* и т. п. Эта разница проявляется в их валентностных схемах. Поскольку глагол *использовать* выражает идею употребления орудия в самом общем виде, то он открывает «гнездо» для членов предложения, уточняющих характер и содержание действия, ради достижения которого взялись за орудие. Глагол употребления в силу своей абстрактности допускает в принципе сочетание с именем любого орудия, тогда как глаголы типа *открывать*, или *пахать*, или *писать* могут сочетаться лишь с именами орудий определенного рода. Именно в силу таких своих особенностей глагол *употреблять* менее «полон» и недостаточно характеризует выполняемое с помощью данного орудия действие, ср. обстоятельства цели при таких глаголах. Можно сказать *Он воспользовался своим ножом, чтобы откупорить бутылку*, но вряд ли *Он писал своим пером, чтобы...*

\*

Филлмор оспаривает принятую Хомским в «Аспектах» релевантность синтаксических функций в глубинной структуре и рассматривает различие субъекта, объекта и адвербиальных определений как явления поверхностной структуры. Он пишет: «В их глубинной структуре пропозициональные ядра предложений во всех языках состоят из *V* и одного или боль-

ше *NP*, каждая из которых имеет независимое падежное отношение к *P* (и, следовательно, к *V*).

Выделение одного из падежных словосочетаний, непосредственно подчиненных *P* в качестве субъекта, совершается с помощью соответствующих трансформаций, которые «нейтрализуют» падежное значение и определяют морфологическую форму глагола, например, его пассивизацию или рефлексивизацию\*. Ср.: *Шум детей разбудил деда и Дед проснулся от шума детей*. Эти синонимические предложения содержат причинную связь, которую никак невозможно рассматривать как совместную конституенту глаголов *проснуться* и *разбудить*. Каузальная связь является скорее вышестоящим предикатом (*ein ubergeordnetes Prädikat*) с двумя пропозициями в качестве аргументов [1, с. 66].

Здесь, думается, мы имеем новую аналогию к процессу повышения одного из аргументов в ранг субъекта. Процесс повышения аргумента в субъекты зависит от роли данного аргумента в построении текста, от того, является ли данный аргумент темой или нет. В случае каузальной связи имеет место нечто аналогичное. И здесь словесное выражение каузальной связи зависит от того, аргумент какой пропозиции, — причинной или следственной, — является темой. Если причинная пропозиция становится темой, имеет место номинализация пропозиции (*дети шумели* → *шум детей*), предикатом становится каузативный глагол (*разбудить*) в функции непроизвольного и неличного возбудителя состояния, а аргумент причинной пропозиции становится объектом (т. е. носителем вторичного состояния). Если же темой предложения становится вторая пропозиция, то ее аргумент становится темой поверхностного предложения, предикатом поверхностного предложения выступает глагол, выражающий непроизвольный переход от первичного состояния во второе, а причинная пропозиция подвергается номинализации, ее предикат превращается в имя действия, ее аргумент становится атрибутом (отпредикативным), характеризующим данное имя, а вся именная группа выступает в «падежной функции» причины.

Имея дело с причинными предложениями данного типа, важно выделить следующие этапы трансформации: на первом этапе устанавливается причинная связь между двумя пропозициями, из которых одна в результате трансформации выявляется как источник и, следовательно, как причина в комбинированной пропозиции, а другая пропозиция тем самым как следствие из другой. После установления причинной связи между ядерными пропозициями и определения одной из ядерных пропозиций как причинной, а другой как следственной, начинается процесс преобразования обеих пропозиций с целью построения на их базе одного поверхностного предложения. Первым шагом на этом пути является отбор субъекта для поверхностного предложения. В соответствии с темой речевого фрагмента, в который включается формируемое поверхностное предложение, отбирается одно из ядерных предложений в качестве тематического. Если тематическим предложением окажется следственное предложение, состоящее из одновалентного предиката действия, то такой предикат преобразуется в имя действия, а его единственный аргумент в атрибут имени действия. Следующий шаг состоит в том, что имя действия, ограниченное атрибутом, преобразуется в субъект формируемого предложения и т. д. Таким образом, исходным моментом процесса порождения причинного предложения является отношение причинности/следствия, устанавливаемое

\* В рукописи название работ Филлмора не указано. — *Ред.*

между двумя пропозициями. Это предикат более высокого уровня, характеризующий два события в их внутренних взаимоотношениях, и Филлмор прав, определяя это отношение между событиями как своего рода предикат, перекрывающий данные события и сливающий их в одно событие более глубокого уровня.

Схему построения поверхностного предложения можно назвать конфигурационной. Филлмор пишет: «Преимуществом категориальной трактовки падежей является то, что именные сочетания (*NP*), преобразованные в субъект и объект, могут рассматриваться как утратившие свое „значальное“ отношение к предложению...» [1, с. 68].

## 2. Филлмор и его инструменталис

Филлмор в одном из вариантов своей теории глубинных падежей выделяет инструменталис в качестве особого глубинного падежа, иллюстрированного предложением *Ключ открыл дверь*. Он несомненно прав, утверждая отличие такого инструменталиса от падежа деятеля в предложении *Джон открыл дверь*. Но ближе этого различия он не касается. Между тем сформулировать разницу между этими падежами не так уж легко. Конечно, *Джон открыл дверь* это не то, что *Ключ открыл дверь*, но и не то, что *Джон открыл дверь ключом*. В последнем предложении *Джон* — это агенс, *ключом* — это инструменталис, а *открыл* — глагол действия. Но чем же тогда отличается слово *ключом* в этом предложении от слова *ключ* в предложении *Ключ открыл дверь* и как различить функции глагола *открыл* в одном и другом случаях?

Как мне представляется, в предложении *Ключ открыл дверь ключ* не инструменталис, а глагол *открыл* не просто глагол действия. Ср.: *Возвращаясь домой, я обнаружил вдруг, что потерял входной ключ. Обойдя соседей, я пытался подобрать подходящий ключ. В одной квартире я подобрал похожий по виду ключ и, представь себе, ключ открыл дверь*. Здесь «открыл дверь» означает: «ключ оказался способным открывать мою дверь», или, точнее, «ключ подошел к моему замку». Фраза *Ключ открыл дверь* ближайшим образом означает здесь «ключ соответствовал замку в моей двери». Анализируемое предложение, таким образом, выражает здесь, что найденный ключ и замок составляют единое целое, что найденный ключ — это аналог или дубликат моего ключа, что это, в сущности, ключ для моего замка. «Ключ» здесь не инструменталис, а деталь данного устройства, необходимо соответствующая замку по форме и размеру. Фраза *Ключ открыл дверь* выражает здесь событие, представляющее интерес не как таковое, а как экземплификация факта соответствия ключа данному замку. Следовательно, семантико-синтаксический анализ фразы должен производиться на базе текста. В приведенном тексте отчетливо видно, что тематизация слова *ключ* не случайна. Если говорящий предпочел сказать *Ключ открыл дверь* вместо *Джон открыл дверь ключом*, то для этого у него были основания. В произнесенной фразе скрывается мысль: «В принципе ключ этот мог бы и не открыть двери, так как это был не обычный ключ от этого замка, которым я всегда пользуюсь, а случайно лишь по внешнему виду подобранный ключ». Дело, таким образом, заключалось в том, подойдет ли ключ к замку или нет. Оказалось, что подошел. Итак, все дело, в ключе, и сообщается именно этот факт, а не то, что Джон открыл дверь. Произнесенная фраза, собственно говоря, является заключением о соотношении данного ключа с дверным замком, заключением, основанным на житейском эксперименте. Фраза *Джон открыл дверь этим ключом* была бы умест-

на в случае, если бы другие также пытались открыть дверь этим ключом, но в силу их физической слабости или неумелости не сумели этого сделать.

Значит ли сказанное, что семантико-синтаксический анализ предложения и отдельных его членов, глубинных падежей и т. п. должен производиться на основе текста? Такой вывод представляется несколько упрощенным. Думается, что в данном случае дело не в особом глубинном падеже и какой-то специфической функции аргумента, а в чем-то другом, — именно, в контекстуальной функции предложения. Предложение подводит здесь итог маленькому житейскому эксперименту, который должен установиться, подходит ли случайно подобранный ключ к дверному замку. Только этот факт оно и выражает. Это суждение об определенном ключе и его отношении к вполне определенному замку.

Этот небольшой пример позволяет высказать некоторые соображения о структуре текста. Всякий текст состоит из ряда предложений, каждое из которых отражает определенное событие. Далеко не всякое событие, предполагаемое данным текстом, находит в нем прямое отображение. Границы событий в реальной действительности текучи, и при построении текста мы ограничиваемся выделением лишь существенных точек в цепи событий, не стремясь к подробному выявлению малейших звеньев. Так, в предложении *Джон открыл дверь* может содержаться имплицитно и мысль «Джон отпер ключом замок и открыл дверь», а за предложением *Джон отпер ключом замок* может скрываться и тот факт, что Джон до того порылся в кармане своего пиджака и вытащил ключ и т. д. Рассказчик обычно проходит мимо многих подробностей, представляющихся ему незначительными и несущественными с точки зрения хода повествования. Изложение, следовательно, отличается эластичностью и в известных границах может ужиматься либо растягиваться. Умелый отбор узловых точек и соотносительное определение степени развернутости изложения определяют во многом речевые качества говорящего. Все это не останется без последствий для внутреннего строя отдельных предложений.

Необычное построение предложения *Ключ отпер дверь* является следствием «возмущающего влияния» структуры текста на предложение. Здесь, как выяснено выше, все дело в свойствах ключа и его отношении к замку. Именно поэтому реальный субъект, лицо, действующее ключом и отпирающее замок может специально не упоминаться и даже не восстанавливаться из контекста. Синонимом такого предложения может быть предложение *Ключ подошел к замку* и с фигурой *toto pro parte* *Ключ подошел к двери*. В этом суть высказывания, которое может быть сформулировано разными путями.

Для грамматического анализа структуры предложения все это имеет немаловажное значение, но, как думается мне, не должно автоматически вести к конструированию все новых и новых глубинных падежей, как у Филлмора.

Рассмотренное предложение *Ключ открыл дверь* содержит подлежащее *ключ* при глаголе действия *открывать*. Глагол действия предполагает агенс, которым может быть только человек или активное существо. Поскольку в данном предложении в роли подлежащего выступает орудие или деталь устройства, то мы имеем перед собой случай нарушения правила. Все это показывает, что перед нами аномалия, нарушение правила. Но, нарушая господствующее в языке правило, такая аномалия сама по себе узаконена в языке в виде вторичного, подчиненного первому правилу. Отклонение от основного правила становится здесь показателем того, что

структура предложения претерпела существенные изменения и что функции аргументов соответственно сдвинуты.

Однако говорить в этих случаях о каком-то новом «падеже» или «роли», как это делает Филлмор, не приходится. Мы имеем теперь дело с возникновением конструкции, синтаксического оборота, который своей необычностью, нарушением нормы свидетельствует о том, что в содержании предложения имел место сдвиг, что предложение в целом выражает теперь факт соответствия детали устройства ее функции. Речь, таким образом, идет здесь не о новой синтаксической функции определенного члена предложения, а о значении целостной синтаксической конструкции.

### 3. К филлморовской теории падежей

Среди глубинных падежей Филлмора есть особый «падеж» — инструменталис, иллюстрируемый субъектом фразы *The key opened the door*. Рассмотрение этого примера приводит нас к выводу о том, что субъект, по мысли Филлмора, не является глубинным падежом и что определяющим в плане теории глубинных падежей является специфическая роль орудия в данной фразе. Но как определить эту роль? Она действительно специфична, но Филлмор, как мне представляется, не раскрывает или недостаточно четко эксплицирует эту роль. Экспликация этой глубинно-семантической функции, как мне представляется, может быть достигнута следующим путем. Конечно, предложение *Ключ открыл дверь* лишь в формальном плане дублирует предложение *Ваня открыл дверь*. В глубинно-семантическом плане речь идет о предложениях, которые либо по-разному выражают одну и ту же пропозицию, либо две разные пропозиции. В основе этих предложений может скрываться лишь сложный предикат «с помощью ключа отпереть дверь и открыть ее», либо же предикат «открыть незапертую дверь». Когда мы говорим *Ваня ключом открыл дверь*, то пресуппозицией является не только то, что дверь была закрыта, но также и то, что дверь была заперта на ключ. Эксплицитно такая пресуппозиция может быть развернута с помощью ряда предикатов «отпирать» и «открывать»: *Ваня сначала вставил ключ в замочную скважину, повернул ключ несколько раз (требуемое число раз) и затем открыл дверь*. Такая экспликация показывает, что отпирание является в данном случае лишь предварительной фазой открывания двери и что отпирание запертой двери является пресуппозицией открывания [для целей коммуникации (сообщения) это подразумевается]. Фаза несущественна, она может остаться не эксплицированной. Не эксплицированной может остаться и фаза открывания. Ср.: *Ваня отпер дверь и вошел в квартиру*, где пропущена фаза открывания двери.

Действие открывания запертой двери в целом предполагает ряд предикатов (вставить ключ в замочную скважину, поворачивать ключ, вытаскивать ключ из замка, поворачивать двери на 45 и более градусов, закрывать двери за собой и т. п.). В качестве аргументов таких предикатов здесь выступают (или могут выступать) ключ, замок (и отдельно замочная скважина), лицо, открывающее дверь, и т. п. В зависимости от степени экспликации сообщение может обнаруживать различные степени развернутости или соответственно свернутости. При этом актуальными могут оказаться различные моменты или звенья в содержании информации. Предложение *Ключ открыл дверь* выделяет определенную фазу в процессе открывания запертой двери, а именно фазу отпирания. Для того, чтобы выделить эту фазу из процесса открывания, нужны особые основания, а именно актуальность этой фазы с точки зрения дальнейшего повествова-

ния. Актуализация этих моментов может быть вызвана тем, что, скажем, агент вдруг обнаруживает отсутствие необходимого ключа, берет наугад другой ключ из связки и (о, счастье) неожиданно обнаруживает, что новый ключ открывает (т. е., точнее, способен отпирать замок). Фраза *Ключ открыл дверь* в данном смысле означает «ключ подошел к замку» и, в сущности, непосредственно выражает лишь удачное для его обладателя свойство ключа и, точнее, реализацию этого свойства.

Какую же «роль» выполняет слово *ключ* во фразе *Ключ отпер (открыл) дверь*? Это не просто роль инструмента, способствующего воздействию агента на объект воздействия. Это несколько более сложная и более тонкая роль, подразумевающая соответствие детали, приводящей механизм в определенное состояние, данному механизму. Под «ключом» здесь имеется в виду не просто инструмент, а специальный инструмент, приуроченный не просто к механизму, а к данному индивидуальному механизму и способный изменить состояние механизма в заданном отношении, ср.: ключ для того, чтобы завести часть (заводной ключ): ключ, чтобы подтянуть коньки и т. п. Предикат при таком «инструментализе» содержит в себе момент индивидуального соответствия данного ключа индивидуальному экземпляру механизма, а также пресуппозиции определенных механических «состояний», подразумеваемых в подвергающемся воздействию механизме. Из пресуппозиции о соответствии такого ключа определенным экземплярам механического устройства вытекает наличие в таком предикате семы «подходить» — «не подходить». Ср.: *Ключ не открывает замка; Ключ не от этого замка; Это именно требуемый ключ* и т. д.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Zimmermann I. Zur Problematik der Kasussemantik (anhand von Ch. J. Fillmore's «The case for cases») // BPTJ. 1973. Zesz. 31.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.

## СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ

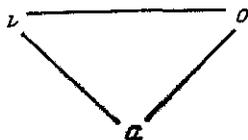
(К новым работам по американским индейским языкам бассейна Амазонки)

0. Проверка типологических обобщений на новом материале. Одной из важнейших проблем лингвистической типологии является обоснование доказательности выводов, сделанных на материале хорошо изученных языков (и диалектов), число которых не превышает нескольких сотен, что существенно меньше (примерно на порядок) числа (около 3—5 тысяч) всех известных языков (и диалектов). Из этого не очень представительного числа всех изученных языков в типологических обзорах нередко учитывают только часть. В частности, в известной фонологической базе данных Калифорнийского университета UPSID, на основании которой писалась монография Меддисона о типологии согласных (с главами Диснер о гласных [1]) и подготовлены последующие работы [2, 3], учитывается 317 языков (при этом в соответствии с идеей представленности в выборке только одного из близкородственных языков другие языки той же семьи не рассматриваются). Кажется уже поэтому важным соотносить выводы типологии с вновь получаемыми результатами описания.

В этом отношении особый интерес представляют новейшие исследования таких языков, которые в силу их труднодоступности и малой описанности почти или совсем не учитывались даже в недавно опубликованных типологических обобщениях. Привлечение этих новых данных позволяет проверить («фальсифицировать» в смысле логической теории) те выводы, которые были сделаны раньше. Ниже для сопоставления со сделанными ранее типологическими выводами использованы языки бассейна Амазонки (в известных отношениях рассматриваемые как единая языковая «зона» или «ареал», куда вошли языки разных семей).

1. Типология фонологических систем с минимальным числом сегментных единиц. Для фонологической типологии наибольший интерес представляет система сегментных фонем языка пирахан (около 110 говорящих вдоль реки Маини, семья мура, иногда предположительно включаемая в макросемью чибча; язык иногда называют мура-пирахан). Это, согласно наблюдениям Эверетта [4—7], язык едва ли не с наименьшим числом известных фонемных сегментных единиц — их всего 10 : 3 гласных и 7 согласных. Гласные образуют треугольник, хорошо согласующийся с выво-

дами общей фонетики и фонологии:



В этом треугольнике фонема /i/ имеет в качестве аллофонов различные гласные переднего ряда: [e], [ɛ] и т. п., а фонема /o/ реализуется как лабиализованный задний гласный верхнего подъема [u] в позиции после фонемы /h/. Поскольку число гласных фонем столь мало, возможны такие аллофоны, как назализованные, обнаруживающиеся факультативно у всех 3 гласных в позиции после фонем /ʔ/ (/x/ в обозначении Эверетта) и /h/.

Учитывая морфонологические чередования фонемы и ее палатального варианта, в системе 7 согласных (на 1 фонему больше, чем минимальное число, известное в UPSID) можно выделить 3 фонемы с такими чередованиями: /s/ (палатальный вариант [š] перед /i/), /t/ (палатальный вариант [tʃ] перед /i/), /h/ (палатальный вариант [kʰ] перед /i/, лабиовеларный вариант [kʷ] выступает вместо /h/ перед фонемой /o/). Остальные 4 согласных фонемы образуют две пары с противопоставлением глухих смычных и звонких или носовых сонантов: губные /p/ : /b/ (носовой вариант [m]) и негубные (глубокозаднеязычные — фарингальные) /ʔ/ (с факультативным вариантом [k]- в начале слова): /g/ (носовой вариант [ŋ]) Факультативное появление у вторых членов двух этих пар носовых вариантов (соответственно [m]- и [ŋ]-) обусловлено позицией в абсолютном начале синтагмы (после паузы). В других позициях (в частности, перед /o/) и в особых социолингвистических условиях у тех же двух фонем возможны факультативные аллофоны: вибранты — билабиальный [b] (ср. русск. *бrrrr...*, звонкое соответствие глухому звуку, известному, например, в русском междометии *тrrrr* [8]) и апико-альвеолярный/субламинально-лабиальный двойной ударный агрессивный звонкий латерализованный [ɹ], ранее ни в одном языке не встретившийся. «При образовании этого звука кончик языка касается краев альвеол и затем высовывается изо рта, почти касаясь верхней части подбородка, тогда как нижняя часть языка дотрагивается до пикной губы» [5]. Подобная фонетическая редкость вызывает изумление авторов последнего обзора звуков всех языков мира, затрудняющихся включить эту диковинку в свои общие таблицы [9]. Наличие таких необычных аллофонов в системе согласных с очень малым числом сегментных фонем представляет интерес и для проверки высказывавшейся в недавнее время точки зрения, согласно которой при наименьшем числе фонем из них чаще всего встречаются наиболее элементарные базовые [1, с. 11; 2, 3]. Уже было замечено, что это можно объяснить простыми статистическими соображениями [10]. Но вместе с тем очевидно, что при малом числе фонем теоретически возможно большое многообразие их вариантов-аллофонов. Этим можно объяснить и наличие столь экзотических вариантов у /ʔ/ в пирахан.

Первые (глухие) члены /p/, /ʔ/ двух пар согласных фонем, не входящих в морфонологические чередования по палатализации, отличаются также значительными возможностями факультативных чередований: /p/ может выступать в виде имплозивного /pɣ/ в некоторых диалектах, тогда как /ʔ/ выступает и в виде [k]- в начале слова. Поэтому для этих двух фонем в отличие от /t/ характерной можно считать глоттальную (ларингально-фарингальную) артикуляцию. При столь малом числе согласных фонем

естественно можно ждать большого числа факультативных вариантов. Неожиданным и поэтому особенно примечательным представляется то, что эти варианты либо представляют собой чрезвычайно редкие звуки (как вариант [j]), либо совпадают у разных фонем пирахан. Так, звук [k] может быть аллофоном фонем /p/ (ср. варианты /<sup>h</sup>paɪ/ ~ [paɪ] «голова»), /t/ (варианты [ko<sup>h</sup>otai] ~ [ko<sup>h</sup>okai] «желудок», где возможен и вариант [ko<sup>h</sup>orai], вероятно, следствие диссимиляции?), /<sup>h</sup>/ (в начале слова), /h/ (ср. варианты отрицания /hiaba/ ~ [kaba] «не»). Звук /s/ может быть аллофоном фонем /h/ (в конечных слогах имен существительных, ср. варианты /<sup>h</sup>apisi/ ~ [paɪhi] «рука») и /s/. Иначе говоря, противопоставления таких смычных фонем, как /p/, /t/, /<sup>h</sup>/, и таких спирантов, как /s/ и /h/, в значительном числе случаев нейтрализуется, что кажется трудно объяснимым именно при столь малом числе сегментных фонем.

В соответствии со сказанным система согласных может быть представлена следующим образом:

	Непалатализуемые		Палатализуемые шумные
	Смычные глухие (глоттальные)	Звонкие (носовые) вибранты	
Губные	/p/ ~ [p <sup>h</sup> ]	[b ~ m ~ ɸ]	
Негубные	/ <sup>h</sup> / ~ [k]	[g ~ n ~ ŋ]	/s/ ~ [ʃ] /t/ ~ [tʃ] /h/ ~ [k] ~ [s]

Система пирахан показывает, что для описания подобных языков с очень небольшим числом фонем учет факультативных аллофонов обязателен, иначе могут быть сделаны неверные обобщения: говорить о фонеме /b/ в пирахан было бы не вполне точно, т. к. она представлена и носовым аллофоном /m/, и вибрантом /h/. Именно неучет таких вариантов в UPSID привел к оспоренному выше выводу.

В более широком типологическом аспекте пирахан можно сопоставить с теми языками тихоокеанского ареала, где, как в айвском, австралийских и полинезийских языках, число согласных невелико. Отличие от всех этих (и от других амазонских) языков в пирахан могло бы состоять в категории звонких, но с учетом фонемных вариантов может быть типологически было бы правильнее сравнить пары фонем типа /p/ : /b/ ~ [m] в пирахан с парами типа /p/ : /m/ в аранта, где только в подобных парах Sommerfeldt [11] находил «пропорциональные оппозиции», хотя возможны и другие решения ([12]; предполагается большее число согласных в аранта, чем у Sommerfeldt, но в тексте статьи не доказан фонемный статус соответствующих единиц).

Аналогичны фактам аранта и (по предлагаемой интерпретации) пирахан пропорции /p/ : /m/, /k/ : /ŋ/ в разговорном варианте самоанского, сохраняющего всего 5 смычных и носовых, развившихся из 7 общеполлинезийских [13].

Особенно близкое сходство с составом согласных фонем и основных аллофонов пирахан обнаруживается из языков тихоокеанского ареала в айвском, где (как и в аранта по Sommerfeldt) общее число согласных фонем — 11, тогда как гласных 5 (кроме треугольника /i/ — /a/ — /u/, предполагающегося и в аранта, есть также /e/ — /o/ [14]). Согласно Поливанову, в основном следовавшему за Добротворским, но использовав-

шему кроме материалов Невского и собственные наблюдения (в частности, об имплозивном характере конечных смычных в абсолютном исходе слова<sup>1</sup>), в айнском есть следующие конечные согласные фонемы:

p	m	w	1
t	n	s	
č		š	
tr			
k		h	1

Другие описанные к настоящему времени языки Амазонки имеют относительно бедный состав гласных, лишь на пять — восемь фонем восходящий набор консонантизма пирахан: в апалаи (карибский язык севера Бразилии) 12 согласных фонем (глухие смычные /p/, /t/, /k/, /ʔ/, носовые /m/, /n/, глайды /w/, /j/, спиранты /s/, /z/, /š/, дрожащий /r/) [16], в канела (семья жé, центральное бразильское плато) тоже 12 согласных фонем (глухие смычные /p/, /t/, /k/, глухие придыхательные аффицированные /ts/, /kʰ/ при отсутствии как и в пирахан, лабиального члена этого ряда, лабиальный спирант /v/, палатальный спирант /j/ ~ [z], заднеязычный спирант [x], носовые /m/, /n/, /ŋ/, плавный /l ~ r/) [17], в гуаджаджара (семья тупи-гуарани, северо-восточная Бразилия) — 14 фонем (глухие /p/, /t/, /k/, /kʷ/, /ʔ/, носовые /m/, /n/, /ŋ/, /ŋʷ/, глайд /w/, спиранты /s/, /z/, /h/, дрожащий ударный /r/ [18, с. 437], в урубун-каапор (семья тупи-гуарани, северо-восток Бразилии) 15 фонем (смычные /p/, /t/, /k/, /kʷ/, /ʔ/, носовые /m/, /n/, /ŋ/, /ŋʷ/, спиранты /s/, /š/, плавный /r/, глайды /w/, /j/) [19]. Таким образом, разные языки этой фонологической зоны (за небольшими исключениями, к которым с оговорками по поводу звонкости относится пирахан) объединяются типологически (независимо от вхождения в ту или иную семью) отсутствием противопоставления по глухости — звонкости у смычных, обязательностью противопоставления по наличию или отсутствию назализации.

В отличие от пирахан большинство других языков Амазонки уравнивает бедность консонантизма относительным богатством гласных фонем: в апалаи их 12 (6 носовых: /i/, /i/, /u/, /e/, /a/, /o/, 6 носовых: /ĩ/, /ĩ/, /ũ/, /ẽ/, /ã/, /õ/), в урубун-каапор тоже 12 носовых и носовых, точно те же, что и в апалаи, в канела 17 (3 передних неогубленных носовых /i/, /e/, /e/, 2 носовые /ĩ/, /ẽ/, 3 задних неогубленных носовых /y/, /y/, /ã/, 2 носовые /š/, /ã/, 3 задних огубленных носовых /u/, /o/, /o/, 2 носовые /ũ/, /õ/, 1 среднего ряда носовая /a/, 1 носовая /ã/).

В пирахан, как и в айнском (по Поливанову), бедность фонемного сегментного состава возмещается наличием тонов (двух фонологически значимых, дающих четыре фонетических варианта) и относительной длиной слогового состава словоформы, часто трехсложной (*ʔibogi* «молоко», *ʔápišo* «кора»), но нередко доходящей до пяти и более слогов (*tiobáhai* «ребенок», *giopaiʔi* «собака», *kapióʔio* «другой», *ʔabagisoʔaoʔoisai* «пила», *ka.pii.ga.ii.to.ii* «карандаш» [20, 21]. Относительно большая длина словоформ отмечается и в других языках зоны Амазонки, где несколько гласных используется в сочетаниях типа апалаи *oeonary* «твой нос» и т. п. Таким об-

<sup>1</sup> Небольшой раздел книги безвременно умершего талантливого исследователя айнского языка Добротворского (врача по образованию), посвященный обоснованию предложенной им для этого языка орфографической системы на основе русской графики [15, с. 54—68], представляет собой удивительный для своего времени пример использования подхода, предвосхищающего фонологический, в сочетании с дельными замечаниями об акустической и артикуляционной сторонах произношения айнских звуков.

разом, в общем виде подтверждается выводимая на основе теоретических предположений и подкрепляемая данными полинезийских языков обратная зависимость между величиной фонемного инвентаря и длиной слова [22, 23].

2. Отличия глагола от имени и их соотносительный удельный вес в системе и в тексте. Особый интерес представляют языки Амазонки для исследования типологии удельного веса глагола по сравнению с именем. В общем виде остается верным наблюдение, сформулированное еще Сеширом [24] и позднее рядом других типологов [25—28] об универсальности самого различия между глаголом и именем, что согласуется и с выводами общей грамматики [29—31]. Но если при этом в некоторых языках и языковых семьях Старого Света предполагается возрастание удельного веса именных конструкций по направлению к древности (ср., в частности, возможность сведения исходных праформ личных глагольных конструкций к притяжательным [32], то в языках зоны Амазонки отмечается, наоборот, значимость глагольных форм в тексте, делающая избыточным употребление именных форм. В качестве одной из основных типологических характеристик языков амазонской зоны (в особенности аравакских, в гораздо меньшей степени пирахан) указывается выражение в глагольной личной форме субъектно-объектных отношений, что совмещается с отсутствием особых субъектных и объектных местоименных словоформ [33—34]. Поэтому появление особых именных конструкций в функции субъекта или объекта в основном отмечается лишь в тех случаях, когда оно требуется отношениями между данным и новым (темой и ремой). Для всех предандийских аравакских языков общей типологической чертой является их «в высокой степени глагольная природа. Не только встречаются длинные цепочки глагольных суффиксов, но в повествовательных произведениях устного творчества отношение глаголов к именам и самостоятельным местоимениям составляет 4 : 1. Аффиксы, обозначающие лицо при глаголе, часто представляют собой единственные явные указания на участников действия» [35, с. 568]. ...«Один глагол часто содержит такую информацию, для передачи которой в некоторых других языках потребовалось бы довольно длинное предложение» [35, с. 605], ср. в ашанинка (предандийский аравакский язык подгруппы кампа в Перу в бассейне реки Укаямия и в Бразилии) *no-ne-went-a-ye-we-t-an-ak-a-ri-mra* «мы видели на расстоянии, как они уходили, где *no-* 1-е л., *-ne-* — глагольная основа «видеть», *-went-* — обозначение удаленного предмета, *-ye-* — мн. ч., *-an-* передает аблативное значение, *-ak-* — перфективный вид, *-a-* (после *-ak-*) — обозначение возвратности в глагольной форме небудущего плана, *-ri-* — 3-е л. м. р., *-mra* — дубитативность (*-a-* между *went-* и *-ye-* и *-t-* между *-we-* и *-an-* имеют морфонологическую функцию эпентезы), т. е. один лексический морф сочетается с 9 грамматическими (1 префиксом и 8 суффиксами); в амуэша (предандийский аравакский язык в Перу) *θ-omaz-am<sup>y</sup>-e<sup>t</sup>-amp<sup>y</sup>-es-y-e<sup>s</sup>-n-e<sup>n</sup>-a* «они спускались по реке на лодке в позднее время дня, часто останавливаясь по дороге» [35, с. 582, фраза 60], где *θ-* — нулевое обозначение 3-го л., *omaz-* глагольная основа «спускаться вниз по реке», *am<sup>y</sup>-* — дистрибутивность, *amp<sup>y</sup>-* — передает функцию «глубинного» дательного, *-y-* — мн. ч., *-n-* обозначение позднего часа, *-e<sup>n</sup>-* — прогрессивный вид, *-a-* — возвратность, остальные элементы имеют функцию эпентезы, т. е. один лексический морф сочетается с 7 грамматическими; в пиро (предандийский аравакский язык Перу) *θ-yoki-xra-hima-na-t-ka-n'a* «говорят, что их, к несчастью, стерли в порошок» [37, с. 87], где *θ-* — нулевое обозначение 3-го л., *-yoki-* — глагольная основа «раздолбить», *-xra-*

«паста, порошок», *-hita-* — пересказывательность, *-na-* — временное значение, *-ka-* — пассив, *-n'a-* — мн. ч. — обозначение действия во вред. В приведенных примерах мысль целиком выражена глагольной формой и необходимости в использовании отдельных именных или местоименных словоформ не возникает. В тех же случаях, где такая потребность возникает, как в текстах на апалаи, почти в половине переходных конструкций отсутствует либо именное обозначение объекта и субъекта, либо именное обозначение субъекта [16, с. 34]. В гуаджаджара (семья тупи-гуарани, северо-восточная Бразилия) [18, с. 429—431] преобладание глагола связано с отсутствием выражения субъекта в именных формах в 90% случаев и объекта в 65% случаев в тексте.

В ягуа (последний сохранившийся язык почти вымершей семьи пеба-ягуа в северо-восточном Перу) соответствующие цифры составляют 70% и 63%. Поэтому утверждается, что «основным типом предложения в ягуа является глагол с окончаниями и ничего кроме этого» [38, с. 441], но ср. примеры именных конструкций с глаголом [39]. В агуаруна (группа хиваро в Перу, северо-западная часть бассейна Амазонки) в 4 текстах общим объемом 408 предложений только 1,3 из каждых 4 предложений содержала по одной именной конструкции или местоимению и общее отношение числа именных конструкций к глаголам составляет 1,5 : 4 [39].

Основная структурная роль глагольной словоформы в предложении в аравакских и некоторых других амазонских языках связана с обилием грамматической информации, выражаемой в этой форме посредством агглютинативной цепочки аффиксов (обычно суффиксов). Для амуэша предполагается не менее 33 рангов в ранговой грамматике, описывающей такие цепочки; для других аравакских языков выделяется от 10 до 20 рангов, но отличие аффикса от частицы не вполне ясно (ср. о урубун-капор [19, с. 385]).

В предандийских аравакских языках обилие модальных глагольных суффиксов делает необязательным использование отдельных наречий. Чрезвычайно любопытной чертой представляется почти полное отсутствие временных различий (если не считать будущего, часто имеющего, как в амуэша, значение намерения и поэтому приближающегося к модальным морфемам). Там же, где они есть, они могут выражаться по отношению ко всему предложению или вспомогательному глаголу (а не внутри обычной цепочки глагольных аффиксов). Наличие видовых и других грамматических уточнителей количества и качества действия при слабой выраженности собственно временных различий заставляет вспомнить о той картине мира, которую для северно-американских индейских языков предположил Уорф. Хотя его построения в отношении языка хопи во многом пересмотрены и уточнены на основе корпуса недавно записанных текстов, тем не менее остается несомненным, что время в хопи (как и в аравакских и некоторых других американоиндейских языках) не выражается теми грамматическими средствами, которые привычны для языков Европы [40, 41].

Из особенно наглядных сходств в отношении типологии таких глагольных выражений в хопи и амазонских языках, которым соответствуют именные конструкции в большинстве языков Старого Света, представляется существенным практически совпадающий тип глаголов, обозначающих обладание каким-либо предметом: в хопи глаголы с суф. *-ta*, мн.ч. *-yngwa* : *tavo-ta* «иметь собачку», *siva-y'ta* «иметь деньги» [40, с. 132—175], в аравакских языках (и в прааравакском [42, с. 164—165] глаголы с аффиксом, восходящим к прааравакск. *\*ka-/\*kV-*, имеющим значения «гла-

голивания» обладаемого предмета: паумари аравакский язык в штате Амазонка в Бразилии в бассейне рек Пурус и Тамауа) 'o-ka-paha-ki-ho «у меня есть вода», терена (аравакский язык в штатах Матто Гроссо до Сул и Сано Пауло) ko-xe 'xa-ti «у нее есть сыновья» (так же строятся и глаголы со значением каритива) [34, с. 564].

Если в подобных случаях глагольный аффикс (обладания или лишения) имеет функцию «отглаголивания» («вербализатора») по отношению к именным основам, обозначающим соответствующие предметы, то в очень большом числе случаев в функции имен используются глагольные основы, снабженные аффиксами-номинализаторами. В этом отношении выводы, касающиеся аравакских и других амазонских языков, могут быть сопоставлены с результатами, полученными ранее при анализе нутка, квакиутль и салишских языков в Северной Америке [25; 26; 27, с. 706, 745]. Хотя эти результаты и использованы для подтверждения универсальной значимости различения глагола и имени, по отношению к описываемым американским индейским языкам они важны вместе с тем и как свидетельства продуктивности именных отглагольных производных.

Производящая роль глагола сказывается, в частности, в таких отглагольных названиях, где соединение глагольной основы с последующими аффиксами используется для номинации как основных явлений природы (амуэша *ñeñtʰ ye-so'y-oʰt-amp-e'n-eʰ* «то, которое нас освещает» = «солнце», где *ye-* 1-е л. мн. ч., *so'y-* глагольная основа «освещать», *-amp* — морф со значением глубинного дательного падежа, *-e'n* — морф прогрессивного вида, *eʰ* означает неспецифицированное лицо), как и новых технических достижений (ашанинка *ar-ako-mento-či* «вещь для людей, посредством которой летают» = «самолет», *ar-* «летать», *-ako-* — глубинный дательный падеж, *-mento-* — номинализирующий аффикс орудия, *-či-* — неспецифицированное лицо [43]; ср. другой тип названия от предикации признака к апалаи: *kae-no* «высокая вещь» = «самолет» от *kae-* «высокий» [16, с. 93].

Подобные названия, образованные от глаголов или прилагательных, часто имеют особый номинализирующий аффикс (обычно в конце): апалаи *xixi kuh-toro* «измеритель времени» = «часы» (номинализатор — *-toro*, глагольный корень *kuh-* «мерить»), канела *tep-pro-xà* «рыболовная сеть» (*tep-* «рыба», *pro-* «ловить», *-xà-* — номинализатор со значением «вещь, место, событие»), пирахан *ʔioʔbi ʔiboit-i-sai* «разрезатель ветра» = «пропеллер» (*ʔioʔbi* «ветер», *ʔiboit* «резать», номинализатор *-sai* [7, с. 277]), *ʔii kai-sai* «делатель вещей» = «завод», *gahio pi-ó ʔabaip-i-sai* «гидроплан» (*pi-* «вода», *abaip-* «сидеться»), ягуа *taari-myunáty-í* «предок» (*taariy* «давным-давно», *munátya-* «первый», номинализатор — *-í* [38, с. 443].

В аравакских и некоторых других амазонских языках номинализованные отглагольные формы очень широко используются в функции, соответствующей относительным и другим подчиненным предложениям в языках иного синтаксического типа, ср. урубун-капор *kwaraxi pe i-ho-hon-me'e u-hyk* «тот, кто повторно шел к Икоракки, пришел» (русским придаточным предложением переведена номинализация на *-me'e* от редуцированной формы глагола *hon-* «идти» с показателем 3-го л. *i-*), апурина (предандийский аравакский язык в бассейне реки Пурус в штате Амазонка) *ny-karota-kary u-txawa* «он — тот, кто меня ранил», терена *ápe hóyeno xúna-ti* «был человек, который был сильным» и т. п.

3. Типология порядка основных синтаксических единиц внутри предложения. По-видимому, с охарактеризованным выше преимущественно глагольным типом текста в таких амазонских языках, как гуаджаджара

и ягуа, связаны и существенные отличия этих (и некоторых других амазонских) языков почти от всех других ранее описанных языков мира по порядку следования V (глагола) и двух основных актантов — S (субъекта) и O (объекта). В языке, где, как в ягуа и гуаджаджара, отношения между последними выражаются преимущественно только внутри самой глагольной словоформы, самый этот вопрос по отношению к следованию слов в предложении (а не морфов внутри этой формы) мог бы показаться в известной мере псевдопроблемой и соответственно можно было бы думать о введении в типологию особого вида структуры: V (при нулевых значениях  $S \rightarrow \emptyset$ ,  $O \rightarrow \emptyset$ ). Однако общетеоретическая нежелательность этого радикального решения, которое бы очень затруднило типологические сопоставления ([34, с. 561; 38, с. 440, 458—459, ср., однако, там же, с. 453, 455—457: принятие «только V» как «немаркированного порядка»), приводит к попыткам определить взаимный порядок синтаксических элементов только на основании тех (маркированных и относительно редких) случаев, где есть хотя бы еще один из них, кроме V. Остается спорным с теоретической (и, в частности, со статистической) точки зрения самый принцип сопоставления таких выводов с теми, которые получены для языков, где обычно за основной принимается немаркированный порядок всех трех элементов (заметим, впрочем, что проблема альтернативного маркированного порядка встает и для этих языков [44, с. 311—312]). При таком подходе в гуаджаджара выявляется основной порядок слов VSO при возможности других порядков (VOS, SVO, SOV), хотя и в очень малом числе предложений (соответственно 4, 3, 2 в изученной выборке из 200 страниц текста). Другие же синтаксические характеристики гуаджаджара частично согласуются с порядком OV: наличие постпозиции (N-Postp), предшествования генитива в конструкции с именительным падежом (Gen-N), следование вспомогательного глагола за главным глаголом, предшествование нарицательного имени существительного-титла имени собственному, тогда как остальные синтаксические характеристики согласуются скорее с типом VO, в частности, порядок имя существительное — прилагательное (N — Adj). Это сочетание структурных характеристик сближает гуаджаджара (как и в еще большей степени некоторые другие центрально-бразильские языки, в том числе канела и мундуруку, входящий, как гуаджаджара, в семью туни-гуарани) с «баскским» синтаксическим типом (с признаками: OV, N-Postp, Gen-N, N-Adj). В этих центрально-бразильских языках, как и во многих австралийских «баскский» синтаксический тип совмещается с согласованием глагольных аффиксов по эргативному типу при отсутствии соответствующих (эргативного и абсолютного) падежных показателей [18, с. 414]. Вместе с тем сходный синтаксический тип обнаруживается в карибских и некоторых других южноамериканских индейских языках «амазонской зоны» [45, 34, с. 474, 560]. Поскольку типологические характеристики гуаджаджара отличаются от этих центрально-бразильских черт «баскского» типа, последовательно проведенного в мундуруку и канела, преобладанием порядка VSO в независимых предложениях, в этом последнем явлении видят вторичную инновацию [18, с. 415]. Сходное движение к языку типа VSO предполагается и для других амазонских языков, генетически (но не ареально) отличающихся от гуаджаджара. Язык ягуа, согласно этой реконструкции, вторично приобрел тот же набор характеристик, что и гуаджаджара, но двигаясь от другого исходного порядка элементов — возможно, \*SVO [38, с. 453]. Обнаруживаемое в настоящее время в ягуа, как и в гуаджаджара, сочетание порядка VSO с другими чертами «баскского»

типа противоречит универсальным импликациям, предложенным в недавнее время вслед за Гринбергом [46—48], и требует их пересмотра и более осторожного переформулирования.

Оба вывода, сделанных на основании анализа типа языков ягуа и гуаджаджара — независимость большинства характеристик центрально-бразильского варианта «баскского» сочетания признаков порядка других синтаксических элементов от порядка элементов S, V, O и вторичность порядка VSO (из \*SOV) в некоторых из амазонских языков — делаются и в исследованиях, посвященных языкам другой семьи — аравакской (амуша, группе кампа и языкам на территории Перу) [34, с. 472—474, 558—561]. При разнообразии порядка элементов S, V, O в разных аравакских языках обнаруживаются вероятные следы движения от порядка \*SOV к VSO (или SOV) [35, с. 636—637; 34, с. 559]. В отношении метода всех обозреваемых новейших исследований по аравакским и другим амазонским языкам следует особенно отметить то, что типологическая «дисгармоничность» предполагает следы изменения порядка элементов и дает основание для внутренней реконструкции направления этого движения. Иначе говоря, противоречия, обнаруживаемые при соотнесении данных этих языков с выводами синхронной типологии и ее импликациями, разрешаются благодаря введению диахронических гипотез, объясняющих дисгармоничность типа амазонских языков.

Другим существенным выводом, который оказалось возможным ввести в типологию порядка основных синтаксических элементов при изучении ее на амазонском языковом материале, явилось обнаружение целого ряда языков, в которых (вопреки обобщениям, проникшим уже даже в популярные руководства по лингвистике) не только O предшествует S и V, но, кроме того, O может занимать первое место в предложении [48—50; 33, с. 16—17]. Особенно существенно то, что в карибских и некоторых других амазонских языках обнаруживается движение в сторону порядка слов, характеризующегося вынесением объекта в начало. Из карибских к языкам этого типа в настоящее время бесспорно относятся апалаи, арекуна, хванакото, хишкарьяна, из языков семьи туши-гуарани — асурина, из восточнотуканских — южнобарасаносский, из группы чибча-терйбе, из других групп уарина (во всех перечисленных языках порядок OVS), из аравакских — апурина, из группы же — шаванте, из предположительной другой семьи — надеб и, возможно, ему родственный хупда (в последних языках порядок OSV); кроме того, к языкам с начальным O предположительно относятся и еще несколько амазонских языков разных семей; в амазонской зоне есть, наконец, три языка типа VOS (в том числе упоминавшийся выше терена). Этот последний тип встречается еще в Мексике, на Мадагаскаре и в западнотихоокеанском ареале, тогда как типы OVS и OSV до настоящего времени известны преимущественно в амазонском ареале. Многообразие возможностей перестановок внутри группы из этих трех элементов составляет отличительную черту языков амазонского ареала, в связи с чем понятна исключительная важность этих данных для типологии, порядка этих элементов — указанная типология изучалась ранее без учета амазонских языков, что потребовало внесения существенных исправлений в предложенные типологические обобщения.

4. Типология эргативности в синхронии и диахронии. При внутренней реконструкции причин того изменения, вследствие которого гуаджаджара отклонился (благодаря \*развитию порядка \*OV → VO) от центрально-бразильского варианта «баскского» типа, предполагается, что это изме-

нение было связано с началом отхода от эргативности [18, с. 415]. В настоящее время в гуаджаджара сосуществует эргативно-абсолютивная система местоименных префиксов А (*he-kisi takihe- rure aʔe* «меня — порезал ножа — посредством он») и номинативно-аккузативная система В (*a-esak-kakwez kaʔi ihe* «я — вижу в далеком засвидетельствованном прошлом обезьяну я»). Предполагается, что вторая система (как и во многих других амазонских языках, постепенно отходящих от эргативности) является результатом инновации, приведшей и к перестройке порядка слов. Первая система (А) глагольных префиксов используется и при глаголах, действие которых не контролируется волей субъекта (*he-rurywate ihe* «я — счастлив — я»), тогда как вторая система (В) используется при глаголах, обозначающих контролируемое действие (*a-zen* «я — бегу»). «Расщепление» (или ветвление, т. е. выбор) по одной из этих систем глагольных префиксов зависит также от ранга субъекта (или объекта) в независимом предложении с переходным глаголом и от некоторых других синтаксических факторов. Такое «расщепление» противоречит некоторым из обобщений, предложенных ранее [51] в работах по общей теории эргативности [18, с. 424—425]. Хотя гуаджаджара принадлежит к числу языков, выражающих, как и те австралийские, на материале которых преимущественно основывался Диксон, эргативность с помощью связанных глагольных аффиксов и свободных частиц, распределение функций между этими грамматическими элементами в гуаджаджара противоречит выводам Диксона [18, с. 725]. Любопытной чертой системы «расщепленной эргативности» в гуаджаджара является отличие использования двух систем префиксов в независимом и зависимом предложениях, которые противопоставлены и по порядку следования элементов. Именно это и использовано при внутренней реконструкции [18], допускающей сохранение в зависимых предложениях более архаичного порядка элементов, связанного с эргативностью (к сохранению синтаксических архаизмов в подчиненных предложениях могут быть приведены типологические параллели из таких индоевропейских языков, как древнеиндийский).

Сосуществование эргативной системы именных флексий (с показателем эргатива *-a*) и аккузативной (с показателем объекта-данного или «темы» *-ra*) отмечается в бразильском аравакском языке паумари [34, с. 497—500], где есть основание предполагать, как и в гуаджаджара, связь эргативности с более ранним порядком слов, меняющимся при движении к типу SVO при отходе от эргативности [34, с. 559]. Следовательно, предполагаемые пути преобразования эргативности и порядка основных синтаксических элементов сходны в разных амазонских языках независимо от их генетической принадлежности.

**5. Некоторые выводы.** Рассмотренные новые исследования по типологии амазонских языков представляют интерес особенно в трех отношениях. Во-первых, они показывают, что стремление представить типологические обобщения в виде строгих логических импликаций (типа: если SVO, то N-Adj), которое велел за Грипбергом было и у других исследователей [47, 48], скорее должно смениться более осторожными вероятностными универсалиями. При этом следует иметь в виду, что целый набор синтаксических характеристик (SVO, N-Postp, Gen-N, N-Adj) может в целом (независимо от его логической взаимообусловленности) функционировать как «вектор», характеризующий некоторый ареал (в данном случае — центрально-бразильский и/или амазонский). Во-вторых, отступления такого «вектора» от отношений логической импликации объясняются разными диахроническими путями развития данной типологической харак-

теристики, в частности, тем, как языки приобретают показатели эргативности — из аффиксов имени (как многие языки Старого Света) или из местоименных морфов (включаемых в глагольную форму, ср. типологию одного из двух спряжений в кетском и других сибирских языках, что отражается и на их типологии [18, с. 428]). Сходным образом в фонологической типологии тонов существительным оказывается разное их происхождение [52]. В-третьих, приобретаемые всеми (или многими) языками данной «зоны» (языкового союза в широком смысле) черты становятся приметами этой зоны, как недавно особенно убедительно показано на примере среднеамериканской «зоны» [53]. Некоторые из черт, определяющих тип такой широкой зоны, как среднеамериканская, повторяются в качестве примет языковой «зоны» и в условиях другого пространства — времени. Так, использование относительных имен в конструкциях с притяжательными местоименными аффиксами для выражения пространственных отношений (типа мам *n-xaq'-a* «подо мной = моя нижняя сторона» [53, с. 545—546]) составляет отличительную черту как среднеамериканской «зоны», так и ряда древнеближневосточных языков (древнехеттского, старохурритского, староаккадского [32, с. 138]), с этой и с других точек рассматриваемых как входящие в единый ареал. Любопытно, что в последних обнаруживается и наличие эргативности как ареальной черты при различии в способах ее выражения (хеттский «эргатив» на *-ant-* в недавно обнаруженной хурритско-хеттской билингве, переводящий хурритские формы эргатива на *-še*, при лувийском эргативе на *-ša*, для которого предположена прямая связь с хурритским). В последних сводных описаниях амазонских языков эргативность (с позднейшей тенденцией к отходу от нее) выдвигается (наряду с другими отмеченными выше грамматическими характеристиками) в качестве приметы всего ареала Амазонки [33, 34]. Поэтому возможно, что и наличие эргативности и/или активности в таких языках, как австралийские [12, 51] и древнеближневосточные, должно рассматриваться не столько как свидетельство их относительной (стадиальной) архаичности или абсолютной древности во временном плане, но и как пространственная характеристика целой большой зоны в определенный период времени. Вместе с тем возникает вопрос и о числе признаков, необходимом для выделения подобных больших зон. В недостаточно оцененной работе Мейссена вслед за Гринбергом и Ларошеттом были намечены (на наш взгляд убедительно) на разных уровнях (от фонологического до лексико-семантического) признаки африканской «зоны» языков [54]. Кажется весьма возможным, что по мере выявления таких зон, охватывающих очень большие территории, например, Индийский субконтинент у Эмено и Тего последователей вплоть до целых континентов, больше внимания привлекут и ранние наблюдения Боаса (в последних американских публикациях забытые!), и идея «евразийского языкового союза» Якобсона и сходные мысли Е. Д. Поливанова о языках Средней Азии, и высказанные под влиянием Трубецкого соображения Э. Леви [55, 56] о типологии языков Европы и некоторых других зон. По отношению к таким объединениям языков, фигурировавших в прежних генеалогических классификациях, как палеозиатские («палеосибирские»), или «иберийско-кавказские» (включающие языки разных семей), их переосмысление как типологически единых зон, а не семей, кажется вполне реальным (хотя аналогичный опыт Трубецкого, изучавшего индоевропейский в его отношении к другим географически смежным языковым семьям, и остается пока без продолжения); между тем в духе идей Э. Леви можно было наметить географическую типологию во всяком

случае некоторых признаков, таких, как префиксальность — суффиксальность, по которым противопоставляются целые группы не только современных языков, но и праязыков на территории Евразии и Африки, где образуются «сети» по терминологии Трубецкого [57]. В других случаях, как в Австралии, вероятно вторичное образование типологических «зон» внутри семьи (отдаленно) родственных языков. В случае Амазонии это, по-видимому, не так, потому что характерные признаки амазонских языков обнаруживаются у некоторых карибских, по Мэттсон не входящих в принимаемую ей (а в последнее время — в несколько ином варианте и Гринбергом) америндейскую макросемью. Наоборот, отмечаемая Дербишайром [33] древность культуры амазонского ареала в сочетании с общекультурологическим тезисом о связи ранних земледельческих культур с бассейнами великих рек позволяет поставить вопрос о следах взаимодействия и креолизации языков в пределах древнеамазонской единой культуры, что, однако, нуждается в археологической проверке.

Таким образом, при достаточно сложных переплетениях и пересечениях генеалогической, ареальной и чисто типологической классификации языков за каждой из них остаются свои права. Но в последнее время все более важным представляется выделение таких типологических черт и их совокупностей, которые (как отмеченный центрально-бразильский вариант «баскского» типа или как начальное положение O в группе типа OSV) однозначно характеризуют одну определенную зону и позволяют на фоне ее общей синхронной характеристики наметить и возможные пути типологического преобразования входящих в нее языков разных семей в диахронии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Maddieson I. Patterns of sounds. Cambridge, 1984.
2. Lindblom B. Adaptive variability and absolute constancy in speech signals: two themes in the quest for phonetic invariance // Proceedings of the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. August 1—7, 1987. V. 1—6. Tallinn, 1987. P. 16.
3. Lindblom B., Maddieson I. Phonetic universals in consonant systems // Language, speech and mind / Ed. by Hyman L. M. and Li C. N. Croom Helm, 1988.
4. Everett D. Some remarks on minimal pairs // Notes on linguistics. 1982. V. 22.
5. Everett D. Phonetic rarities in Piraha // Journal of the International Phonetic Association. 1982. V. 12.
6. Everett D. Sociophonetic restrictions on subphonemic elements in Pirahã // Proceedings of the X International Congress of Phonetic Sciences / Ed. by Cohen A. and Van der Broecke M. P. H. Amsterdam, 1984.
7. Everett D. Piraha // Handbook of Amazonian languages / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. 1. Berlin — Amsterdam — New York, 1986.
8. Поливанов Е. Д. Введение в языковедение для языковедных вузов. Л., 1928. С. 158.
9. Ladefoged P., Maddieson I. Some of the sounds of the World's languages // UCLA Working papers in phonetics. 1986. 64. P. 8.
10. Bell A. // Language. 1986. V. 62. № 4. P. 901. Rec.: Maddieson I. Patterns of sounds. Cambridge, 1986.
11. Sommerfelt A. Le système phonologique d'une langue australienne // TCLP. 1939. 8. P. 210.
12. Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языковедение. Л., 1986. С. 216—220.
13. Schukmacher W. Beiträge zur Synchronie und Diachronie austronesischer Sprachen. Der samoanische Reflex auf Urpolynesisch / ptk ʔmng // Acta Orientalia (Hafniansia). 1972. V. XXXIV.
14. Поливанов Е. Д. Айнский язык (рукопись; ф. 623, оп. 1, ед. хр. 103, л. 130—132).
15. Добротворский М. М. Айнско-русский словарь. Казань, 1875.
16. Koehn E., Koehn S. Apalai // Handbook of Amazonian languages / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. 1. Berlin — Amsterdam — New York, 1986.
17. Popojes J., Popojes Jo. Canela-Krahô // Handbook of Amazonian languages / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. 1. Berlin — Amsterdam — New York, 1986. P. 183—189.

18. *Harrison C. H.* Verb prominence, verb initialness, ergativity and typological disharmony in Gua jajara // *Handbook of Amazonian languages* / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. I. Berlin — Amsterdam — New York, 1986.
19. *Kakumasu J.* Urubu-Kaapor // *Handbook of Amazonian languages* / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. I. Berlin — Amsterdam — New York, 1986. P. 399—400.
20. *Everett D. L.* Ternarity in Pirahã phonology // *Proceedings of the Eleventh International Congress of Phonetic sciences*. August 1—7, 1987. Tallinn, 1987. P. 105.
21. *Everett D., Everett K.* On the relevance of syllable onsets to stress placement // *Linguistic inquiry*. 1984. V. 15.
22. *Chao Yuen-Ren.* Meaning in language and how it is acquired // *Transaction of the Tenth Conference on cybernetics*. N.Y., 1955.
23. *Иванов Вяч. Вс.* Некоторые проблемы современной лингвистики // *Общее языковедение*. Хрестоматия. Минск, 1987. С. 31.
24. *Сенур Э.* Язык. М.—Л., 1934.
25. *Jakobsen W. H., Jr.* Noun and verb in Nootkan // *The Victoria conference on North-western languages* Ed. by Efrat B. S. Victoria, 1979.
26. *Hébert Y.* Noun and verb in Salishan language // *Kansas working papers in linguistics*. 1983. V. 8.
27. *Hopper P. J., Thompson S. A.* The discourse basis for lexical categories in universal grammar // *Language*. 1984. V. 60.
28. *Hopper P., Thompson S. A.* The iconicity of the universal categories «noun» and «verb» // *Iconicity in syntax* / Ed. by Haiman J. Amsterdam, 1985.
29. *Robins R. H.* Noun and verb in universal grammar // *Language*. 1952. V. 28.
30. *Langacker R. W.* Nouns and verbs // *Language*. 1987. V. 63.
31. *Hagège C.* L'homme des paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines. 2-me éd. La Flèche (Sarthe), 1986. P. 174—188; 260—269.
32. *Иванов Вяч. Вс.* Типология посессивного спряжения и посессивного типа конструкции // *Славянское и балканское языковедение*. Проблемы диалектологии. Категория посессивности М., 1986.
33. *Derbyshire D. S., Pullum G. K.* Introduction // *Handbook of Amazonian languages* / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. I. Berlin — Amsterdam — New York, 1986. P. 19.
34. *Derbyshire C. D.* Comparative survey of morphology and syntax in Brazilian Arawakan // *Handbook of Amazonian languages* / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. I. Berlin — Amsterdam — New York, 1986. P. 473.
35. *Wise M. R.* Grammatical characteristics of pre-Andine Arawakan languages in Peru // *Handbook of Amazonian languages* / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. I. Berlin — Amsterdam — New York, 1986.
36. *Kindberg W.* Campa (Arawak) morphology // *A William Cameron Townsend en el vigésimo-quinto aniversario del Instituto Lingüístico de Verano*. Mexico, 1961. P. 527.
37. *Matteson E.* The Piro (Arawakan) language. Berkeley — Los Angeles, 1965.
38. *Payne D. L.* Basic constituent order in Yagua clauses: implications for word-order universals // *Handbook of Amazonian languages* / Ed. by Derbyshire D. S. and Pullum G. K. V. I. Berlin — Amsterdam — New York, 1986.
39. *Payne D. L.* Noun classification in Yagua // *Noun classes categorization*. Proceedings of a symposium on categorization and noun classification. Amsterdam — Philadelphia, 1986. P. 458.
40. *Stahlschmidt A.* Das Verbalsystem des Hopi. Eine semantische Strukturanalyse der Hopi-Grammatik unter besonderer Berücksichtigung von B. L. Whorfs Thesen zur Zeitauffassung der Hopi-Indianer. Kiel, 1983.
41. *Malotki E.* Hopi time. A linguistic analysis of the temporal concepts in the Hopi. Berlin — New York — Amsterdam, 1983.
42. *Matteson E.* Proto-Arawakan // *Comparative studies in Amerindian languages* / Ed. by Matteson E. The Hague, 1972.
43. *Kindberg W.* Diccionario asháninka. Pucallpa, 1980. P. 577.
44. *Watkins C.* Towards Proto-Indo-European syntax: problems and pseudo-problems // *Papers from the parasession on diachronic syntax* / Ed. by Stever S. B., Walker C. A. Mufene S. S. Chicago, 1976. P. 311—312.
45. *Derbyshire D. S.* Hixkaryana and linguistic typology. Dallas (The Summer Institute of linguistics and the University of Texas at Arlington), 1985.
46. *Hawkins J.* Implicational universals as predictors of word order change // *Language*. 1979. V. 55.

47. *Hawkins J.* On implicational and distributional universals of word order // *Journal of linguistics*. 1980. V. 16.
48. *Hawkins J.* Word order universals. N. Y., 1983.
49. *Pullum G. K.* Object-initial languages // *IJAL*. 1981. V. 47.
50. *Pullum G. K.* Languages with O before S: a comment and catalogue // *Linguistics*. 1981. V. 19.
51. *Dixon R. M. W.* Ergativity // *Language*. 1979. V. 55.
52. *Maddieson I., Hess S. A.* The effect on Fo of the linguistic use of phonation types // *Proceedings of the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences*. August 1—7, 1987. Tallinn, 1987.
53. *Campbell L., Kaufman T., Smith-Stark T.* Meso-America as a linguistic area // *Language*. 1986. V. 62. N 3.
54. *Meussen A. E.* Possible linguistic africanisms // *Language sciences*. 1975. № 35.
55. *Lewy E.* Der Bau der europäischen Sprachen. Dublin, 1942. S. 12—13; 188; 613.
56. *Lewy E.* Kleine Schriften. Berlin, 1961.
57. *Грубецкой Н. С.* Избранные работы по филологии. М., 1987

СЕМЕНАС А. Л.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КИТАЕ \*

Состояние лексикологии. Возрождение лексикологии в Китае начинается с конца 70-х годов. В статьях, публикуемых в лингвистических журналах, отмечается, что в период «культурной революции» китайское языкознание находилось в состоянии полного застоя, не проводились научные исследования, не было контактов с учеными других стран. Именно этим объясняется то обстоятельство, что, несмотря на изменение общей ситуации в общественных науках в последние годы, еще не создано каких-либо новых концепций в лингвистике, ориентированных на китайскую действительность. Перед китайской наукой поставлена задача критически воспринять все, что было создано за это время зарубежной лингвистикой.

Вместе с тем для современной китайской лингвистики характерно стремление к творческим поискам, нетрадиционные подходы к решению проблем лексикологии. В статьях, лекциях, дискуссиях, книгах подчеркивается необходимость постановки новых проблем. Широта и глубина изучения языковых явлений сейчас превосходят тот уровень, который был до «культурной революции». Китайские лингвисты уже не замыкаются в рамках классификации и описания внешних сторон языка, пытаются вскрыть внутренние закономерности структуры и дать им теоретическое объяснение. В их работах говорится о важности комплексного многостороннего анализа явлений, раскрывающего внутреннюю связь различных сторон языка. Обогащению представлений об устройстве языковой структуры способствует знакомство с работами зарубежных ученых. В книгах и статьях китайских лингвистов встречаются имена таких ученых, как Ю. Найда, Ч. Филлмор, Дж. Лич, У. Чейф, Дж. Катц, Дж. Фодор, Ф. Пальмер, Дж. Лайонз, Л. Згуста. На китайский язык переведены труды советских ученых — Р. А. Будагова, В. Г. Гака, В. А. Звегинцева, В. М. Солнцева, И. Ф. Вардуля, Ю. В. Рождественского и др.

Характер задач, стоящих перед современными китайскими лексикологами, достаточно полно очерчен в статье видного китайского лингвиста Чжоу Цзумо [1]. По его мнению, работа должна вестись в трех направлениях:

- 1) разработка теоретических проблем — исходя из системного подхода; исследуя закономерности образования и употребления слов, заложить фундамент современной китайской лексикологии;
- 2) исследование практических вопросов преподавания лексикологии с целью повышения уровня лингвистической подготовки студентов;
- 3) изучение различных способов составления словарей в соответствии с потребностями общества.

\* При написании статьи использованы личные наблюдения автора во время научной командировки в КНР в 1985—1986 гг.

Долгое время в Китае недооценивалась теоретическая и практическая лексикология. Описание лексической семантики издавна было делом лексикографов, а они не всегда увязывали разработку словарного состава с постановкой и изучением теоретических проблем. Однако успехи лексикографического описания создали предпосылки для появления работ в области теоретической лексикологии. За последние несколько лет лексика в Китае стала объектом научного рассмотрения, появилась литература по проблемам, связанным с теорией и практикой изучения словарного состава языка. Наибольшее внимание привлек «Краткий очерк лексикологии» Чжан Юньяня (Учан, 1982), где автор подходит к изучению китайской лексикологии с позиций общего языкознания. Он вводит большой иностранный материал, сопоставляя лексические особенности китайского языка с соответствующими фактами двадцати языков, в том числе английского, немецкого, русского. При этом автор дает собственную интерпретацию ключевых вопросов лексикологии.

Исследование китайской лексики в связи с общеязыковыми проблемами, несомненно, способствует расширению и углублению проблематики лексикологических разработок. Ценность книги Чжан Юньяня состоит в том, что впервые в китайской литературе ставятся и обсуждаются многие вопросы, касающиеся закономерностей развития словарного состава, теоретических проблем общей лексикологии. В предисловии к книге Янь Сюэцзюнь (директор Института китайского языка при Центрально-китайском политехническом институте) отмечает, что она «может считаться введением в общую лексикологию, дающим ключ к пониманию проблем китайской лексикологии».

Чжан Юньянь выдвигает идею создания новейшей китайской лексикологии. Опираясь на методы современной науки, он вскрывает внутреннюю структуру слова, исследуя его со стороны формы и содержания, определяя положение слова в системе на основе парадигматических и синтагматических отношений с другими словами. Критическое восприятие идей зарубежных лингвистов и использование богатого фактического материала помогло автору по-новому взглянуть на проблемы лексикологии. В прежних лексикологических работах описание лексики обычно ограничивалось классификацией по разным признакам. Однако классификация — это еще не система. Автор идет дальше, он анализирует структурную организацию лексики и подходит к семантической системе как лежащей в основе лексической системы. Утверждение системного понимания лексики является достоинством данной работы.

Чжан Юньянь вносит новое и в вопросы изучения внутренней формы слова. Он объясняет случаи, когда одно понятие в различных языках передается словами разной внутренней формы, указывая на многообразие свойств и признаков предмета, которые лежат в основе его названия. Внутренняя форма помогает понять исходное значение слова, развитие его значений и связь между узуальными значениями.

Важные лексикологические проблемы затрагиваются в книге «Изучение вопросов лексикологии и лексикографии» [2]. Ее автор — видный китайский лексиколог Лю Шусинь, зав. кафедрой современного китайского языка Нанькайского университета в Тяньцзине. В ней рассматривается широкий круг вопросов — различие между синонимами и аналогами, установление словарных единиц и объем словника, понимание лексической системности, определение слова как лексической единицы, классовая окраска слов и выражений, части речи и толкования слов, принципы составления синонимических словарей и др. По мнению Лю Шусиня,

лексикология и лексикография — это две взаимосвязанные области лингвистической науки, объединенные общими проблемами. Отличительная особенность книги и одновременно ее положительное значение в том, что подход Лю Шусиня к лексикологии осуществляется через призму лексикографии. Автор не упрощает существа основных проблем, пытается решить их на основе собственной концепции.

Книгу отмечает внутреннее единство, связь теоретических положений и прикладных задач. Лю Шусинь уточняет границы лексики и ее состав. При определении понятия «слово» выясняются его существенные свойства и особенности. Автор исходит из критериев отдельности и тождества слова, его лексических и грамматических особенностей. Этот узловый вопрос ранее не находил удовлетворительного решения, что отражалось на качестве лексикографической работы. Лю Шусинь обращает внимание на то, что в ряде случаев формы слова даются в словарях отдельными статьями (например, форма удвоения или мн. числа существительного). Кроме того, единицы словаря иногда не являются лексическими единицами. На базе определений словарных статей автор изучает проблемы границ лексики и приходит к выводу, что лексические единицы как части языковой системы исчислимы, их объем может быть определен; речевые слова и свободные словосочетания не являются лексическими единицами; индивидуальная лексика и общая лексика не тождественны, поскольку первая может включать индивидуальные образования, не носящие общего характера.

Перед китайским языкознанием стоит задача повышения уровня преподавания и изучения китайской лексики. Для этого необходимы учебные пособия и материалы, которые соответствовали бы современным требованиям. В этой связи представляет интерес книга известных лингвистов У Чжанькуня и Ван Циня «Основы современной китайской лексикологии» [3]. Для нее характерен широкий охват лексикологических проблем. В качестве объекта лексикологии и основных единиц лексики авторы рассматривают не только слово и фразеологизм, но и морфему, исходя из того, что морфема — это строительный материал для слов. (Такого подхода придерживаются и некоторые другие лингвисты, в частности профессор Хань Жун, работающий в Педагогическом университете в Чанчуня.) Подобную точку зрения можно объяснить спецификой китайской морфемы, ее самостоятельностью, грамматической законченностью и семантической определенностью.

В книге «Основы современной китайской лексикологии» словообразование рассматривается как раздел лексикологии. Подробно описываются формальные модели различных типов словообразования, выявляются семантические отношения между компонентами сложных слов. Так, например, в атрибутивном типе сложения выделяются девять семантических подтипов на основе значения первого компонента, который определяет второй, характеризуя его с точки зрения времени, предназначения, орудия действия, места, формы, материала, профессии, цвета, положения в пространстве.

В 1985 г. издательство Пекинского университета выпустило учебник Фу Хуайцина по современной китайской лексике. В его основу лег курс лекций автора по лексикологии на факультете китайского языка и литературы. Учебник написан по традиционной схеме и состоит из десяти разделов. В первом — вводном — говорится о важности изучения лексикологии в теоретическом и практическом плане, излагаются вопросы определения слова, системности лексики, проявляющейся в типах струк-

тур, в словообразовательных элементах, в семантических связях слов. Второй раздел — «Слово и значение» — рассматривает проблемы знаковойности слова, взаимосвязи слова и понятия, понятийного значения, добавочного значения (образного, эмоционального, стилистического). Другие разделы книги имеют следующие названия: третий — «Обобщающий характер слова», четвертый — «Полисемия и омонимия», пятый — «Развитие значений слов», шестой — «Синонимы, антонимы, гипонимы», седьмой — «Состав современной китайской лексики» (по степени употребительности, времени происхождения, сфере употребления), восьмой — «Фразеологизмы, пословицы, поговорки и т. п.», девятый — «Отношения между значениями слова и значениями составляющих его компонентов», десятый — «Словари».

Фу Хуайцин не применяет такие современные методы исследования лексики, как компонентный анализ, который, по его мнению, подходит лишь для ограниченных групп слов. Единицей значения слова он считает его отдельное словарное значение. Особенностью учебника является широкое привлечение словарного материала, автор использует словарные толкования для того, чтобы показать закономерность связей между разными значениями и типы развития и изменения значений.

Лексикологических пособий и учебников в настоящее время в КНР немного. Однако заслуживает внимания раздел «Лексикология», помещенный в «Очерках по языкознанию», авторами которых являются Гэ И и Ван Чжэнькунь [4]. Он интересен попыткой по-новому подойти к описанию лексики, акцент сделан на лексических классах и группировках значений слов. В разделе лексики для анализа значений слов используется метод компонентного анализа.

Поиски новых подходов к изучению лексики характерны и для работ видных лексикологов и стилистов Ван Сицзе (Нанкинский университет) и Ван Дэчуя (Шанхайский институт иностранных языков). Они уделяют большое внимание изучению лексической семантики. Структурно-семантические модели сложных слов рассматривает в своих работах Жэнь Сюэлян (Ханчжоуский педагогический институт). Впервые системное описание многих семантических фактов китайского языка представлено в книге Цзя Яньдэ «Введение в семантику» [5]. Излагаемая им концепция разрабатывалась с учетом результатов исследований западных лингвистов.

Наряду с работами по теоретической лексикологии, в последние годы в Китае появилось много книг по практической лексикологии. Здесь прежде всего следует назвать учебник «Лексика», составленный Цзинь Шаочжи (издан Пекинским институтом языка в 1983 г.). Он предназначен для иностранных студентов II—III курсов и является самым полным из существующих специальных пособий по лексике. Главное внимание в учебнике уделяется таким вопросам, как структура слова, классификация словарного состава по происхождению, давности существования, сфере употребления, семантическим и грамматическим классам. Определенное место отводится синонимам, антонимам, фразеологизмам, пословицам, поговоркам и их роли в лексико-семантической системе китайского языка. В учебнике говорится также о нормализации лексики, правильном использовании слов и выражений, методике изучения слов. Кроме теоретических разделов, для выработки практических навыков и языкового чутья в него включены в большом количестве упражнения. В конце каждого раздела даны новые китайские слова, в приложении к книге — словарь китайских слов с их английскими, французскими, итальянскими и не-

мецкими эквивалентами. Иностранцы приобретают навыки правильного использования лексических средств и активного владения языковым материалом благодаря тому, что из 40 часов курса 20 отведено на лекции и 20 — на закрепление теоретического материала и практические занятия. Упражнения предлагают сопоставительный анализ письменных и устных текстов (например, в разделе «Синонимы и антонимы» приводятся тексты, где обучающиеся должны выбрать обоснованный вариант, указать различительные признаки синонимов, подобрать к приводимым словам антонимичные и т. п.).

В последнее десятилетие внимание китайских ученых все больше привлекает количественный анализ лексики, что обусловлено в первую очередь практическими нуждами: необходимо было отобрать наиболее частотные слова современного китайского языка и тем самым повысить эффективность преподавания, обеспечить качество учебных пособий, хрестоматий и справочников. Кроме того, возник вопрос об определении лексического минимума, необходимого иностранному студенту для обучения различным специальностям в китайских вузах (он был предметом длительного обсуждения не только среди преподавателей китайского языка в самом Китае, но и среди специалистов в других странах мира). С этой целью в 1980 г. группа сотрудников Пекинского института языка и Института языкознания с помощью ЭВМ провела статистическую обработку стилистически разнородных текстов общим объемом в 2 000 000 знаков в соответствии с едиными установленными принципами и требованиями. Таким образом были выявлены частотные характеристики китайской лексики [6], составлен частотный словарь современного китайского языка [7], частотный список слов в учебниках по языку в средней школе. Полученные результаты, как отмечают китайские ученые, представляют интерес не только для преподавателей, работников издательств и типографий, они дают ценный материал для лингвистов-теоретиков, занимающихся фонетикой, лексикой, письменностью, для специалистов в области сигнальной информации, машинного перевода, искусственного интеллекта.

**К и т а й с к а я л е к с и к о г р а ф и я.** За последние десять лет китайская лексикография достигла значительных успехов. Работа в области составления словарей велась в двух направлениях. С одной стороны, создание таких крупных лексикографических трудов, как Ханьюй да цыдянь («Большой китайский словарь слов»), Ханьюй да цыдянь («Большой китайский словарь иероглифов»), дающих картину всей лексики в целом, а с другой стороны — подготовка словарей, описывающих отдельные лексические подсистемы.

Создание «Большого китайского словаря слов» в десяти томах является крупным событием в культурной и научной жизни Китая. Первый том этого словаря вышел в 1986 г., а все издание предполагается закончить к 1990 г. (каждый год будет выходить по два тома). Для его подготовки было привлечено около тысячи человек, в составлении и редактировании участвовали видные ученые-лингвисты — Ло Чжунфэн (главный редактор), Люй Шусян, Ван Ли, Е Шэнтао, Чжу Дэси, Чэнь Юань, Лу Цаунда, Чжан Шилу, Чжоу Югуан, Чжоу Цаумо, Юй Минь, Ни Хайшу (научные консультанты). В процессе подготовки было собрано 5 000 000 словарных карточек. Квалифицированный составительский и редакторский коллектив позволяет обеспечить высокий уровень этого труда, насчитывающего более 50 000 000 знаков. Он явится наиболее полным из ныне существующих словарей слов.

„ Подчеркивая его уникальный характер, китайская печать использует четыре слова: *да* «большой», *цюань* «полный», *синь* «новый», *гао* «высокой научной ценности». С точки зрения представления общей картины национального языка его сравнивают с известным Оксфордским словарем английского языка. По богатству лексического и иллюстративного материала он намного превосходит все другие словари китайского языка, в том числе изданный в Японии «Большой китайско-японский словарь» и тайваньский энциклопедический словарь китайского языка Чжунвэнь да цыдянь. Его словник включает свыше 350 000 словарных статей, из них 22 000 на отдельные иероглифы. Показ лексики в широких хронологических рамках позволяет дать биографию всех слов от древнейших истоков до современного состояния. Важной особенностью Словаря является то, что в нем прослеживается процесс семантического развития слова, отмечается время появления новых значений. Ни один из существующих словарей не отражает в такой степени историческую картину развития китайской лексики. Словарь рассчитан на массового потребителя, пользоваться им легко могут читатели со средним культурным уровнем.

По сравнению с другими словарями в нем более четко и дифференцированно даются значения полисемантических слов. Возьмем, например, гнездо *бянь* с основным значением «удобный». Число узуальных значений в статье на знак *бянь* в энциклопедическом словаре Цюань составляет 11, а в толковом словаре Сяньдай ханьюй цыдянь — 7, в данном же Словаре — 37. Общее число словарных статей, производных от знака *бянь*, в нем — 141, в то время как в Цюане — 45, а в Сяньдай ханьюй цыдянь — 30. Наконец, количество узуальных значений в сложных словах с первым компонентом *бянь* в Цюане — 55, в Сяньдай ханьюй цыдянь — 37, а в Ханьюй да цыдянь — 204, причем в последнем на все значения слов приводятся многочисленные документированные примеры. Если на тот же самый знак *бянь* в Цюане — 62 цитаты, то в Ханьюй да цыдянь — 375 цитат из произведений разных эпох.

Иллюстративный материал отобран из источников, общее число которых приближается к 3 000 наименований, начиная с эпохи Цинь (литературные произведения, философские и религиозные трактаты, словари) и кончая образцами современной литературы, материалами газет, журналов, учебников. В результате росписи этого массива лексики было получено 7 000 000 карточек, из которых 2 000 000 использовались для подтверждения правильности толкований.

О его высокой научной ценности свидетельствует следующий факт. Иероглиф *и* «один» и производные от него слова образуют более 1 800 словарных статей. Для написания гнездовой статьи на этот знак было использовано около 4 000 карточек.

В настоящее время ведется также подготовка «Большого китайского словаря иероглифов». Он будет состоять из восьми томов. Главный редактор словаря — Сюй Чжунпу, известный китайский ученый, его заместители — Ли Гэфэй, Чжао Чжэньдо, Янь Яньу, Жэнь Юцяо, Ли Юньи, Чжу Цзюань. Он явится самым полным в мире собранием иероглифов. В нем зафиксировано свыше 56 000 знаков, в то время как в богатейших сводах китайской иероглифики — энциклопедических словарях Канси цыдянь (составление его было закончено в 1716 г.) — около 47 000 знаков, а в изданном в 1915 г. Чжунхуа да цыдянь — более 48 000 знаков.

Словарь составлен по ключевой системе, принятой в словаре Канси цыдянь и насчитывающей 214 ключей. Его структура — предмет длительного обсуждения, в результате которого принято решение расшире-

делять материал по ключам как единственно возможному способу, а внутри иероглифов с общим ключом — по количеству черт в порядке их возрастания.

Создатели Словаря отмечают три его особенности: он является *да* «большим», *цзы* «иероглифическим», *дянь* «образцовым». Последняя особенность поясняется ими следующим образом: в нем отражено стандартное написание, звучание, значение, тщательно выверены все цитаты по разным источникам и изданиям и отобраны лучшие. Структура словарной статьи традиционна: написание, произношение в значении иероглифа, но в нее введены новшества. В плане начертания иероглифов впервые отражен долгий путь развития китайской письменности: от ее самой ранней формы — *цзягувэнь* (надписи на панцирях черепах и костях животных) до *кайшу* (официального стиля письменности), которым пользуются и в настоящее время. В транскрипционной записи иероглифов учитывалось три периода: современное чтение, а также древнее и средневековое.

При семантизации иероглифа в случае его многозначности на первое место выносятся исходное значение, поиски которого велись по древним словарям — Эръя (III — I вв. до н. э.), Шовэнь (закончен в 100 г. н. э.) и другим источникам. После установления исходного значения определялись производные от него. Составителям было важно проследить семантическое развитие слова с тем, чтобы установить последовательность расположения значений. В словаре отмечаются знаки, используемые для записи имен собственных. Рубрикация проведена тщательно и полно, включены все значения, которые имеют подтверждения в древних и современных текстах. Так, на знак *шан* «верх» в словаре Цыхай приводится 18 значений, в Цыюане — 12, в Чжунхуа да цзыдянь — 33, а в Ханьюй да цзыдянь — 43 значения. Количество значений у слова может достигать 50—60. На каждое из них дается три примера — из древнекитайского, среднекитайского и современного китайского языка. Многие значения реализуются в отдельных словах, другие — только в морфемах. В ходе развития языка значение слова может превратиться в значение морфемы, и наоборот, известны и обратные процессы, когда значение морфемы превращается в значение слова. В словаре, по возможности, значения слов и значения морфем разделяются.

Для современной китайской лексикографии характерно появление большого количества и других словарей — разного предназначения: для школьников, студентов, крестьян; по различным отраслям знаний: политэкономии, литературе, лингвистике, медицине. Выпускаются также словари диалектов, синонимов, антонимов, омонимов, устойчивых словосочетаний, привычных выражений, пословиц, отдельных эпох и авторов.

Большую работу по подготовке таких словарей ведет издательство Цышу чубаньшэ, находящееся в Шанхае. В частности, уже выпущен Цзяньмин у фаньянь цыдянь («Краткий словарь шанхайского диалекта»), в который включено около 5 000 словарных статей с указанием чтения и значения лексических единиц, их грамматической классной принадлежности, с примерами из диалектной речи.

Это издательство занимается также подготовкой к печати словарей различных эпох, например, «Словаря языка периода Сун и Юань», его составитель Лун Цынъянь. Он содержит около 11 000 словарных статей с общим объемом 1 000 000 иероглифов, т. е. на каждую словарную статью приходится примерно около 100 знаков. Это ценное пособие для изучающих историю языка, историю культуры и классическую литературу.

ру. Подготавливается к изданию также словарь языка Танской династии. Другое направление работы издательства — выпуск словарей языка отдельных писателей-классиков. В данном издательстве хорошо знают работы советских лингвистов: «Словарь языка В. И. Ленина» и «Словарь языка Пушкина». В КНР ведется также большая работа по выпуску словарей современного и древнекитайского языка, рассчитанных на массового читателя.

Следует отметить, что в изданных к настоящему времени словарях основное внимание обращается на семантизацию значений слов и мало говорится об особенностях их употребления. Чтобы восполнить этот пробел, в последние годы стали издаваться словари грамматических особенностей слов и их сочетаемости. К примеру, в 1984 г. вышел словарь сочетаемости глаголов.

Значительное внимание уделяется подготовке словарей фразеологизмов. За последние несколько лет опубликовано около 20 словарей, в том числе «1300 употребительных фразеологизмов» Чжоу Мина, «Детский иллюстрированный словарь фразеологизмов» под редакцией Ян Иньшэна, «Новые фразеологизмы китайского языка» Ши Ши и Чжао Пэйюя. Преподаватели Пекинского университета Ван Лицзя и Хоу Сюэчао составили «Словарь фразеологизмов с их семантической классификацией». Большой словарь фразеологизмов подготавливает также Ма Гофань, профессор Педагогического университета Автономного района Внутренняя Монголия. Для авторов всех словарей характерно широкое понимание границ фразеологии.

Качество лексикографических работ является предметом обсуждения в таких периодических изданиях, как «Цыпу яньцзю» («Лексикография») и «Цыдинь яньцзю цункань» («Лексикографический сборник»), выходящих в КНР с 1980 г. В публикуемых статьях содержится немало ценных лексикографических наблюдений, много критических замечаний, касающихся принципов отбора словника, толкования значений, семантической структуры слова и т. п.

Вместе с тем, как отмечают сами китайские ученые, недостатком современной лексикографической работы в КНР является отставание в регистрации неологизмов. Читатели современной литературы и прессы встречаются с большими трудностями при толковании и переводе новых слов, таким образом, возникает острая потребность в изданиях, знакомящих с лексическими новообразованиями в китайской лексике за последние десятилетия. Между тем лишь немногие лингвисты занимаются сборником и изучением новых слов, новых значений слов и выражений. В журнале «Цыпу яньцзю», например, регулярно помещаются заметки о новых словах и новых значениях слов с примерами их употребления. Профессор Пекинского института языка Чжао Цзиньмин опубликовал статью, в которой показал связь появления новых слов и значений с развитием общества. Ожидается издание словаря неологизмов.

Лингвистические журналы. В настоящее время в КНР издается около тридцати лингвистических журналов. По характеру и содержанию их можно разделить на несколько групп: сугубо академические и ориентированные на преподавателей, общекайтайские и местные, общелингвистические и отраслевые. Перечислим некоторые из них.

«Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»). Самый известный лингвистический журнал. На его страницах освещаются общие проблемы китайского языкознания, вопросы прикладной лингвистики, методики преподавания. Издается АОН КНР один раз в два месяца.

«Чжунго юйвэнь тяньди» («Китайский лингвистический мир»), до 1986 г. Чжунго юйвэнь тунсюнь («Сообщения по китайскому языку»). В журнале публикуются статьи китайских и зарубежных авторов, касающиеся вопросов стандартизации языка, его изучения и преподавания. Издаётся АОН КНР. Периодичность — один раз в два месяца.

«Фанъянь» (Диалекты). Ежеквартальный журнал. Помещает статьи, посвященные изучению диалектов Китая, материалы полевых исследований.

«Миньцзу юйвэнь» («Национальные языки»). В нем сообщается о работах в области исследования языков национальных меньшинств, обсуждаются теоретические вопросы развития письменности и языков национальностей. Ежеквартальный.

«Говай юйяньсюэ» («Зарубежная лингвистика»). В этом журнале публикуются переводы наиболее важных работ, рефераты и обзоры, аннотации на зарубежные книги и периодические издания. Даются сообщения о научной жизни за рубежом. Ежеквартальный журнал.

«Юйвэнь даобао» («Лингвистический вестник»). Журнал интересен тем, что он помещает статьи, затрагивающие вопросы методики лингвистических исследований, печатает обзоры и рецензии на работы китайских и зарубежных языковедов. Периодичность — один раз в месяц.

«Вэньцзы гайгэ» («Реформа письменности»). В журнале есть рубрики: общий обзор, общенациональный язык путунхуа, китайская иероглифическая письменность, модернизация языка, стандартизация, трибуна лингвистических знаний, языковая ситуация, ответы на вопросы читателей и др. Его задача — популяризация путунхуа, китайского фонетического алфавита, стандартизация иероглифики и модернизация китайского языка. Периодичность — один раз в два месяца.

«Сюцы сюэси» («Изучение стилистики»). Это первое в КНР периодическое издание по стилистике. Является органом Восточно-китайского общества стилистов. Издаётся научно-исследовательским институтом языка и литературы Фуданьского университета один раз в два месяца.

«Юйянь цзяосюэ юй яньцзю» («Преподавание и изучение языка»), орган Пекинского института языка. Большая часть публикуемых в нем статей связана с вопросами методики преподавания китайского языка иностранцам. Печатаются статьи по сопоставительной грамматике китайского и других языков (например, английского). Журнал помещает работы иностранных авторов по проблемам преподавания китайского языка как иностранного. Ежеквартальный.

«Ханьюй сюэси» («Обучение китайскому языку»). Научно-популярный журнал. В статьях, посвященных изучению китайского языка как второго, освещаются вопросы фонетики, грамматики, лексики, письма и стилистики. Публикуются сообщения о преподавании китайского языка в других странах. Периодичность — один раз в два месяца.

«Юйвэнь сюэси» («Языковая учеба»). Популярный журнал. Основное направление — распространение базовых лингвистических знаний, обсуждение методики преподавания языка. Помещаются анализ учебных материалов, разбор иероглифов и слов, объяснение древних текстов, даются рекомендации по внеклассному чтению. Издаётся ежемесячно в Шанхае.

«Юйвэнь чжиши» («Языковые знания»). В нем публикуются материалы об особенностях употребления отдельных слов и выражений, о приемах анализа древних текстов. Журнал рассчитан на учащихся средних школ и молодежь, занимающуюся самообразованием.

«Юйвэнь сяньдайхуа» («Модернизация языка»). Журнал помещает информацию о конкретных мероприятиях в области реформы языка, распространения фонетического алфавита. Выходит нерегулярно.

«Юйвэнь юэкань» («Лингвистический ежемесячник»). Орган Южно-китайского педагогического университета (г. Гуанчжоу).

«Юйвэнь вэньсюэ» («Язык и литература»). Издается факультетом китайского языка и литературы Педагогического университета Автономного района Внутренняя Монголия. Периодичность — один раз в два месяца.

«Юйвэнь юаньди» («Языковая нива»). Журнал призван распространять знания по языку и литературе среди учащейся молодежи. В нем публикуются статьи по языку, литературному творчеству, литературе. Издается ежемесячно в Гуансийском университете (г. Наньнин).

«Юйвэнь чжиши цункань» («Сборник по языковым знаниям»). Основное назначение журнала — усовершенствовать практические навыки владения языком и дать общие сведения по фонетике, лексике, стилистике, грамматике. Периодичность — один раз в два месяца.

Кроме журналов, в Китае выходит лингвистические газеты. Например, «Ханьюй пиньинь бао» («Газета китайской фонетической транскрипции»). В ней публикуются статьи и заметки по стандартизации китайской письменности, а также параллельные тексты на фонетическом алфавите и иероглифике. Издается два раза в месяц Комитетом по делам языка и письменности в Пекине. Для школьников выпускается специальная еженедельная газета «Юйвэньбао» («Язык»), в которой помещаются тексты для чтения, различные языковые материалы.

Преподавание китайского языка. С 13 по 17 августа 1985 г. в Пекине состоялся I Международный симпозиум по преподаванию китайского языка. В нем приняли участие представители свыше 20 государств, в том числе Болгарии, ГДР, Чехословакии, Индонезии, Таиланда, Австралии, Франции, США, Японии, Канады, ФРГ, Англии. Было заслушано около 300 докладов. Организатором симпозиума выступил Пекинский институт языка — центр преподавания китайского языка иностранцам, в котором одновременно ведется большая научно-методическая работа. В какой-то степени он аналог Института русского языка им. Пушкина.

Во вступительном слове директор Института языка Люй Бисун отметил возросшую потребность в специалистах по китайскому языку в связи с расширением международных связей. В настоящее время преподавание китайского языка ведется в вузах более чем 50 стран, в некоторых из них он изучается в качестве иностранного в средних школах. Все больше иностранцев приезжает на учебу в КНР. В 1986 г. обучение иностранцев китайскому языку велось в 60 вузах страны.

В докладах и выступлениях на пленарных заседаниях и секциях обсуждались вопросы методики преподавания, грамматики, фонетики, сопоставительного изучения китайского и других языков, составления учебных пособий, применения современных научно-технических методов в обучении китайскому языку.

Во время конференции была развернута выставка учебных пособий и материалов по китайскому языку, изданных в Китае и за рубежом. В ней участвовало 24 китайских вуза, 11 китайских и 14 иностранных издательств. Всего было представлено 1 230 учебников, учебных материалов и звукозаписей. Впервые на международной конференции такого рода рабочим языком был китайский.

В августе 1987 г. состоялся II Международный симпозиум по преподаванию китайского языка. Его участники обменялись опытом преподавания. Они были ознакомлены с новейшими техническими средствами обучения китайскому языку, созданными на базе компьютерной техники. В работе этого симпозиума принимали участие ученые из СССР, они были избраны в состав правления Международной Ассоциации преподавателей китайского языка.

В учебных и научных центрах КНР большое внимание уделяется вопросам лингвистики и методики преподавания китайского и иностранного языков. В этой связи следует отметить «Практическую грамматику китайского языка», подготовленную преподавателями Пекинского института языка Лю Юэхуа и др. В ноябре 1984 г. при этом институте открыт научно-исследовательский институт преподавания языка (директор — профессор Ван Хуань, а советники — видные ученые Люй Шусян и Чжу Дэси). Его основные задачи — выработка практических рекомендаций по преподаванию китайского языка иностранцам, сопоставительное изучение китайского и других языков и оценка лингвистических теорий и методики преподавания языка за рубежом, исследование принципов составления учебных пособий по иностранным языкам. При нем созданы следующие кабинеты: китайского языка, типологии языков, методики преподавания второго языка и теории языкознания, словарных и учебных материалов, информации.

В кругах китайских лингвистов широко обсуждаются вопросы преподавания языка в средней школе. При этом подчеркивается важность изучения современного языка, а не древнего, на который в школе отводится слишком много времени, хотя выпускникам средней школы в их последующей работе он обычно не требуется.

В приобщении широких масс к культуре большая роль отводится заочному обучению, которое с каждым годом расширяется. Так, в апреле 1982 г. китайским научным обществом «Логика и язык» был открыт заочный университет логики и языка. Его почетным ректором был известный китайский лингвист Ван Ли (1901—1986). Китайские лингвисты подчеркивают большую социальную значимость этого университета в преподавании языкознания. Миллионы слушателей собирает телевизионный университет. Для них проводятся консультации опытными специалистами, выпускаются специальные пособия, учебники. Таким учебником является, например, «Основы языкознания» [8]. В книге дается представление о сущности языка, теории фонем, структуре значения слова, грамматической структуре, эволюции письменности, происхождении и развитии языка, методах его изучения.

Языковая политика в КНР. Важным звеном языковой политики, проводимой в КНР, является распространение путунхуа (общенационального языка) в государственных масштабах. Оно началось еще в 50-е годы, когда было введено его изучение в начальной и средней школах, в педучилищах, на курсах для преподавателей школ, дикторов радио и телевидения. С тех пор прошло 30 лет, в этом направлении достигнуты значительные успехи, однако путунхуа еще далек от всеобщего распространения. Китайская печать сообщает о недостаточном уровне преподавания языка в средней школе, в результате чего выпускники средних школ говорят на диалектах, не умеют правильно и четко выражать свои мысли, ошибаются при написании иероглифов. В ряде районов путунхуа не используется в сфере обслуживания, пропагандистской работы, здесь считается почетным говорить на диалектах. Это, как отмечается

в печати, не благоприятствует общему делу социалистического строительства, так как затрудняет общение, обмен мнениями, пропаганду курса партии.

Важным аспектом движения за распространение путунхуа является проблема его нормализации, разработки его орфоэпической и грамматической норм. Об этом много пишут современные китайские лингвисты в газете «Гуанмин жибао», в которой есть специальная рубрика по филологии. Китайские ученые обеспокоены тем, что появились случаи неправомерного нарушения языковых норм, неоправданных новшеств, произвольного словотворчества, создания перациональных, не имеющих зачастую новых значений речевых единиц. Молодежь, люди, не имеющие образования, неграмотные свободно обращаются с языком, нарушая устоявшиеся лексические и грамматические нормы. При употреблении сложных слов они, не вдумываясь в их грамматические особенности, нарушают их целостность, разрывая такие структуры, как, например, копулятивная. При этом действует закон аналогии. Например, в китайском языке глагольно-объектные конструкции могут допускать вставку внутрь других слов: *чифань* «есть» и *чи ла фань* «шел». Поэтому некоторые считают, что если можно разрывать такие структуры, как глагольно-объектная (*чифань*), то можно по аналогии разорвать и *каоши* «экзамен», *ююн* «плавать». Сегодня можно услышать: *юдеюн* «плавать стилем баттерфляй», *каованьла ши хаохао сюси и ся* «после того, как сдашь экзамены, хорошенько отдохни»; *юваньла юн цзай цюй хуачуань* «после того, как поплаваем, пойдем кататься на лодке». Таким образом, глагольные элементы *ши*, *юн* теряют свой глагольный характер и приобретают именные свойства. Изменяется структура слова, т. е. копулятивная структура превращается в глагольно-объектную и в случаях типа *тао вань лунь* (вм. *таолунь ла*) «обсудили». Формулировки, подобные этим, распространены среди молодежи.

Обращается внимание и на то, что произношение дикторов радио и телевидения не является нормой, у них отсутствует четкая граница между правильным и неправильным. Проблема стандартизации касается не только произношения, но и письма.

Движение за распространение путунхуа с самого начала своего возникновения находится в тесной связи с движением за реформу китайской иероглифической письменности. Проводится работа по ее упрощению, введены в употребление сокращенные формы иероглифов. Вместе с тем в последние годы наблюдается увлечение полными формами начертания иероглифов взамен принятых сокращений. Считается «красивым» писать полными знаками заголовки книг, печатных изданий, реклам кинофильмов, титры. Иногда используются и те, и другие формы написания иероглифов. Наряду с этим участились случаи произвольного создания сокращений, а также случаи неверных написаний. Согласно данным проведенного обследования 684 вывесок торговых лавок, находящихся на 13 улицах 6 городов, нестандартные иероглифы составили в них 6%, среди них иероглифы в полном начертании — 51%, нестандартные сокращения — 25%, варианты написаний — 4%, ошибочные — 20%.

В июне 1986 г. Центральное телевидение обратилось к телевидению провинций, городов центрального подчинения с предложениями об устранении ошибочных иероглифов во всех программах, в частности, путем организации профессиональной учебы с целью повышения навыков распознавания ошибок в начертании иероглифов и в их чтении, строгого контроля за передачами с периферии, введения системы поощрений и

наказаний за исправленные и пропущенные ошибки редакторов и дикторов.

В этой связи интересен следующий факт. В начале 1986 г. пекинские школьники организовали движение «Пусть весенний ветер сдует с улиц столицы ошибочные иероглифы». Они отмечали неправильно написанные иероглифы на городских вывесках, лозунгах, объявлениях, этикетках. Школьники раздавали прохожим карточки для различения стандартных и неправильно написанных иероглифов. Их действия вызвали одобрение взрослых и поддержку со стороны Комитета по делам языка и письменности.

Проводимая в КНР социалистическая модернизация, развитие науки и техники, расширение международных связей требуют большого числа грамотных, хорошо владеющих языком кадров. Сейчас, как никогда раньше, остро стоит задача стандартизации языка и письменности, дальнейшего распространения путунхуа по всей стране, повышения уровня владения языком. Эта задача непосредственно связана с задачей национального объединения и развития.

На организационном заседании Комитета по делам языка и письменности в Пекине (1986 г.) было заявлено о том, что к 2000 году преподаватели, студенты, рабочие и служащие предприятий, работники партийных и правительственных учреждений, транспорта и торговли должны овладеть путунхуа первой степени, т. е. научиться говорить на стандартном путунхуа с незначительными ошибками в фонетике, лексике, грамматике. Комитет принял решение, чтобы в пятилетний срок преподаватели и учащиеся учебных заведений всех типов овладели путунхуа первой степени, работники партийных и правительственных учреждений, предприятий и сферы обслуживания — путунхуа второй степени, т. е. умением говорить на стандартном путунхуа, с небольшими ошибками в лексике и грамматике, а население отдаленных деревень — путунхуа третьей степени, т. е. умением говорить на обычном путунхуа. За 10 лет все жители города достигают второй степени путунхуа, а через 15 лет — первой степени.

В деле распространения путунхуа большая роль отводится китайскому фонетическому алфавиту — пиньинь. Вопросы изучения пиньинь сейчас находятся в центре внимания лингвистов. Пиньинь — это первая система письма, с которой знакомятся учащиеся.

Время, отводимое на пиньинь, зависит от местности и является более продолжительным там, где сильно влияние диалектов (например, в Гуанчжоу). После ознакомления с пиньинь вводится иероглифика в объеме, который для оканчивающих начальную школу составляет 2 800—3 000 знаков. В связи с применением пиньинь встал вопрос о его орфографии, т. е. правилах записи китайским фонетическим алфавитом путунхуа. В 1986 г. в г. Ханчжоу состоялось совещание по проверке орфографии пиньинь, в котором приняло участие около 30 ученых. Государственный комитет по делам языка и письменности и Комитет по образованию г. Ханчжоу провели совместные опыты и подсчеты, касающиеся орфографии пиньинь. Эта работа имеет большое значение для популяризации путунхуа, обучения языку, составления словарей, использования ЭВМ и новых технических устройств.

1. Чжоу Цзунмо. Изучение современной китайской лексики // Юйвэнь яньцзю. 1982. № 2.
2. Лю Шусинь. Цыхуйсюэ хэ цыдяньсюэ вэньти яньцзю (Изучение вопросов лексикологии и лексикографии). Тяньцзинь, 1984.
3. У Чжаньхунь, Ван Цинь. Сяньдаи ханьхой цыхуй гайяо (Основы современной китайской лексикологии). Хух-хото, 1983.
4. Га И, Ван Чжэнькунь Юйяньсюэ гайлунь (Очерки по языкознанию). Хух-хото, 1984.
5. Цзя Яньдэ. Юйисюэ даолунь (Введение в семантику). Бэйцзин, 1986
6. Ханьхой цыхуй ды тунци юй фэньси (Статстические данные и анализ китайской лексики). Бэйцзин, 1985
7. Чаньюнцзы хэ чаньюнцы (Употребительные иероглифы и употребительные слова). Бэйцзин, 1985.
8. Ван Чжэнькунь, Се Вэньцин, Лю Чжэньдо. Юйяньсюэ цзичу (Основы языкознания). Бэйцзин, 1983.

1 1 1 1  
 1 1 1 1  
 1 1 1 1  
 1 1 1 1

РЕЦЕНЗИИ

*Ант.ипова А. М.* Ритмическая система английской речи. М.: Высшая школа, 1984. 149 с.

Преимущественное назначение «Библиотеки филолога», в которой вышла рецензируемая книга, — формировать круг филологических пособий для высшей школы. Однако, кажется, стало уже традицией выпускать в этой серии не учебники, где давалось бы изложение устоявшегося в науке свода знаний, но, скорее, педагогически ориентированные исследовательские монографии. И это отнюдь не недостаток — напротив, достоинство: учебное пособие, которое выполняет свое предназначение как таковое и в то же время сообщает результаты оригинальных исследований автора, несомненно, ценно вдвойне. Этими качествами в целом обладает и рецензируемая книга А. М. Антиповой.

Преподаватели иностранных языков хорошо знают, что едва ли не самая трудная задача — добиться «ритмически адекватной» речи, без чего иностранный язык, осваиваемый учащимися, обречен так и остаться в его устах «иностранным». Эта методическая задача не будет сводиться к инструкции «делаю, как я» (или «как магнитофон»), если мы поймем законы и механизмы ритмики. Но далеко не только методикой ограничивается релевантность такой сферы, как ритмика. В последнее время становится все более ясным, что ритму принадлежит исключительно важная роль в речевой деятельности: в языке широко используется естественно присущая человеку тенденция к ритмизации всех без исключения движений, процессов [1, с. 10]. Поэтому изучение соответствующих проблем на материале конкретных языков становится насущной необходимостью.

Книга имеет достаточно четкую структуру: сначала вводится понятие ритма в широком контексте его неречевых и речевых проявлений, затем устанавливается набор ритмических единиц прозаической и стихотворной речи, после чего предпринимается изучение просодики (автор предпочитает термин «просодия») как ведущего средства ритмизации речевого потока (гл. I). В главах II и III исследуется ритмообразующая функция просодики в прозе и стихах соответствен-

но, а предмет главы IV — особенности стихотворной и прозаической речи как результат взаимодействия ритмообразующей и стилевой функции просодики. Вся работа — это надо подчеркнуть сразу же — построена на обширном экспериментальном материале, полученном автором.

Вероятно, самые интересные (и самые сложные) вопрос — это проблема ритмических единиц. То, что ритмизованность заключается в более или менее регулярном воспроизведении однотипных, соизмеримых структур известно давно и, в сущности, является определенным ритма. Но какова природа этих единиц? Основной недостаток многих работ, посвященных ритмике, — это априорное убеждение в существовании одной ритмической единицы. Большинство авторов избирают на роль такой единицы слог (или ударный слог) [1, с. 11]. А. М. Антипова сразу же отказывается от такого подхода. Два положения в ее работе представляются центральными: (1) существует ритмическая система языка, характеризующаяся иерархическим соотношением разных единиц ритма; (2) система ритмических единиц необходимым образом скоррелирована с системой семантико-синтаксических средств. Для прозаической речи автор устанавливает следующий набор ритмических единиц: ритмическая группа, синтагма, ступень, фраза и сверхфразовое единство. Остановимся на этих категориях.

Ритмическая группа английского языка — это ударный слог с последующими безударными. Отметим, что аналогичную единицу выделяют и другие авторы, исследующие германские языки, называя ее акцентной группой (stress group — Брюс, Торсен), стопой (Ришель, Аберкромби и Хэллiday), тактом (Колер и др.). В связи с этим возникают два существенных вопроса. Первый: какова связь ритмической группы с функциональными, значимыми единицами, если ее границы могут и не совпадать с границами последних? (По мнению Н. Торсен, ритмическая группа германских языков определяется не синтаксически, а чисто

просодически» [2, с. 304].<sup>1</sup> Второе: в чем заключается типологическая природа ритмической группы, коль скоро она выделяется как будто бы не во всех языках?

На первый вопрос в книге находим скорее косвенный ответ. Как можно понять, ритмические группы суть единицы, конститующие синтагму, а уже эта последняя — значащая единица. Кроме того, ритмическая группа нередко совпадает с синтагмой, особенно в спонтанной речи (с. 73). Наконец, в частном случае ритмическая группа равна слову. Сама по себе ритмическая группа «слабо оформлена просодически» (с. 61), в то время как синтагма обладает более широким набором просодических средств, обеспечивающих ее оформленность, выделенность и, так сказать, фонетическую унифицированность (с. 55). Мы бы добавили к этому следующее. Ритмическая группа — «базовая единица ритма» (с. 24, 61) в английском языке, основная ее характеристика — тенденция к изохронности отрезков текста, начинающихся ударным слогом. Соответственно для речевого потока это средство преодоления аритмичности на уровне слова, вызываемой разносложностью слов и разпоместностью словесного ударения, для речевосприятия — возможность установить число слов, а в большем числе случаев и их границы. Последнее достижимо в ситуациях, когда ритмическая группа совпадает со словом. В прочих ситуациях задача облегчается обращением к просодической информации о границах синтагмы. Таким образом, ритмическая группа, не будучи непосредственно связана со значимыми единицами, опосредованно участвует и в интегрированности последних в речевой поток, и в их вычлененности из текста, разрешая также конфликт между требованиями ритма как такового и «смысленного», т. е. семантически мотивированного, ритма.

Что касается второго из сформулированных выше вопросов, то в книге воспроизводится, хотя и с оговорками<sup>2</sup>, типологическая схема К. Паика, соглас-

но которой языки могут обладать либо акцентным ритмом, либо слоговым. В языках второго типа ритм сводится к изохронности слогов (с. 23). Классическим примером языка со слоговым ритмом всегда считался испанский. Однако недавние исследования на материале аргентинского варианта испанского языка показали, что и в этом языке существует тенденция к изохронности межакцентных интервалов [3]. Добавим, что слогі любого языка тяготеют к изохронности, если эта тенденция не подавляется другой — в частности, стремлением к выравниванию интервалов между ближайшими ударениями. Можно предположить, вероятно, что акцентные языки отличаются не по наличию / отсутствию ритмической группы, а по ее структуре: ритмическая группа либо начинается ударным слогом, либо завершается им, либо же, наконец, безударные слоги примыкают слева и справа к ударному. Очевидно, это связано с позицией ударения и типом слова в данном языке. В германских языках преимущественная ассоциированность ударения с начальным слогом слова ведет к анклаитической структуре ритмической группы (с правым примыканием безударных). В русском языке, где ударению более свойственна срединная позиция, ритмическая группа, совпадая с фонетическим словом, вероятно, не обладает жесткой структурой: безударные слоги могут занимать любую позицию относительно ударного. Большое единообразие английских ритмических групп создает и большую выраженность ритма на данном уровне.

Если ритмическая группа связана со смыслом опосредованно, то синтагма есть «мельчайшая смысловая единица текста» (с. 54). Возможность ее использования в качестве единицы ритма обусловлена более или менее выраженной единообразием фонетического оформления: тенденцией к ограничению слогового и словесного состава, типичностью мелодического контура, временных характеристик и пауз как пограничных сигналов.

Синтагма обычно характеризуется восходяще-нисходящим мелодическим контуром. Но контур может охватывать и несколько синтагм, которые образуют в этом случае некое единство. А. М. Антипова называет такую единицу «ступенью» (с. 58). Автор и здесь подчеркивает, что просодико-ритмическому единству отвечает синтактико-семантическое. Настойчиво проводимый тезис, согласно которому «ритм не накладывается на лексико-грамматическую структуру, а органически связан с ней» (с. 23), представляется очень важным и плодотворным.

Фразу автор рассматривает в качестве

<sup>1</sup> Здесь кроется еще одна любопытная проблема: получается, что в тексте ударение характеризует не слово, а ритмическую группу. Не лишены ли в этом случае германские языки словесного ударения, подобно французскому, где ударение принято считать не словесным, а ритмическим?

<sup>2</sup> «Отнесение языка к той или другой категории указывает лишь на общую тенденцию... и не означает, что между видами различной организации существуют непреходимые границы» (с. 23).

ритмической единицы «лишь условно» (хотя и оговаривает предварительность своего вывода): «в тех случаях, когда фраза не совпадает ни с синтагмой, ни с сверхфразовым единством, ее временной разброс столь велик, что периодичность фраз воспринимается с большим трудом, либо не воспринимается совсем» (с. 57). Думается, что, помимо ацизохронности, нужно учитывать и регулярную воспроизводимость мелодического контура. Согласно выводам ряда авторов, соотношение начального и конечного уровней высказываний не зависит от их длительности — это величина постоянная для каждого диктора (она может коррелировать с типом предложения) [4]. Данное обстоятельство, возможно, повышает шансы фразы на роль ритмической единицы, хотя вряд ли полностью компенсирует типичный для предложений разброс длительностей. Но предложению скорее всего и не требуются «сильные» ритмические определители: одна из основных функций ритма — способствовать выделению в потоке речи грамматически и семантически значимых единиц, предсказуемость которых повышается именно за счет ритмизованности. Для предложения же, в силу его грамматической и собственно-интонационной оформленности, актуальность указанной функции снижена.

Экспериментальное исследование А. М. Антиповой показало, что «тенденция к изохронности увеличивается на уровне сверхфразовых единств» (с. 57). Автор называет данный факт примечательным, и это действительно так. Сверхфразовое единство представляет собой, так сказать, «минитекст», у которого — после текста — наибольшая семантическая определенность при наименьшей внешней оформленности. Отсюда тенденция к изохронности и просодической замкнутости фоноабзацев, которым соответствуют смысловые «макрокванты» в составе текста.

Таковы основные единицы ритма в их соотношении, причем «в зависимости от характера текста, его смысла ритмические единицы в плане возрастания или уменьшения их временной соизмеримости могут меняться местами, но во всех случаях ритм прозы представляет собой сложное иерархическое построение, воспринимаемое как целое» (с. 63).

Основные средства обеспечения ритмизации носят просодический характер, поэтому просодике в книге, естественно, уделяется особое внимание. Дается определение просодики, ее компонентов (мелодика, тембра, паузации и пр.), описываются функции просодических явлений (с. 39—51). Рассмотрим лишь некоторые из положений, сформулирован-

ных в книге, прежде всего — трактовку ударения.

А. М. Антипова подчеркивает в начале параграфа, посвященного ударению, что «в советской лингвистике четко различаются словесное и фразовое ударение» (с. 45). К этому надо, конечно, добавить синтагматическое ударение. Правда, в материалах автора 97% синтагм характеризуются децентрализованным ударением — «более или менее равным выделением всех знаменательных слов в синтагме» (с. 55). Говоря о фразовом ударении, Антипова аналогично предлагает различать два его типа — централизованное и децентрализованное. На этих понятиях стоит остановиться специально ввиду их теоретической важности.

Последнее время тезис о «неоднородности» синтагмы, тем более — предложения, стал довольно распространенным. Нужно, однако, учитывать по крайней мере следующее. Если синтагма или предложение произносятся нейтрально, то (и в английском и в русском языках) последнее слово выделяется автоматически, и в этом смысле есть все основания говорить о таком слове как находящемся под синтагматическим (фразовым) ударением. В то же время почти любое другое слово в составе синтагмы, предложения может получить собственное выделение, причем это не обязательно будет «смысловой центр», с которым А. М. Антипова склонна отождествлять просодически маркированное слово. В ее примере *Peter Smith left home last night* слова *Peter*, *left* и *last* признаются выделенными в наибольшей степени, *Smith* и *home* получают вторую степень ударности, а *night* — третью (с. 46). Значит ли это, что здесь смысловой центр — *Peter*, *left* и *last*? По-видимому, нет. Так же, как и в слове, где имеем один выделенный ударный слог, а остальные обладают различной степенью редукции, в синтагме и предложении есть одно главноударное слово. Но главноударность в данном случае означает всего лишь то, что существуют просодические средства, позволяющие опознавать данное слово как конечное. Это слово действительно может выступать как рема (или ее часть), т. е. своего рода смысловой центр, но может выполнять и любые другие функции. Возможно и одновременное эмфатическое или контрастное ударение на каком-либо слове, включая последнее. Употребимо также акцентное выделение, которое устанавливает опирающееся на контекст соотношение синтаксиса и семантики [5, 6]. Наконец, как структура слова определяет разную степень редукции (соответственно выделенности) безударных слогов, так и в синтагме и предложении тоже имеется незначитель-

м о е распределении просодических маркировок, определяемое конкретной структурой данных единиц. Можно полагать, существуют и другие разновидности просодического оформления слов, для описания которых мы еще не владеем теоретическим аппаратом.

Представления о том, что в синтагме, предложении может быть любое число одинаково выделенных слов, вероятно, являются естественной реакцией на чересчур «ригористические» взгляды об обязательном одном-единственном просодически и семантически выделенном слове. Но реальные факты полипросодичности синтаксических единиц не опровергают понятия (единственного) синтагматического и фразового ударения — они требуют д о п о л н е н и я теории другими типами выделения, которые отличны и функционально, и, возможно, фонетически.

Лишь очень немногое скажем о результатах исследования ритма стихотворной речи (они требуют отдельного разбора). В поэтических текстах своя иерархия ритмических единиц — слог (иногда даже звук), ритмическая группа (стоп), синтагма, строка, строфа (период). Наиболее устойчивая единица стиха — строка. Она же получает ярко выраженное просодическое оформление. Любопытно, что «акцентно-мелодические признаки и признаки изохронности часто компенсируют друг друга. На уровне строки наиболее устойчивыми являются акцентно-мелодические, а также темпоральные характеристики... В более крупных единицах ...усиливается стабильность признака изохронности...» (с. 89).

Мы не смогли отразить многие аспекты книги А. М. Антиповой. В отечественной лингвистике (да, в сущности, и в мировой) это первая работа, поднимающая практически весь комплекс проблем речевой ритмики на материале конкретного языка и ориентированная на понимание ритмики как системы, обращенной и к биологической природе человека, и к его коммуникативным механизмам. Думается, что автором избран единственно верный подход.

**Джапаридзе З. Н.** Перцептивная фонетика (Основные вопросы). Тбилиси: Мецниереба, 1985. 117 с.

З. Н. Джапаридзе хорошо известен своими работами по восприятию речи, публиковавшимися начиная с 60-х годов. Рецензируемая работа представляет собой в основном перевод первой, теоретической главы его книги, вышедшей

Вполне понятно, что в работе пионерского характера мы встретим и недостатки, недочеты. Некоторые спорные положения уже обсуждались выше. Здесь добавим лишь, что стоило бы подробнее и точнее осветить сравнительно мало известную у нас, но интересную и чрезвычайно популярную в современной зарубежной литературе метрическую теорию ударения. Несколько неожиданным выглядит утверждение о том, что в варианте Либермана — Принса [7] метрическая теория прилагается к изучению стиха (с. 35; поэтическую речь с близких позиций исследовали Халле и Кайзер [8]).

В целом же появление книги А. М. Антиповой, в которой обширный экспериментальный материал дал возможность сделать важные выводы как теоретического, так и практического плана, следует всячески приветствовать.

Касевич В. В.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Чистович Л. А. Проблемы исследования временной организации речи // Сенсорные системы. Вопросы теории и методов исследования восприятия речевых сигналов. Вып. 3. Л., 1972.
2. Thorsen N. On the variability in  $F_0$  patterning and the function of  $F_0$  timing in languages where pitch cues stress // *Phonetica*, 1982. V. 39. № 4/5.
3. Borzone de Manrique A. M., Signorini A. Segmental duration and rhythm in Spanish // *Journal of Phonetics*. 1983. V. 11. № 2.
4. Cohen A., Collier R., Hart J. 't. Declination: Construct or intrinsic feature of speech signal? // *Phonetica*. 1982. V. 39. № 4/5.
5. Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
6. Касевич В. В. // ИАН СЛЯ, 1984. № 3. Рец.: на кн.: Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения.
7. Liberman M., Prince A. On stress and linguistic rhythm // *Linguistic Inquiry*. 1977. V. 8. No. 2.
8. Halle M., Kaiser S. J. English stress: Its form, its growth, and its role in verse. N. Y., 1971.

в свет на грузинском языке в 1975 г. [1]. Хотя вопросы восприятия речи в фонетическом аспекте в последнее десятилетие получили в литературе разностороннее освещение, данная работа не потеряла своего значения и сейчас. В ней перцеп-

тивная фонетика конституируется как особый аспект, который не только ставится в ряд с артикуляторным и акустическим аспектами, но и признается первичным. З. Н. Джапаридзе пишет: «...данные перцептивной фонетики (до возникновения этой дисциплины, просто, перцептивные данные) являются опорными, ключевыми для выделения единиц артикуляционной и акустической фонетики» (с. 9).

Рецензируемая книга состоит из пяти глав, приложения и подробного резюме на английском языке. Первая глава посвящена определению места перцептивной фонетики среди других дисциплин, главным образом имеющих своим предметом звуковую сторону языка. Здесь же рассматривается вопрос об объекте наблюдения и предмете изучения в лингвистике вообще и в фонетике в частности; предлагается различать общую и частную перцептивную фонетику: «Частная перцептивная фонетика может рассматриваться как раздел фонетики данного языка (в ряду: артикуляционная фонетика, акустическая фонетика, перцептивная фонетика). Но она может рассматриваться как раздел перцептивной лингвистики данного языка (в ряду: перцептивная фонетика, перцептивная морфология, перцептивный синтаксис...)» (с. 7). Общая перцептивная фонетика рассматривается в ряду других общелингвистических дисциплин. Автор отмечает, что в настоящее время перцептивная фонетика находится в процессе становления, хотя данные перцептивной фонетики, т. е. данные восприятия, всегда использовались в артикуляционной и акустической фонетиках. Со ссылкой на Х. Молла и А. А. Леонтьева З. Н. Джапаридзе говорит, что этот метод по существу и раньше лежал в основе фонематического анализа. Таким образом, для З. Н. Джапаридзе перцептивная фонетика — это «часть перцептивной лингвистики, и ее задача ограничивается изучением тех языковых закономерностей, которые выявляются в восприятии звучания (а не в понимании, осмыслении) высказывания» (с. 7).

Вторая глава посвящена центральному вопросу — перцептивной базе языка, которую автор определяет как «единство хранящихся в памяти человека эталонов фонетических единиц и правил сравнения с ними» (с. 13). Введение в научный обиход нового понятия перцептивной базы несомненно заслуживает одобрения, т. к. до сих пор в фонетике рассматривалось понятие лишь артикуляционной базы. Последней З. Н. Джапаридзе дает полное и точное определение: «...артикуляционную базу языка (т. е. языковую систему средств произношения, систему

произносительных навыков) мы же пред- ставить как хранящуюся в памяти систе- му „произносительных инструкций“ и адресов, соответственно которой в органы речи направляются „произносительные приказы“ (нервные импульсы), приводя- щие к произносительным движениям» (с. 14). Общим является то, что обе язы- ковые базы не поддаются непосредствен- ному наблюдению. Приведенные опреде- ления, несомненно, должны сыграть свою роль в дальнейшем изучении процессов производства и восприятия речи.

Далее во второй главе рассматривается вопрос о перцептивной базе индивидов и коллективов, о числе перцептивных баз, которое может быть равно или не равно числу языков или числу «фонетически разных диалектов». В отличие от тезиса, защищавшегося автором в его работе [2], где число перцептивных баз он считал равным числу языковых систем, в настоящей работе он стремится доказать, что число баз может быть меньше числа языков, «т. к. разные языковые системы могут иметь общую перцептивную базу» (с. 16).

Следующие два параграфа посвящены индивидуальной перцептивной базе, возникающей при усвоении чужого языка. Здесь обсуждается вопрос о возможном количестве перцептивных баз у одного человека, о критерии совершенства перцептивной базы, которая развивается «у человека в процессе овладения языком» и которая «тем более совершенна, чем ближе находится к перцептивной базе соответствующего языкового коллектива» (с. 18). Автор говорит и об опережающем развитии перцептивной базы по сравнению с артикуляционной. Это явление хорошо известно преподавателям иностранных языков, и они широко пользуются им на практике. Но то, как анализируется это явление в книге, способствует его теоретическому осознанию, что, со своей стороны, позволяет многое объяснить в процессе освоения звуковой стороны языка, а также поставить ряд новых исследовательских задач.

Несомненный интерес представляет параграф, в котором подвергается критике понятие фонематического слуха. Действительно, термин «слух» провоцирует обращение к слуховой функции, тогда как на самом деле здесь действует меланизм языковой системы. Кроме того, понятие перцептивной базы, в отличие от фонематического слуха, связано не только с фонематикой, но и с другими сегментными и суперсегментными единицами. Возможные расхождения в перцептивных базах разных языков сводятся, по З. Н. Джапаридзе, к расхождениям в фонемных эталонах, в эталонах сочетаний фонем, в эталонах суперсегментных единиц и в правилах сравнения с эталонами.

Третья глава называется «Набор эталонов перцептивной базы языка». В параграфах 3.01.1 — 3.01.4 рассматриваются две корреляции: «звук — звучание», т. е. корреляция между произнесенными и услышанными звуками речи, и «звучание — значение», т. е. корреляция между услышанными звучаниями и их значениями. Предметом фонетики (фонологии) автор справедливо считает первую корреляцию.

Следующие параграфы посвящены детальной характеристике эталонов разных типов. Новым является здесь различие и определение эталонов сенсорного и субсенсорного уровней. К последним Джапаридзе относит «отдельные признаки единиц сегментного и суперсегментного рядов» (с. 36), т. е. меризматические признаки. Завершается глава критикой точки зрения, отстаивающей реальность так называемой психологической фонемы. З. Н. Джапаридзе безусловно прав, когда утверждает, что имитация, и особенно имитация детьми, не может служить подтверждением существования психологических фонем. Он показывает, что опытные даные не дают оснований утверждать, что слуховой анализатор человека выделяет такие категории, классы речевых звуков, которые не совпадают с фонемами известных этому человеку языков» (с. 47).

Четвертая глава называется «Зонная природа эталонов перцептивной базы языка и категориальность восприятия фонетических единиц». Одним из основных понятий, выдвигаемых здесь, является зонный характер фонетических перцептивных эталонов, что хорошо согласуется с современными представлениями психологии. Зонный характер описывается как восприятие разных реализаций одного и того же звука, оцениваемых идентично; например, *y* в словах *узо* и *утро*, произнесенных разными людьми, разными голосами, с разным темпом и громкостью (с. 48). Зонный характер эталонов определяется категориальностью восприятия, которая, в свою очередь, зависит от фонематической системы конкретного языка. Критикуя работы А. М. Либмана и его соавторов, К. Стивенса и других [3], Джапаридзе говорит о неправомерности противопоставления речевого и перечевого восприятия как категориального и некатегориального, поскольку всякое восприятие категориально. Это положение иллюстрируется и собственными экспериментами автора по восприятию акустически сходных стимулов носителями русского и грузинского языков (с. 52).

В следующих параграфах этой главы речь идет о противопоставлении зоны идентичности и зоны сходства с эталоном

(в последнюю попадают точки, лишь похожие на точки зоны идентичности). Зоны идентичности не пересекаются в данном языке, а зоны сходства — пересекаются, что делает возможным неоднозначность восприятия ряда звуков. Обсуждая отдельные признаки фонем с точки зрения их восприятия человеком, автор еще раз обращается к субсенсорному уровню и говорит о зонной природе эталонов этого уровня. Вместе с тем он высказывает следующую мысль: «...восприятие звучания в норме, естественно, сопровождается сравнением с эталоном единиц сенсорного, а не субсенсорного уровня» (с. 58).

В следующем параграфе эталон иллюстрируется схемой зависимости восприятия от изменения какого-либо параметра. Показано, что зоне идентичности соответствует 100%-е или близкое к нему опознавание. Участок опознания от 50% до 100% задает зону преимущественного сходства, а ниже 50% — просто зону сходства, где происходит пересечение с зонами сходства других эталонов.

Завершает главу параграф, в котором анализируются данные ряда авторов о зависимости восприятия от фонетического контекста или от характера стимулов (естественных или синтезированных). Собственные эксперименты автора и сравнение их с имеющимися литературными данными позволили З. Н. Джапаридзе сделать заключение о действии механизма как ассимилятивной, так и контрастной иллюзии. Безусловно, интересной представляется мысль автора о лабильности границ эталона в процессе усвоения языка, когда «постепенно устанавливаются такие границы эталонов, которые дают возможность человеку правильно воспринимать и различать звучания всех знаков данного языка» (с. 62).

Пятая глава — «Правила сличения с эталонами» — состоит из двух частей. Первая из них называется «Вопросы, связанные с относительным весом параметров», вторая — «Вопросы, связанные с единицами первичного восприятия». Джапаридзе различает два вида параметров: простые и сложные. К простым относятся отдельные признаки вокальных и консонантных элементов слога (например, их длительность, интенсивность вокальной части и т. п.), ударность же в целом является сложным параметром. Автор различает и два типа единиц; единица типа А характеризуется набором тех же признаков, что и противопоставляемая ей другая единица (например, ударный — безударный слог), единицы типа В различаются самим набором признаков (например, фонемы).

Несомненный интерес представляет приложение, которое раскрывает саму

методику исследования. В приложении приводятся данные о следующих четырех экспериментах: 1) восприятие сегментированных звуков, 2) восприятие ударения в синтезированных стимулах, 3) восприятие «запрещенных» звукосочетаний и 4) время реакции при восприятии фонем и их сочетаний.

При обсуждении работы автора с такой яркой индивидуальностью, каким является З. Н. Джапаридзе, неизбежны критические замечания по поводу некоторых содержащихся в ней положений. З. Н. Джапаридзе различает в фонетике три раздела: артикуляционную фонетику, акустическую фонетику и перцептивную фонетику. Это не совпадает с тем подразделением, которое обычно содержится в трудах по фонетике, где до последнего времени различали артикуляторный, акустический и лингвистический аспекты, а в более новых работах добавляли четвертый аспект — перцептивный. Неясно, упустил ли его З. Н. Джапаридзе или растворил в перцептивном. Ни с тем, ни с другим, как нам кажется, согласиться нельзя. Неудачными представляются и наименования разделов, из которых вытекает, что речь идет о трех разных «фонетиках», а не об отдельных аспектах одной дисциплины.

Второе наше замечание касается вопроса о выделении минимальных лингвисти-

ческих единиц. Таковыми Джапаридзе считает фонетические признаки фонем. Сложный (акустически и артикуляторно) характер этих признаков не дает еще оснований для того, чтобы считать их лингвистически разложимыми. Цельность этих признаков определяется их языковой функцией (морфологизацией и семасиологизацией, как говорил Бодуэн), и потому надо думать, что если даже носитель языка и способен осознать части или признаки фонемы, то это не означает, что в языке следует различать некий дофонемный меризматический уровень.

Завершая рецензию, мы хотели бы сказать, что рецензируемая книга должна найти широкого читателя, который увидит в ней много интересных и свежих мыслей.

*Зиндер Л. Р., Штерн А. С.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Джапаридзе З. Н.* Основные вопросы перцептивной фонетики. Тбилиси, 1975 (на груз. яз.).
2. *Джапаридзе З. Н.* Некоторые вопросы перцептивной фонетики // Вопросы анализа речи. Тбилиси, 1969.
3. *Lieberman A. M., Cooper F. S., Harris K. S., Mac-Neilage P. F.* A motor theory of speech perception. Stockholm, 1962. |

**Марчук Ю. М.** Методы моделирования перевода. М.: Наука. 1985. 204 с.

Автоматизация обработки текстовой информации — одно из неперемных условий успешного развития научно-технического потенциала общества. И теоретики и практики в области информационных процессов заинтересованы в связи с этим в оперативном обмене опытом, в его обобщении. Такой работой, подводящей итоги и намечающей перспективы развития промышленной системы машинного перевода, действующей в сети информационного обслуживания Всесоюзного центра переводов ГКНТ и АН СССР, и является книга Ю. Н. Марчука «Методы моделирования перевода».

Ю. Н. Марчук — автор ряда важных исследований по вопросам теории и практики МП. Так, им были выпущены книги [1] и [2], в которых решались конкретные задачи МП. Бурное развитие этой отрасли обработки информации требует, однако, постоянной переоценки достигнутого, что и послужило основой для написания рецензируемой книги. Если коротко определить ее значение для решения лингви-

стических проблем в конкретной области автоматизации обработки информации (машинном переводе), то следует особо выделить следующее: автору удалось осмыслить и сформулировать теоретические лингвистические вопросы, решения которых настоятельно требует информационная практика. Ю. Н. Марчук подчеркивает, что промышленное использование машинного перевода («... не означает, что кардинальные лингвистические, технологические и вычислительные проблемы, связанные с фактическим моделированием перевода, окончательно или хотя бы с приемлемой степенью точности решены. Напротив, достигнутые успехи показали неполноту наших знаний в части методов и средств прикладного лингвистического моделирования» (с. 6).

Какие же теоретические вопросы ставит теперь перед лингвистикой практика машинного перевода? Внедрение ЭВМ не только «вызвало к жизни эпоху научно-технической революции» (с. 10), но и имело не меньшее воздействие на общест-

венные науки вообще и на лингвистику — в частности. Машинный перевод — яркий тому пример. Из частного вопроса прикладной лингвистики он превратился в область приложения научных знаний о человеке, в неотъемлемый компонент информационного обеспечения научно-технического прогресса, в стимул исследования сознания и критерий оценки состоятельности теорий речемыслительной деятельности. Информационные проблемы научно-технической революции не могли не отразиться на стиле лингвистического мышления, в котором происходит в настоящее время поворот к изучению коммуникативных процессов порождения и восприятия речи, функционирования текста, информационного взаимодействия. Более того, пример с машинным переводом ярко свидетельствует о необходимости синтеза научных дисциплин, занимавшихся автономно друг от друга исследованием мыслительных процессов.

Вполне закономерно, что, отталкиваясь от практического опыта, Ю. Н. Марчук подчеркивает необходимость выработки общего подхода к задаче моделирования перевода — именно так и названа им первая из четырех глав книги. В ней анализируются характеристики перевода как речемыслительной деятельности, лингвистические эмпирические модели процесса перевода, задачи прикладной лингвистики как в плане теоретического обобщения принципов моделирования мыслительных процессов, так и в плане практического приложения этих принципов к промышленным системам с целью совершенствования их лингвистического обеспечения.

Материал, на основе которого автор анализирует принципы построения систем искусственного интеллекта (ИИ), показывает, что машинный перевод — это, с одной стороны, неотъемлемая часть проблематики ИИ, так как «хронологически задача МП предшествовала задаче искусственного интеллекта, поэтому можно утверждать, что многое... из вошедшего в информатику и ИИ родилось в машинном переводе» (с. 16); с другой стороны, МП в силу сохраняющейся еще обособленности различных подходов к ИИ — кибернетического, психологического, лингвистического и др. — не получил пока непосредственной связи с его центральной проблематикой. Эта ситуация не способствует развитию ни ИИ, ни МП.

В последнее время, когда происходит некоторое сближение между автономными задачами интеллектуальных систем (термин Ю. И. Шемакина [3]), исследователи осознают, что только комплексный подход позволит эффективно их решать: «Уточнения (понятия „перевод по смыс-

лу“.— К. Р., Р. Н.) могли бы быть освоены и реализованы системами автоматического перевода существенно раньше, если бы их разработка не была так изолирована от проблематики родственным им систем — ИПС и моделей переработки текста класса „искусственный интеллект“» [4, с. 24]. Конструктивно решить эту проблему призваны междисциплинарные исследования мышления, понимания и порождения текста. Здесь нельзя не отметить, что лингвистический подход к ИИ сможет успешно пройти свою часть дистанции по направлению к центральной проблематике ИИ только в том случае, если преодолет барьер, стоящий между лингвистикой текста и психологией мышления. А И. Новиков сформулировал эту проблему следующим образом: «Образ содержания текста, полученные в процессе понимания, и замысел, выступающий в качестве образа будущего текста, в структурном отношении тождественны. Структура этого образования принципиально отлична от лексико-грамматической структуры текста, что заключается в реализации различных способов их организации. Если словесная форма текста линейна, дискретна, сукцессивна, то образу содержания свойственна целостность, иерархичность, симультанность» [5] с. 56].

Несомненно, что это принципиальное положение имеет непосредственное отношение и к переводу, являющемуся одним из видов речемыслительной деятельности. Поэтому выводы Ю. Н. Марчука, полученные в результате анализа принципов, которые должны быть положены в основу теоретической модели перевода, вполне корректны и находятся в рамках указанного актуального круга проблем. Так, отмечается, что «для моделирования перевода следует более четко представлять связь синтаксиса и семантики предложений» (с. 21); формировать «представления о составляющих текста, синтаксисе и содержании, элементах текста, видах текста, законах образования и преобразования текстов...» (с. 24).

В лингвистической литературе нет недостатка в указаниях на чрезвычайную сложность и мышления, и языка. Из этого делаются самые разнообразные выводы, один из которых, имеющий непосредственное отношение к обсуждаемому здесь проблемам, заключается в том, что ставится под сомнение возможность теоретического построения единой модели речевой деятельности, и, в частности, единой модели перевода. Автор книги присоединяется к этому мнению (с. 24), хотя для обоснования подобного тезиса необходимы серьезные аргументы. Ясно, что множество моделей перевода и разнообразие видов переводческой деятельности еще не сви-

детельствуют об отсутствии единых мыслительных механизмов в различных коммуникативных условиях. В целом же эти вопросы относятся к области теоретического, концептуального уровня познания и свидетельствуют о том, что и лингвистика, и теория перевода, и психология лишь приближаются к нему (см., например [6]).

Другое дело, что конструктивное решение данной проблемы предполагает выбор конкретной модели и ее использование в практических целях. Именно этот путь и выбрал Ю. Н. Марчуком. Существенно, что при этом подчеркивается важность включения в модель перевода формализованного представления знаний (с. 31). Это действительно один из принципиальных вопросов в деле совершенствования лингвистического обеспечения машинного перевода и других интеллектуальных систем, т. е. от качества его теоретической и практической разработки во многом зависит прогресс в этой области. К сожалению, этот вопрос пока не разработан в лингвистике достаточно глубоко. Представление знания здесь фигурирует как экстралингвистическая/энциклопедическая информация или прагматика, но последовательная ее дифференциация не проводится.

Важный вклад в упорядочение этой проблематики может внести лингвистическое конструирование [7] — направление, ставящее перед собой цель построения моделей целых классов лингвистических объектов. Ю. Н. Марчук прав, отмечая ценность этого направления для прикладной лингвистики и относя машинный перевод к тому же классу задач (с. 32). Однако содержательное, а не формальное объединение различных лингвистических задач в класс задач, входящих в область действия лингвистического конструирования, предполагает и их непременно «идеологическое» единство — использование определенных принципов исследования, логическую упорядоченность операциональных понятий т. п. В этом отношении вызывает сомнение действительность для лингвистического конструирования определения языка, которое мы находим в книге: «...естественный язык представляет собой нежестко организованную диффузную систему, которая воспринимается и используется человеком в значительной мере интуитивно. Язык можно рассматривать как неколичественную производящую систему, функционирование которой регулируется вероятностными ограничениями, заложенными в норме» (с. 35).

Вторая глава книги посвящена собственно принципам моделирования перевода. Отмечая, что перевод как социальное явление характеризуется многообразием форм взаимодействия с культурой, исто-

рий и другими сферами социальной деятельности и поэтому «может являться объектом разностороннего изучения» (с. 43), автор рассматривает те точки зрения на перевод, которые послужили на различных этапах развития МП основой для создания соответствующих экспериментальных систем. Отмечается, что в первых системах «моделирование перевода состояло в моделировании разбора исходного предложения по уровням с использованием единиц каждого уровня..., каждой единице анализа ставилась в соответствие определенная единица..., синтезирующая входное предложение» (с. 44—45). Этот подход был почти не связан с исследованиями в области теории перевода, которую интересовали в первую очередь проблемы межъязыковых соответствий, способов достижения эквивалентности оригинала и перевода, единиц перевода и др.

Конструктивное решение этих вопросов имело бы большое значение для МП. Однако их исследование шло в основном в терминах чисто лингвистических понятий и поэтому до сих пор не дало существенных для практики МП результатов, несмотря на то, что более поздние системы МП стали ориентироваться на собственно переводческую проблематику. Для получения таких результатов нужен новый уровень осмысления текста и его составляющих, без чего нельзя решить и актуальные задачи перевода. Поэтому Ю. Н. Марчук подчеркивает, что единица перевода — одно из центральных понятий переводоведения, необходимых для построения систем МП, — может и должно быть в некоторых случаях увязано с «экстралингвистическими факторами и носить также логический характер, связанный с развертыванием некоторой мысли или образа» (с. 55). Правомерен поэтому вывод, сделанный им относительно разрешающей силы современных лингвистических концепций текста: «Лингвистика не предложила способов восприятия системой внешних по отношению к ней данных — экстралингвистических сведений, необходимых для понимания» (с. 60).

Предпринимаемые в настоящее время в рамках интеллектуальных систем и автоматической обработки текста попытки формализовать знания о внешнем мире при помощи тезаурусов, фреймов, семантических сетей и т. п. — это плодотворный путь, но здесь еще больше нерешенных вопросов, чем ренных, — громоздкость и неполнота представления картины мира, слабая ориентация на предметную область и ее специфику, недостаточная соотносительность языковых средств и способов представления фактуальной информации и т. п. Поэтому в книге не без оснований утверждается, что важнейшим

элементом в представлении знаний в системах ИИ и, в частности, МП, должен быть специальный блок разрешения семантической неоднозначности, состоящий из семантических и энциклопедических правил, правил конкатенации и семантической связи (с. 74).

Весьма интересны в книге разделы, посвященные проблематике подязыков. Примечательно, что впервые она была поднята в советской литературе и получила достаточную разработку в узком кругу прикладных исследований, но, как это часто бывает, ее живое и широкое обсуждение происходит у нас после выхода капитальных зарубежных работ. Важно, что сейчас проблематика подязыков привлекает все возрастающее число исследователей своей актуальностью, обусловленной промышленным статусом многих информационных разработок.

Поэтому в книге подвергнуты содержательному анализу вопросы формирования базовых подязыков, упорядочения терминологии, полноты, конечности, ограниченности языковых средств описания предметной области, вопросы лексикографического, синтаксического, стилистического и семантического описания подязыков, их типологии. Значение исследований в этой области для решения задач моделирования перевода автор определяет следующим образом: «Интерес к подязыкам, вызванный к жизни потребностями повышения эффективности систем автоматической обработки текстов, приводит к выявлению новых существенных для этой цели характеристик подязыков. Для практических применений этих характеристик должны быть получены четкие параметры, на которых можно было бы базировать соответствующие алгоритмы» (с. 88).

Третья глава книги посвящена сопоставлению методов моделирования перевода и автоматизации этого процесса. В ней рассматриваются этапы развития моделей языка, предназначенных для алгоритмизации, современные требования к моделированию перевода, соответствие моделей перевода моделям языковой деятельности человека, модели подязыков и переводных соответствий, лексикографические проблемы МП. Здесь, как и в предыдущих главах, обсуждаются центральные и наиболее дискуссионные проблемы прикладной лингвистики, имеющие, несомненно, междисциплинарное значение.

Так, при рассмотрении истории МП отмечается, что именно практические проблемы МП выявили принципиальную неоднозначность единиц естественного языка на всех уровнях, препятствующую эффективной формализации межязыковых соответствий, стимулировали разви-

тие теорий формального представления синтаксиса и контекстологических детерминант, снимающих многозначность языковых единиц; породили исследования глубинной и поверхностной структур текста, возможностей построения языка-посредника для МП. Важным шагом в деле совершенствования принципов построения систем МП при этом признается их более целенаправленная в настоящее время ориентация на собственно переводческие проблемы формализации, а не вообще на проблемы анализа и синтеза текстов, введение в связи с этим в структуру МП этапа трансфера, который моделирует установление межязыковых соответствий (с. 108—110, 115).

Поскольку МП — это операциональная система, то к ней, помимо выбора идеологии (стратегии) решения лингвистических вопросов, в полной мере относятся требования эффективности работы — реализуемость, производительность, удобство пользования и т. д., в связи с чем все кардинальные вопросы построения алгоритмов и словарей должны решаться с точки зрения оптимальности выполнения операций синтеза выходного текста. Это, в свою очередь, заставляет исследователей искать эффективные ограничения на степень детализации описания таких явлений, как содержание текста и моделирование его понимания. По этой причине основное внимание автор сосредоточил в данной главе на рассмотрении тенденции «использовать максимально поверхностные уровни, что, с одной стороны, экономит время, ... с другой — позволяет передать в переводе не только содержание исходного текста, но и особенности языковых средств выражения этого содержания» (с. 122). При этом «смысловой глубинный уровень все чаще рассматривается как источник признаков, которые используются лишь тогда, когда нет возможности разрешить неоднозначность на поверхностно лежащих уровнях языка» (с. 129).

В деле оптимизации построения автоматических словарей большую роль призваны сыграть модели подязыков предметных областей, модели установления переводных соответствий, характер введения лексикографических дополнений и изменений. Методами, способствующими объективности этих процедур, служат статистический анализ текстов, учет специфики строя конкретной пары языков и системности межязыковых соответствий, дифференциация самих словарей. На этой основе строятся описываемые в книге компоненты модели перевода по переводным соответствиям используемой в системах МП ВЦП. Критически оценивая ее, Ю. Н. Марчук отмечает, что «...при всех несовершенствах систем мо-

делирования по переводным соответствиям они отражают некоторые существенные для перевода особенности, дальнейшее изучение которых и совершенствование соответствующих моделей дадут возможность с точки зрения практики перевода улучшить качество машинного продукта, а с точки зрения теории — понять дальнейшие и более глубокие закономерности перевода как лингвистического процесса...» (с. 143).

В заключительной, четвертой главе книги современный МП рассматривается в широком контексте автоматизации информационной деятельности, в связи с чем обсуждаются вопросы взаимодействия переводчика и ЭВМ, типы информационной и переводческой работы, становление новых форм информационного обслуживания и роль перевода в нем, а также технико-экономические характеристики современных систем МП и структура технологических линий МП в ВЦП.

Описывая перспективы развития автоматизированных средств перевода и повышение их роли в информационной службе, Ю. Н. Марчук отмечает, что промышленное использование МП не только не исключает теоретических исследований связанных с МП проблем, но, напротив, предполагает их еще в большем объеме на новом междисциплинарном уровне: «Машинный перевод требует совершенствования моделей перевода, обеспечивающих представление и использование лингвистических данных в ЭВМ для осуществления перевода с одного естественного языка на другой» (с. 186); «Для... моделирования требуется более глубокое проникновение в механизм и существо использования языковых данных в переводе» (с. 187). «Поскольку в моделировании перевода так или иначе моделируется и понимание, то можно ожидать существенного вклада в лингвистическое моделирование со стороны смежных наук гуманитарного цикла, таких, как психология, логика... и т. п.» (с. 188). Совершенно справедливым поэтому является вывод, к которому приходит автор в результате обобщения практического и теоретического опыта МП: «Перспективы развития моделирования перевода, таким образом, зависят от комплексного развития как науки самого перевода — лингвистической дисциплины, так и целого ряда других наук» (с. 189).

Подводя итоги своего исследования (Заключение), автор интерпретирует влияние практики МП на теоретические представления о единстве перевода, роли переводных соответствий при переводе, типологии перевода, текстов и подязыков, о характере их взаимодействия при

построении и реализации воспроизводящих процесс перевода моделей.

Таков краткий анализ проблем, поднятых в рецензируемой книге. Ее ценность прежде всего в следующем; автору удалось показать, что «новые, более совершенные модели, в том числе и такие, которые можно было бы положить в основу более эффективных и совершенных систем МП, будут созданы в результате коллективного труда и вклада многих наук в эту сложную, но и чрезвычайно актуальную проблему» (с. 196).

Фактический материал, на который опирается автор в своем исследовании, представляет собой сопоставление опыта функционирования систем перевода в ВЦП и результатов, излагаемых в исследовании других специалистов в области машинного перевода и смежных областей — как советских, так и зарубежных. Это — несомненная удача автора, позволяющая расценивать его книгу как обзор и анализ мирового опыта в области МП, как постановку и обсуждение новых вопросов, выдвигаемых практикой разработки систем машинного перевода.

Из всего многообразия обсуждаемых в книге вопросов мы остановились только на наиболее значимых для развития теории и практики прикладной лингвистики. Но и такой краткий их анализ позволяет заключить, что рецензируемая книга Ю. Н. Марчука содержит важные проблемные итоги развития исследований и разработок по решению одной из актуальных научно-технических задач современной информатики в эпоху научно-технической революции.

*Котов Р. Г., Рябцева Н. К.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Марчук Ю. Н.* Контекстологический словарь для машинного перевода многозначных слов с английского языка на русский. Ч. I—II. М., 1976.
2. *Марчук Ю. Н.* Проблемы машинного перевода. М., 1983.
3. *Шемакин Ю. И.* Введение в информатику. М., 1985.
4. *Леонтьева Н. Н.* Информационная модель системы автоматического перевода // НТИ. Сер. 2. 1985. № 10.
5. *Новиков А. И.* Семантика текста и ее формализация. М., 1983.
6. *Кедров Б. М.* Классификация наук. М., 1985.
7. *Караулов Ю. П.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1984

Сессии Постоянного Международного алтаистического семинара (Permanent International Altaistic Conference, сокращенно — PIAC), существующего с 1958 г., стали неотъемлемой частью научно-организационной деятельности различных обществ, учреждений и отдельных специалистов, занимающихся проблемами филологии, истории и этнографии алтайских народов. Материалы сессий содержат ценную научную информацию по всем вопросам алтаистики и представляют интерес для широкого круга ученых, в том числе и советских. Нельзя не отметить в связи с этим, что почти весь алтайский мир находится в пределах СССР.

В «Вопросах языкознания» уже освещалась тематика первых 12 сессий, с 1958 по 1969 гг. [1]. Очевидно, в ближайшем будущем появится краткий обзор работы Семинара за период после 1969 г. Ниже мы излагаем содержание докладов, прочитанных на 25-й сессии PIAC в 1982 г. в Упсале (Швеция). Не все доклады имеют прямое отношение к языкознанию, и поэтому в ряде случаев казалось целесообразным ограничиться упоминанием их.

В статье И. Башгёза (Başgöz I. The name and society: a case study of personal names in Turkey, p. 1—14) подчеркнута необходимость исследования турецкой ономастики в связи с изучением общественной жизни, социальной среды, национальных и международных событий, обстоятельств частного порядка. Такая необходимость диктуется своеобразием конкретных условий. Автор рассматривает 482 имени и путем опроса родителей устанавливает причины их выбора, ср.: *Sabahat* от *sabah* «утро» (девочка родилась перед утром), *Aysel* от *ay* «луна» (девочка родилась в день прилуныния астронавтов), *Cezayir* (имя дано мальчику по названию любимой отцом мелодии) и т. д.

Дж. Боссон (Bosson J. It's springtime for 'Phags-pa!, p. 15—19) описывает памятник квадратного письма — китайскую печать 1326 г. с монгольской надписью. Квадратное письмо (*dörbeljin üsüg*) было создано в первой половине XIII в. по приказу Кубилай-кагана на основе тибетского алфавита. В настоящее время известно более двадцати текстов, написанных квадратным письмом. Значение их — в той фонетической информации, которую они дают о разговорном монгольском языке XIII—XIV вв. В статье приведен подробный список литературы, посвященной изучению указанных текстов (работы Н. Поппе, Э. Хенппа, Дж. Боссона, П. Аалто, П. Пелльо).

С. Булуч (Buluş S. Über einige phonetische und morphologische Besonderheiten der anatolischen Mundarten, S. 21—22) перечисляет фонетические и морфологические особенности анатолийских говоров. Особого внимания заслуживают изменения *ğ* и *g* в *v*, образование гортанного смычного (*glottal stop*) на месте *i*, спряжение начальных и других деспричастий. Примеры: *dağ/dav* «гора», *ağız/avız* «рот», *oğul/ovul* «сын», *bağla/bavla* «связывать, завязывать», *deg-dev* «кастаться», *gitme/gi'me* «не уходи», *tutma/du'ma* «не держи», *gelelim* «с тех пор как я пришел», *geleliniz* «с тех пор как вы пришли». Ср. в азербайджанских говорах Ирака: *gêlincem* «до моего прихода», *vurduhcəm* «до тех пор пока я был».

Следующая статья (Chieh-hsien Ch'en. Manchu agriculture during the period of Nurhaci and Hong Taiji, p. 23—28) — о состоянии маньчжурской земледельческой культуры в XVI в. Характерной чертой ее в это время было, по мнению автора, сочетание с элементами кочевнического быта, постепенно исчезающими в XVII в. Здесь следует заметить, что оригинальная точка зрения на историю земледелия в Маньчжурии изложена в кандидатской диссертации В. С. Старикова, включающей в себя обстоятельный обзор соответствующей литературы [2].

Далее (Ching-lung Chen. A study of Turkic weapons, p. 29—35) описываются виды тюркского оружия и снаряжения в период правления танской династии и в более позднее время: *oq* «стрела», *sî-nîng* «копье», *yařınja* «копье», *yařıç* «наконечник стрелы», *yařıq* «панцирь, кольчуга», *kâdim* «одеяние; снаряжение», *tuq* «знамя», *yasuq* «чехол для лука» и т. д. Э. Эсин (Esin E. On the relationship between the iconography in Muslim Uyğur manuscripts and Buddhist Uyğur eschatology, p. 37—52) сообщает о результатах исследования буддийской иконографии с учетом ее переосмысления в условиях господства ислама.

Г.-В. Хауссиг (Haussig H.-W. Das Weiterleben des skythischen Weltbildes bei den altaischen Völkern, S. 53—62) пишет о пережитках скифских представлений о вселенной у алтайских народов.

В центре внимания Ф. Иза (Iz F. Atatürk and Turkish language reform, p. 63—72) — различные тенденции, проявившиеся в процессе формирования лексики современного турецкого языка, и языковая реформа, осуществление которой началось после 1932 г. Примечательны основные положения этой реформы, сыгравшие важную роль в последующем раз-

витии турецкого языка: 1) целостное, комплексное восприятие всех языковых проблем; 2) сбор и публикация устаревших турецких слов, использовавшихся в раннем османском языке и замененных позднее арабскими и персидскими словами; 3) сбор и публикация диалектизмов; 4) создание новых слов из тюркских корней при помощи тюркских аффиксов для понятий, не имеющих эквивалентов ни в старотурецком, ни в современном турецком языках; 5) разработка научной терминологии на турецкой основе; 6) передача информации об осуществляемых мероприятиях и проделанной работе писателям и широким массам населения.

Ю. Янхунен (Janhunen J. *The Tungus peoples and conquest of Siberia*, p. 73—77) указывает на роль русско-самодийских и русско-тунгусских контактов в наименовании ряда этнических групп Восточной Сибири. Продвигаясь на восток, русские вступали в контакты с разными народами и получали от них сведения о соседях, располагавшихся восточнее. Так, этноним *тунгус* был усвоен ими от самодийцев (ср.: венецк. *tuŋgoq*, мн. ч. *tuŋgoŋq*), этноним *якут* — от эвенков (ср.: эвенк. *yākō*, *yākōdī* «якутский»), этноним *юкагир* — от эвенов (ср.: эвен. *юка* ~ *юко*) и т. д. Заключение Ю. Янхунена относительно происхождения этнонима *якут* в русском языке совпало с выводами некоторых якутских языковедов, указывающих, в частности, на то, что самоназвание якутов *саха* образовалось из эвенкийского *yākō* не вследствие перехода согласного *y* в *s*, а путем субституции: в якутском языке в начале слова *y* не встречается [3, 4].

В статье И. Матуза (Matuz J. *Was tut der uigurische Rabe?*, S. 79—80) уточняется перевод одной из фраз в уйгурском повествовании о принцах Кальянамкара и Шапамкара.

Статья К. Г. Менгеса (Menges K. H. *The Ewenki-Tungus dialect of the Kemčük river, a dialect on the verge of its extinction*, p. 81—92) написана в виде краткого очерка фонетики и морфологии кемчугского говора эвенкийского языка по материалам К. М. Рычкова, собранным в первом десятилетии нынешнего века. К очерку приложены два небольших текста и фразы. Данная статья вместе с другой, опубликованной раньше [5], дает общее представление о говоре, который к настоящему времени в значительной мере утратил свои особенности. К сожалению, материалы К. М. Рычкова, хранящиеся в рукописном отделе ИВ АН СССР в Ленинграде, недостаточно известны советским тунгусоведам и до сих пор полностью не изучены. Упоминаются они, пожалуй, лишь в работах Г. М. Васильевич [6], поместившей в «Материалах по

эвенкийскому фольклору» [7] переводы нескольких эвенкийских сказок со ссылкой на публикации К. М. Рычкова в «Сибирском архиве» за 1913 (№ 12) и 1914 гг. (№ 11).

Р. А. Миллер (Miller R. A. *IE \*ser-p-«sickle; hook» in Altaic*, p. 93—121), критически оценивая сведения, сообщаемые в статьях Вяч. Вс. Иванова [8] и О. Меншени-Хелфена [9], предлагает свое объяснение факта заимствования китайского *hsi-p'i* «серп» и его вариантов из и.-е. языков и затем прослеживает алтайские параллели и.-е. \**ser-p-*.

А. Х. Наута (Nauta A. H. *Lambdazismus im Tschuwassischen: Gtu. š = Tschuw. l und š*, S. 123—144) отмечает отсутствие параллелизма между ротацизмом и ламбдаизмом и, не делая окончательных выводов, систематизирует соответствия общетюркскому *š* чувашских *l* и *š*. А. Х. Наута разделяет мнение Г. Барчи и Л. Лигети относительно вторичности, «анорганического» характера *l* в венгерских словах *bolcsó* «колыбель» и *gyumolcs* «ябло, фрукт». Кстапи сказать, появление, «анорганических» согласных наблюдается и в тюркских языках [10].

В статье Д. Синора (Sinor D. *Some components of the civilization of the Türks. 6th to 8th century A. D.*, p. 145—159) высказывается мысль о гетерогенности этнического состава в тюркских каганатах (VI—VIII вв.) и о наличии разнородных элементов в культуре и языке как следствия стечения исключительных исторических обстоятельств. Свои суждения Д. Синор аргументирует ссылкой на существование нескольких систем пространственной ориентации, на особенности счета, на обилие титулов и имен не-тюркского происхождения, таких, как *šbāra*, *Bumīn-qayan*, *Istemi (Ištemi)-qayan*, *Nivar-qayan*, *Tonyuquq*, а также на свидетельств китайских источников.

Дж. Стары (Stary G. *Der Mandschukaiser «Abahai». Ein Versuch zur Klärung einer Namensmystifikation*, S. 161—164) указывает на ошибочность использования имени Абахай для второго маньчжурского императора, сына Нурхаци — основателя маньчжурской династии, правившей в Китае с 1644 по 1911 гг.

В статье М. Тарар (Tatár M. *Tragic and stranger ongons among the Altaic peoples*, p. 165—171) рассматриваются некоторые атрибуты шаманизма у алтайских народов, в частности культ онгонов — шаманских божеств, духов-помощников шамана.

Э. Трыярски (Tryjarski E. *Towards a better knowledge of the Turkic military terminology*, p. 173—183), напоминая о сенсационной находке на Алтае в Монголии изображений вооруженных «тунгусских» вадников, призывает к тщательному изучению военной терминологи-

гни тюрк и в качестве материала, иллюстрирующего ее богатство, приводит наименования различных видов защитного снаряжения как из древних, так и из современных тюркских языков: др.-тюрк. *yarıg*, ст.-узб. *kohā, bāgtar, opēn*, куман., ног. *kube*, куман. *buiulūk*, алт. *quyaq*, кирг. *sōt, bađana*, узб. *sowut*, тур. *boqal* «панцирь, кольчуга; латы»; ст.-узб., тур. *qalqan* «щит»; ст.-узб. *dabulqa ~ dawulqa* «шлем» и т. д.

Г. П. Фитце (Vietze H.-P. Probleme der Umschreibung mongolischen Sprachmaterials, S. 185—189) в своей статье касается вопросов графической передачи монгольского языкового материала.

М. Ф. Вейдлич (Weidlich M. F. The element -логи versus судлаа, зүй in Modern Mongolian, p. 191—196) характеризует положение в современном монгольском языке на протяжении последних двадцати лет семи интернациональных терминов, оканчивающихся на элемент -логи (антропологи, зоологи, палеонтологи, психологи, социологи, физиологи, экологи), показывает их соотношение с соответствующими монгольскими словами и степень вытеснения последними. Автор приходит к выводу, что из слов, замещающих -логи в собственно монгольских эквивалентах, наиболее употребительным становится *судлаа*, ср.: антропологи (anthropology) = *хүн судлаа*.

И. Зимони (Zimonyi I. The first Mongol raid against the Volga-Bulgars, p. 197—204), сопоставив сведения из разных источников, уточняет время первого похода монголов под предводительством Субедея и Джебе против волжских болгаров, закончившегося их поражением (1223 г.).

Подводя итог сделанному выше обзору, необходимо сказать следующее. Современная алтаистика включает в себя многие дисциплины, и поэтому статьи в сборнике охватывают большой круг вопросов, почти не поддающихся систематизации. Даже собственно лингвистическая часть тематики настолько разнородна, что едва ли можно было бы определить ее основную направленность. Рассматриваются некоторые фонетические явления, излагаются результаты изучения различных групп лексик (собственные имена, этнические наименования, термины и т. д.), описываются особенности ряда говоров. Сделаны

предложения по графической передаче языкового материала. Далее, уделено внимание процессам формирования словарного состава современных языков в связи с тенденциями к активации собственных лексических средств. Несмотря на пестроту тематики, в рецензируемом сборнике ставится и решается вполне определенная задача: сплосковать дальнейшему раскрытию своеобразие так называемого алтайского ареала, ставшего местом взаимодействия не только разных языков, но и разных культур, религий, хозяйственных укладов. Можно не сомневаться, что сборник будет положительно оценен специалистами и явится полезным пособием для всех, кто занимается алтаистикой.

Щербак А. М.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Щербак А. М. Постоянный Международный алтаистический семинар // ВЯ. 1970. № 4.
2. Стариков В. С. Земледельческие орудия лесостепных районов Восточной Азии. (К истории земледелия на Дальнем Востоке): Автореф. дис. ... канд. истор. наук. Л., 1966.
3. Барашков П. П. О происхождении слов «саха» и «якут» // Полярная звезда. Якутск, 1977. № 4.
4. Барашков П. П. Фонетические особенности говоров якутского языка. Якутск, 1985. С. 6.
5. Menges K. H. Die ewenki-tungusischen Materialien von K. M. Ryčkov // UAJb. 1978. L.
6. Васильев Г. М. Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка. Л., 1948. С. 60.
7. Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. I / Сост. Васильев Г. М. Л., 1936. С. 263—267.
8. Иванов Вяч. Вс. Разыскания в области анатолийского языкознания. 3—8 // Этимология. 1976. М., 1978. С. 159—160.
9. Maenchen-Helfen O. Are Chinese *hsi-p'i* and *kuo-lo* IE loan words? Language. 1945. 21.
10. Eckmann J. Kelime ortasinda anorganik b, p ve m'nin türemesi // Türkiye Mecmuası. 1953. X.

Специалистам, знакомым с прежними работами В. М. Павлова (наиболее крупные из них — [1—3]), в которых исследуются те же в основном, вопросы, что и обозначенные в названии рецензируемой книги, наверняка запомнилась авторская манера изложения. В ней, как правило, отсутствует навязчивая «прескрипционность», а ее место занимает принципиальная аргументация. Понимание того, как «возникает и укрепляется иллюзия, при которой знание языка и сам язык оказываются „слиященными“ воедино» (с. 8), заставляет автора с самого начала «догвориться о терминах». Но делает он это отнюдь не мельком, как нередко еще бывает, и не в оправдание априори намеченной схемы. Остановимся на основных положениях работы.

Прежде всего — исходная исследовательская позиция (словами автора): «Лингвистика... как научное целое..., независимо от своих отдельных специфически формальных ответвлений..., всегда остается „глубинно“, с точки зрения своих действительных исходных предпосылок, и личностной, и психологически ориентированной, придерживается понимания объективности языковых значений как объективности фактов „языкового сознания“ говорящих индивидов... Афористически заостряя это положение, можно сказать, что лингвистика не может и не быть психолингвистикой (то, что она далеко не всегда выступает в этом качестве в своей рефлексии на себя, ничего не меняет)» (с. 11; рядка наша. — Г. И.). Называя имена крупнейших лингвистов — от В. Гумбольдта до Л. В. Щербы, — автор считает заслугой их и направлений, ими созданных, идею, согласно которой нельзя отделять «язык от говорящих на нем индивидов» (там же). А поскольку сам автор активно и убедительно выступал против неогумбольдтианства в виде «теории лингвистической относительности» (но отнюдь не против явленной лингвистической относительности, в языке [4]), то его протест против «отчуждения» языка и его носителя разрешается положительно. Это находит отражение в том, что: а) «без понятия воспроизводимости языковых образований лингвисту не обойтись; свойство их воспроизводимости логически ведет к „хранилищу“ воспроизводимого..., то есть к памяти человека (соответственно и коллектива людей)» (с. 13); б) система лексических значений любого языка «задает» языку в конечном счете извне его, из области его надсистемы — человеческой деятельности и человека как ее субъекта и одновременно „носителя“ язы-

ка, с его потребностями, способами их удовлетворения, вообще с его существенными свойствами — совокупностью всех общественных отношений... Лексическая функция конституируется на основе означаемого — и в этом отношении она „задается“ языку действительно „извне“...» (с. 22). При этом автор никак не забывает и «давления» самой языковой системы, подчеркивая, однако, основное, что на деле столь часто забывается; орудийность самого языка, функционирующего ради потребностей в коммуникации, накрепко вплетенной в то, что принято называть «экстралингвистикой»; в) «языковая память» хранит признаки конструкций (воспроизводимых регулярно или окказионально в речи. — Г. И.) — наверняка не в форме их „метаязыковых описаний“, — поручкой их действительное воспроизведение, в том числе в речи людей, не знакомых ни с какими „метаязыковыми описаниями“» (с. 23). Можно было бы добавить, что практическое изучение первого (родного) или иностранного (второго) языков в плане владения ими просто невозможно, если опираться на самые, казалось бы, серьезные и «обоснованные» метаязыковые описания; г) «любое языковое средство, применяемое в речи, применяется в ней не как нечто абсолютно тождественное самому себе, „заранее готовое“..., а в порядке повторных преобразований определенной „матрицы“-стереотипа (ячейки языковой функциональной системы) в процесс ее собственного воспроизведения; „повторяя себя“ в процессе своего воспроизведения, такая кодовая „матрица“ в противоположность, например, образу типографского набора или штампа в машине, не утрачивает способности к адаптивным видоизменениям, постепенным и, как правило, не нарушающим в процессе эволюции ее тождества самой себе» (с. 9). Здесь, обращаясь к широкому контексту книги, следует добавить, что В. М. Павлов объясняет, собственно говоря, механизм любых эволюционных языковых изменений, при которых традиция сохраняется вначале огромное большинство функционирующих единиц в их парадигматической и синтагматической «неприкосновенности», но и — в то же самое время — наполняет их вариативными, все новыми и новыми смысловыми и иными потенциями. При этом не забывается, что указанная традиция — как и потребности в изменениях — есть продукт индивидуальной и коллективной коммуникативной активности носителей языка, их «языковой компетенции». В связи с этим автор не раз вспоминает концепции

Г. Пауля; д) противоречивость тенденций к «сохранению» и к «изменению», реальная коллективность функционирования языка в речи на протяжении колоссальных временных промежутков, разнообразнейшие социолингвистические факторы, а также особенности психологии личности и группы заставляют автора вспомнить слова М. Матезиуса о том, что «при анализе языка чрезмерно логичные и вследствие этого излишне упрощенные построения всегда будут убедительными» (с. 145). Добавим еще: неполными, а поэтому и недостоверными; е) известной формуле — «предложение есть система, элементами которой являются слова» — автор противопоставляет свою формулу: «предложение есть система, элементами которой являются лексемы, вовлекаемые в процессе формирования предложения и получающие в ходе его формирования конкретно-языковое грамматическое оформление, соответствующее коммуникативной задаче высказывания, осуществляемого посредством данного предложения» (с. 89; разрядка наша. — Г. И.). Эта формула принципиально отлична от обычно применяемой, ибо она указывает на процессуальность, на роль говорящего в процессе коммуникации. Именно говорящий ставит коммуникативную задачу и подчиняет ей любые языковые средства; следовательно, он реализует все и всяческие адаптивные потенции — лексемы, лексемного сочетания, предложения в целом. Можно и должно говорить о том, что коллектив носителей создает сами эти адаптивные потенции, а не использует лишь уже «данные» и «системные»; ж) ясно, что процессуальность языка (живого, в речи) заставляет В. М. Павлова особенно внимательно исследовать всевозможные «нерегулярности», «переходные случаи», «промежуточные состояния». Именно поэтому автор солидаризируется с позицией П. Я. Скорика, который характеризует «инкорпоративные комплексы как образования промежуточные, объединяющие в себе свойства сложного слова и (синтаксического) словосочетания» (с. 130). По этой же причине он рассматривает самые разнообразные случаи (на материале разных языков), не укладывающиеся в строгое «или — или», настаивает на закономерности широкого распространения «индивидуально-речевых ситуативных образований» (по известным моделям) (с. 252) и доказывает, что так называемые «авторские неологизмы» в сфере словообразования (композиции) на деле, как правило, стилистически неспецифичны, лишены приписываемой им экспрессивности (с. 179—200 и др.). Здесь можно было бы добавить,

что по нашим собственным наблюдениям, деги, для которых немецкий язык является родным, разумеется, без интенций стилистического порядка используют собственные единицы типа *Puppentat* «рука от куклы», *Nasenburste* «щетка (волосы) в носдре», *Spuckenerbse* «горошина для выдувания („плевание“) из трубки». При этом любая инновация охотно подхватывается и используется окружением, после чего, не получая дальнейшего подкрепления, видимо, забывается, но сам механизм довольно произвольного («свободного») словосложения явно продолжает действовать и потом, в зрелом онтогенезе. В прессе же, особенно в информативных жанрах, а также в публицистике и собственно художественно-литературных текстах (это показал и В. М. Павлов) «композиции-неологизмы» всякого рода возникают на каждом шагу.

Не совсем ясно, почему В. М. Павлов не использует речевые (и весьма распространенные в профессиональной среде) словообразовательные единицы русского языка, когда рассматривает немецкие и французские, узбекские и английские. Вероятно, *БА Мстрой*, *ХБ-изделия*, *р-ритмы*, *ни-квадратные выражения*, *ко-привет* и др. могли бы дополнить иллюстративный материал и выявить некоторые универсали в неблизко-родственных языках. Полагаем также, что ошибки учащихся разных классов и ошибки тех, для кого русский язык является неродным (в СССР) или иностранным, выявляющиеся в случаях ненормативно-слитного написания, могли бы дать в будущем интересный материал для выяснения условий превращения словосочетания в сложное слово. Во всяком случае, такого рода ошибки наблюдаются в большинстве случаев именно там, где соседние лексемы встречаются рядом и именно в таких (атрибутивных и субстантивных) сочетаниях, о которых пишет В. М. Павлов (с. 114—141 и др.).

Есть в основательной работе В. М. Павлова и некоторые неясности, и спорные положения, из которых отметим следующие. На с. 105—106, иллюстрируется правило «изафета» (т. е. постпозитивного определения) с «чистой» основой (автор дает пример узб. *сув бети* «водная поверхность»). Но «чистая» основа не *сув*, а *су*. Ср. также *сув* на с. 108. На с. 25 автор пишет о принципиальной немотивированности именно одиночного лексического знака, «природа которого не имеет ничего общего с „природой“ обозначаемого им предмета». Правда, дополнительно (в скобках) тут же уточняется: «отсутствие *н* *е* *о* *б* *х* *о* *д* *и* *м* *о* *й* связи между ними». Не вступая здесь в дискуссию с позиций достаточно успешно развивающейся фоносемантики, отметим все же, что при-

существование необходимой связи между двумя отмеченными «приодами» в определенных сферах лексики доказывается и с помощью немецких примеров, помещенных автором в книгу на с. 198—222 (с иными, разумеется, целями): *pfeif-* (*pfiff-*), *glatt-*, *schrei-*, *spring-*, *blick-*, *brüll-*, *peitsch-*, *klatsch-*, *klopf-* (*klopp-*), *glanz-*, *fleck-*, *strom-*, *dünn-*, *plötz-*, *platz-*, *spitz-*, *treff-* и др. (для краткости даны только основы). Каждая из приведенных основ здесь либо звукоподражание (имитатив), либо звукообраз.

Чтение книги В. М. Павлова заставляет все время задуматься и над общими вопросами языковедения, и над частностями германистики. Рецензируемая книга — несомненная творческая удача автора.

Горелов И. Н.

1. Павлов В. М. Развитие определительного сложного существительного в немецком языке // Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. 1958. Т. 190. Ч. 2.
2. Pavlov V. M. Die substantivische Zusammensetzung im Deutschen als syntaktisches Problem. München, 1972.
3. Pavlov V. M. Zur Ausbildung der Norm der deutschen Literatursprache im Bereich der Wortbildung (1470—1730: Von der Wortgruppe zur substantivischen Zusammensetzung. Berlin, 1983.
4. Павлов В. М. Проблема языка и мышления в трудах Вильгельма Гумбольдта и в неогумбольдтианском языковедении // Язык и мышление. М., 1967. С. 152—161.

Русский язык в Белоруссии / Под ред. Михневича А. Е. Минск: Наука и техника, 1985. 272 с.

Многоплановый характер изучения русского языка как средства межнационального общения определяется расширением его общественной значимости в разных национальных республиках, особенностями функционирования русского языка на всей территории нашей страны, сферами его распространения и использования как средства межнационального общения [1].

Огромная социальная значимость русского языка как средства межнационального общения выдвигает на современном этапе общественного развития в число первоочередных задач советского языковедения проблему всестороннего описания и изучения процессов функционирования русского языка на территории союзных республик в условиях национально-русского двуязычия. Свою ярко выраженную специфику имеет характер функционирования русского языка в близкородственном языковом окружении в Украинской и Белорусской ССР. Украинские и белорусские языковеды ведут активную работу, в том числе и совместную, по исследованию различных аспектов данной проблемы (см. [2, 3]). Среди работ белорусских исследователей видное место занимает и рецензируемая нами коллективная монография, в которой освещаются такие актуальные экстра- и интралингвистические проблемы, как языковая ситуация в БССР, фонетические особенности русской речи белорусов, языковая специфика русскоязычной художественной литературы, культура русской речи в республике, а также состояние и пер-

спективы изучения русского языка в Белоруссии.

Основным методологическим принципом исследования языковых фактов в книге является социально-политическая оценка реально существующей языковой ситуации, базирующейся на динамической интерпретации современного общественного развития в стране в целом.

В разделе «Русский язык в национальной республике» рассмотрены основные аспекты проблемы. Здесь, правда, в весьма общих чертах, обосновывается исторический аспект белорусско-русского двуязычия и белорусско-русских языковых контактов, позволяющий раскрыть предпосылки и пути формирования современной языковой ситуации в республике, интерпретируются примененные в работе социолингвистические и описательно-лингвистические методы анализа, дается общая характеристика демографической и языковой ситуации в БССР.

Раздел «Языковая ситуация в сельской местности» содержит социолингвистическое описание языковой ситуации в обследованных путем анкетирования с использованием единой анкеты шести населенных пунктах — по одному из всех шести областей БССР. Очерки снабжены сведениями исторического, этнографического и социолингвистического характера, а также транскрипционными записями русской речи. Вместе с тем сам по себе положительный факт включения данного раздела в книгу из-за отсутствия в ней соответствующего раздела, посвященного языковой ситуации в условиях городской

местности, свидетельствует об определенной рыхлости и недостаточной продуманности структуры монографии в целом. Богатым фактическим материалом насыщены разделы «Реальная и потенциальная интерференция в условиях близкородственного двуязычия» и «Фонетические особенности русской речи в Белоруссии», имеющие конкретную практическую направленность на преодоление интерференции и повышение культуры русской и белорусской речи в республике.

В этих разделах на основании сопоставительного анализа лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса русского и белорусского языков раскрываются явления реальной и потенциальной интерференции, т. е. возможных ошибок в русской речи, звучащей в условиях близкородственного белорусского окружения. Изложенный в книге материал свидетельствует, что наибольшее количество интерференционных ошибок порождают лексические и словообразовательные явления, частично совпадающие в русском и белорусском языках. Так, например, лексическая интерференция связана прежде всего с неполным совпадением лексико-семантических и тематических групп слов в русском и белорусском языках. Авторы справедливо предполагают, «что чем выше степень тождества соответствующих русских и белорусских лексико-семантических и тематических групп, тем сильнее тенденция к взаимозаменяемости лексем, т. е. тем больше вероятность интерференционных ошибок в речи двуязычных говорящих» (с. 61). Вместе с тем в данном разделе отсутствует четкое разграничение между лексической и словообразовательной интерференцией, нет даже определения этих понятий. В целом материал в данном разделе излагается весьма поверхностно, в нем, как правило, лишь констатируется возможность возникновения того или иного вида интерференции (лексической, морфологической, синтаксической, стилистической и др.) без учета данной конкретной речевой ситуации, т. е. социолингвистический метод исследования здесь по существу не применяется. Попытка учета некоторых данных социолингвистического порядка, как, например, места проживания, уровня образования, ситуации общения, наблюдается лишь в разделе, посвященном фонетическим особенностям русской речи в Белоруссии, автор которого приходит к выводу, что «более успешным является овладение знаниями в области лексики, морфологии и синтаксиса и хуже усваивается звуковой строй русского языка, опосредованно связанный с передачей смысла высказывания» (с. 123).

Определенной новизной постановки

проблемы характеризуется один из центральных подразделов книги — «О некоторых теоретических вопросах культуры речи билингва», в котором теоретически обосновывается четкое разграничение понятия культуры речи и культуры языка. Под культурой языка при этом понимается состояние национального языка, т. е. уровень его развития, лексическое богатство, стилистическая дифференцированность и т. д., а под культурой речи — степень приобщения к этому языку, степень овладения им как отдельной личностью, так и коллективом людей. «Для разработки проблем культуры речи на неродном языке культура этого языка оказывается во многом на периферии научных и практических интересов лингвистов, методистов...» (с. 160). Особенность проблематики культуры русской речи в белорусском языковом окружении усматривается «в особой значимости каллиграфического аспекта обучения русскому языку (в отличие от аспекта ортологического)» (с. 161). В книге утверждается, что при исследовании проблем культуры речи в условиях близкородственного двуязычия понятие «культура русской речи», целесообразно включить в более широкий социолингвистический контекст, исходя при этом из более объемной концепции «культура общения». Убедительность обоснования данного положения не исключает того, что широкая проблема «культуры общения» охватывает и включает в себя также и вопросы культуры русской речи как в близкородственном языковом окружении, так и в основном ареале распространения русского языка как национального. Специфичным для культуры русской речи в близкородственном языковом окружении является необходимость строгого учета различных видов и форм языкового взаимодействия близкородственных национального языка и русского, выполняющего функции языка межнационального общения.

Специальный раздел книги посвящен языковым особенностям русскоязычной художественной литературы Белоруссии. В нем содержатся данные из истории художественно-литературного двуязычия в Белоруссии, анализируются русскоязычные произведения Максима Богдановича и Якуба Коласа, рассматриваются белорусизмы в поэтическом переводе, устанавливается проницаемость языковых уровней при взаимодействии белорусской и русской языковых систем при переводе, выделяются типы лексической интерференции при поэтическом переводе.

В известной мере избирательный характер по отношению к объекту исследования носит раздел «Белорусско-русское двуязычие и ономастика», в котором рас-

смотрены вопросы русско-белорусского антропонимического взаимодействия и воспроизведения ойконимов Белоруссии средствами русского языка. В разделе прослеживаются изменения, которые претерпели белорусские ойконимы в процессе их исторического развития, отмечается ряд тенденций, характеризующих процессы топонимической номинации в настоящее время.

Заключает книгу небольшой по объему, но насыщенный сведениями информативного плана раздел «Из истории изучения русско-белорусских языковых отношений».

Несмотря на наличие отдельных недостатков, определенную разноплановость как самого лингвистического материала, так и его подачи, некоторую перенасыщенность и пестроту объектов исследования в ущерб глубине и всесторонности охвата важнейших проблем, рецензируемая книга представляет большой научный интерес как первый опыт социолингвистического

подхода к проблеме научного изучения процессов и форм функционирования русского языка как средства межнационального общения народов СССР. Она, бесспорно, принесет большую пользу как лингвистам-теоретикам, изучающим проблему близкородственного двуязычия, так и практикам, занимающимся вопросами ортографии, повышения культуры русского и национальных языков.

Ижакевич Г. П.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов В. В. Об изучении русского языка как средства межнационального общения // Русская речь. 1976. № 5.
2. Культура русской речи на Украине. Киев, 1976.
3. Функционирование русского языка в близкородственном языковом окружении. Киев, 1981.

Dictionary of Russian abbreviations / Compiled by Scheitz E. Amsterdam — Oxford — New York] — Tokyo: Elsevier, 1986. 695 p.

Первое, что хочется сказать о рецензируемом словаре, — это то, что он является результатом большого, продуманного и успешного труда его автора Эдгара Шайтца. Сама книга, воплощающая в себе этот авторский труд, создана так, что она неброско, но очевидно служит одной цели, общей для автора и издателей, — наилучшим образом довести до заинтересованного пользователя 40 тыс. русских аббревиатур. В краткой и информативной аннотации, а также в предисловии от издателей, занимающем полстраницы текста, приводятся лишь самые необходимые сведения о включенных в словарь аббревиатурах за период с конца XIX в до самого последнего времени. Таким образом, в словаре представлены аббревиатуры практически за столетний период.

Сорок тысяч аббревиатур<sup>1</sup> проясняют по крайней мере удесятенное число зашифрованных ими значений. Эти весьма приблизительные подсчеты приводятся лишь для того, чтобы показать объем работы, сделанной одним автором. Словарь — явление достаточно уникальное в современной лексикографии — отражает авторское согласие с самим собой (чему не мешает включение в словарь значения «самонесовместимость» — СНС,

с. 542). Когда человек делает какую-либо работу от начала до конца, то он испытывает удовлетворение от совершенной и завершенной работы. Это чувство удовлетворения имеет свойство передаваться тому и тем, кто пользуется результатом его труда. Автор имел перед собой одну очевидную цель: помочь современному человеку разобраться в океане аббревиатур русского языка, т. е. поставить рядом с той или иной аббревиатурой ее значение, а чаще — несколько или даже много ее значений. Рецензируемый словарь — толковый словарь аббревиатур, сложносокращенных слов, иногда сложных или сокращенных (усеченных) слов русского языка. Словарная статья имеет в левой части толкуемую аббревиатуру, сложносокращенное слово, сложное слово или сокращенное (усеченное) слово, а в правой — ее толкование.

1. Аббревиатуры и другие толкуемые слова рассматриваются автором гугубо в сфере письменного языка, что объясняет отсутствие в тех случаях, где это возможно) ударения — практически обязательного знака в русской лексикографии — и произносительных помет<sup>2</sup>. Принадлежность аббревиатур преимущественно

<sup>2</sup> В [1] (там, где это возможно) дается ударение (*облапрофсовёт, обласовёс, Средволгоемин, Центравототех* и т. д.) и произношение.

<sup>1</sup> Словарь сокращений русского языка [1] содержит около 17 700 сокращений.

но письменному языку находит объективное подтверждение в том, что в аббревиатурах свойственная письменному языку строгая нормативность проявляется прежде всего как нормативность графическая. Именно эта специфическая особенность аббревиатур получила самое тщательное воплощение в рецензируемом словаре, наилучшим образом выполняющем две неразрывно связанные между собой задачи: 1) максимально точно графически идентифицировать аббревиатуру и 2) соотнести именно с этой графической ее записью число имеющихся в языке и обнаруженных, найденных автором словаря значений.

Рассмотрим, какие графические средства из русского алфавита используются в аббревиатурах. Прописная буква, набор прописных букв. Строчная буква, набор строчных букв. Отметим, что графическая нормативность проявляется в аббревиатурах, в частности, в том, что в конкретной аббревиатуре нельзя произвольно заменять шрифт, например, строчную а прямого шрифта в значении «атто.», «ар» нельзя заменить строчным курсивом а (как это сделано в [1]). В рецензируемом словаре для указанных значений правильно дается прямое строчное а (как и в [2]). Сочетание прописных и строчных букв. Прописные и строчные буквы в сочетании с разными знаками. В аббревиатурах используются следующие знаки: точка, дефис, кавычки, круглые скобки, а также графические знаки пробела и контакта (например, МО БД; МОБЛРКИ). Все эти знаки представлены в Directions for use (с. 6) и даны в последовательности, определяющей более дробную систематизацию материала внутри алфавитного членения, удачно названную автором «alphabetization». В аббревиатурах возможно не встречающееся в обычном языке сочетание знаков, например, точки и дефиса: А.-А. «Алма-Ата», к.-п. «книга-почтой». Таким образом, из всей палитры знаков препинания в аббревиатурах используются только знаки конца и середины слова — точка, дефис, пробел (показательно отсутствие знака тире как знака межсловного).

В идеале у аббревиатур не должно быть вариантов, но поскольку они являются словами языка (естественной и в какой-то степени саморегулирующейся системы) и поскольку нормализация в этой языковой сфере явно еще недостаточна, то в реальной языковой практике у многих аббревиатур имеются варианты. В отличие от [1], в котором вышедшие из употребления или не соответствующие современным правилам правописания вариан-

ты не приводятся (с. 9), в рецензируемом словаре даются все замеченные автором варианты на своем «алфавитизационном» месте. Иными словами, Э. Шайтц свою задачу видит в том, чтобы собрать весь материал и представить его в принятой им для себя последовательности, не включая в эту задачу проблему нормализации аббревиатур. И поскольку первая задача — собрать и представить аббревиатуры в определенном порядке — выполнена автором превосходно, можно только приветствовать желание автора быть максимально объективным в отношении к своему материалу. Именно языковой материал, тщательно собранный и объективно представленный, является тем хорошо всаханым полем, на котором могут произрастать любые семена лингвистического анализа, в том числе и нормализаторского. В словаре на своем алфавитном месте даются: ср. В. и ср. Век «средние века»; срвек и ср.-век «средневековый»; с. и стр. «страница», с.х., с/х и с.х-во «сельское хозяйство» и т. д. В отношении аббревиатур, написанных либо прописными, либо строчными, в рецензируемом словаре принят такой принцип — они приводятся в одной словарной статье; на первом месте дается написание прописными, за ним — строчными буквами: МИКРОГЭС, микрогэс; РОНО, роно; ОбЛОНО, облоно; СПЕЦГЕО, Спецгео и т. д.

В объективном зеркале словаря Э. Шайтца интересно наблюдать наиболее спорные вопросы орфографического оформления аббревиатур. Первый из них — возможность постановки прописных после строчных внутри одной аббревиатуры. Так, в [3], если аббревиатура находится в середине или в конце сложносокращенного слова, она пишется строчными буквами; например: Промтрансшиппроект, Гидродорния (с. 327). В другом издании — [4] написание прописных после строчных в составе аббревиатур допускается: УкрНИИпроект, ГипроНИИполиграф (с. 85). Материал, содержащийся в рецензируемом словаре, наглядно демонстрирует невозможность запрета прописных после строчных или внутри строчных в аббревиатурах. Совершенно очевидно, что такое написание уже является нормой, как ни оскорбляет оно естественное орфографическое чувство пишущего. Приведем лишь некоторые примеры: обЛИКО, облИУУ, облКК, спецВТЭК, СяЦ «счетовик циклов», ЦелинНИИМЭСХ, ЮжНИИГим и т. д.

Другим спорным и сложным орфографическим вопросом для аббревиатур является написание аббревиатур, образованных от таких собственных имен, как Казань, Кубань, Рязань, Тюмень и некот. др. Приведем примеры на эти соб-

ственные имена из рассматриваемого Словаря, и орфографическая проблема станет очевидной: **казан.** «казанский», **Казан. астр. обс.** «Казанская астрономическая обсерватория», **Казан. ин-т с.х. и лесовод.**; **Кубан. СХИ см. КубаньСХИ** «Кубанский сельскохозяйственный институт», **Кубаньвино** «Кубанское винодельческое объединение», **Кубаньгазпром**, **Кубаньгипросельхозстрой**; **Рязансельмаш** «Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения», **Рязаньстрой**; **Тюменьгорстрой**, **Тюменьгражданпроект**, **Тюменьнефтегеофизика**, **Тюменьоблстрой**, **Тюменьпромстройпроект**, **Тюменьсельмаш**, **Тюменьстройпуть**. Мягкое конечное *н* принципиально отвердевает в прилагательных. Аббревиатуры образованы на основе прилагательных, и по норме *н* в них должно быть несмягченным, но параллельно в аббревиатурах действует другая закономерность — они содержат имя собственное, у которого недостает только мягкого знака, ср. **Рязансельмаш** и **Рязаньстрой**. По материалу, приведенному из словаря, очевидно, что тенденция за формами, где имя собственное представлено полностью (с мягким знаком). В этой тенденции очевидно влияние фактора, о котором говорилось в начале рецензии, — принадлежности аббревиатур преимущественно письменному языку, превалирования в них письменного, графического над звуковым. Глаз оказывается оскорбленным больше, чем ухо, отсюда очевидное преобладание в этих аббревиатурах имен собственных в полной форме — **Тюменьсельмаш**, **Тюменьстройпуть** и т. д.

II. Основным показателем качества любого словаря является состав его словника. Словник словаря имеет свои координаты для анализа — времени и объема (неразрывно связанного с представительностью). Координата времени. Э. Шайтц включает в словарь аббревиатуры, начиная с конца XIX в., и некоторые аббревиатуры, которые существовали на протяжении всего XIX в.: **ЮРОАТ** «Южнорусское общество торговли аптекарскими товарами» с пометой (*дорев.*) **руб. асс**, **руб. сер**; **С.-«санкт-»** (*напр. С.-Петербург*), **СПб**, с. «сажень», «сын» (в фирменных названиях), **Г**, и **г.** «господин», «госпожа», **Имп**, **имп.** «императорский» (*дорев.*) и некот. др. Разумеется, этих сокращений, относящихся к XIX в., в словаре немного, они даются автором выборочно, по хорошо, что они есть. Они раздвигают временные границы словаря, позволяют почувствовать естественную «связь времен». Ведь носитель современного русского языка искренне считает, что аббревиатуры — явление исключительно послереволюционной эпохи. Между тем в России существовала неко-

торая языковая традиция в отношении сокращений. Дослотно напомнить такие факты, как употребление под титлами сакральной лексики, обычай вырезать на пасочницах ХВ; произнесение слова *-ер*, являющегося сокращением *сударь* (*да-сь, нет-сь* и пр.). Существовала и лексикографическая традиция, во всяком случае, в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (1-е изд. 1863—1866 гг.) при описании некоторых букв даются принятые в то время сокращения. «Б. Сокращенно; б. большой, более; б.м. более или менее; б.ч. большею частью; В. великий, восток, воскресенье, верста, вершок, величество, высочество. В сокращ. Г. означает господин, госпожа, иногда город, также генерал, губернатор шпр. Гг. господа; М. Г. милостивый государь Сокращенно д. означает действительный, нпр. д. член, д. ст. сов., нпр. также доктор» и т. д. Что же касается аббревиатур последнего времени, то они представлены в словаре более чем полно. Иллюстрировать это положение материалами словаря не будем, так как для этого пришлось бы приводить слишком много примеров.

Координата объема и представительности материала. Объем — 40 тыс. аббревиатур говорит сам за себя. Какие же типы аббревиатур включены в словарь? Кроме аббревиатур по определению, Э. Шайтц включает слова, которые, собственно, аббревиатурами не являются, такие, как **ядохимикаы**, **авиаспорт**, **авиатехника**, **авиаопливо**, **авиатрасса**, **автосварщик**, **автомобиль**, **автослесарь**, **автотракторный**, **авторучка**, **газоаппаратура**, **газобаллон** и т. д. Вряд ли эти слова можно отнести к аббревиатурам. Их значение не всегда выводится из составляющих частей. Это сложные слова. Видимо, автор сам чувствует неполную обязательность слов подобного типа в его словаре, и по этой причине они даны более чем выборочно, при полной неопределенности — почему дано одно слово и не дано другое подобное же.

Дослотно полно даны в словаре слова типа **Александряуголь**, **Карагандауголь**, **Тулауголь**, **Эмбаефть** и под. Однако вряд ли можно считать аббревиатурами — это сложные существительные, образованные путем словосложения, как и имеющаяся в словаре сталь **серебрянка**. Это образования иного порядка, чем **Тулашахтстрой**, **Карагандагипроуглемаш**, которые включены на законном основании. Словами, не вполне уместными в этом словаре, кажутся и слова типа **авиа**, **авто**, **радио**, **фото**, но они так неожиданно высвечиваются в окружении аббревиатур, что уже по одному этому мы должны быть благодарны за их включение. Из назван-

ных слов нейтральными для современного состояния языка оказываются два — **авиа** и **радио**. Да и то **авиа** в качестве надписи на почтовых отправлениях теряет свою силу, поскольку вся почта практически стала **авиа**. Рекомендации же Словаря под ред. Д. Н. Ушакова относительно слов *автo* (разг.) *Автомобиль* и *фотo* (нов.) Фотографической снимок являются точной иллюстрацией к известному изречению — «в одну и ту же воду нельзя войти дважды». Эти два слова в наши дни имеют явный привкус историзмов. Уже никто в настоящее время не скажет про автомобиль — *автo*. (Это слово имеет иное ударение, чем в словечках с *автo*..., в отличие от *авиа*, *радио*, *фото*, имеющих то же ударение). *Автo* не включается в Словарь С. И. Ожегова (М., 1984). Слово *фотo* в Словаре Ожегова есть, но с пометой «прост.» — а в Словаре под ред. Д. Н. Ушакова оно имело помету «нов.»!

Э. Шайтц включил в свой словарь принятые в письменном языке сокращенные формы распространенных личных имен: **Алдр.** (Александр), **Ал-дра** (Александр), **Алекс.** (Александр, Алексей), **Алевт.** (Алевтина), **Бор.** (Борис), **Вас.** (Василий), **Вс.** (Всеволод), **Вяч.** (Вячеслав), **Гр.** (Григорий) и некот. др. Правда, из женских имен удалось обнаружить только два — *Александра* и *Алевтина*, нет ни *Ирины* (Ир.) ни *Наталии* (Нат.). Особенно удивительно отсутствие сокращения от имени *Иван*. В рецензируемом словаре даются аббревиатуры **ИВАН** (Институт востоковедения Академии наук), **Ив** (Иваново), но нет сокращения от имени, между тем, сокращения **Ив.** (Иван) и **Ив. Ив.** (Иван Иванович) являются широко распространенными сокращениями.

Несмотря на всю полноту рецензируемого словаря и высокую степень представительности разных типов аббревиатур, в нем есть нежелательные проблемы. Так, в словаре приводится **МИКРОГЭС**, **микрoгeс** и отсутствуют *микрoЭВМ*, даются чв-д «человеко-день», чв.-ч «человеко-час» и отсутствуют аббревиатуры таких единиц, как «человеко-единица», «человеко-доза». С другой стороны, не ясны причины, по которым включено слово **солировать** «быть солистом, выступать солистом» и некот. др. Вместе с тем следует сказать, что словарь безусловно хорош, можно только удивляться, как удалось Э. Шайтцу так много в него вместить. Нежелательные отсутствия неизбежны в любом словаре. Совершенно очевидно, что у автора были хорошие, надежные, представительные и разнообразные источники. И все же хотелось бы видеть в словаре список хотя бы основных из них. Наличие такого списка

еще больше утвердило бы документальную доказательность словаря.

В заключение хочется сказать несколько слов о языке, которому приходится иметь дело с таким количеством трудно усваиваемого материала. Разаумеется, **аббревиация** — явление, свойственное по крайней мере основным европейским языкам. Количество аббревиатурных образований нарастает даже в языковых сферах, в которые их обычно не допускают. Так, Марлен Дитрих в своей книге «Размышления» (М., 1983), описывая тип женщины, какой ей приходилось играть в 20-е годы, называет его «*femme fatale*» — роковая женщина, а сейчас этот тип мы называли бы — *женщина-вамп*. Весьма распространенной является в настоящее время группа слов с *поп-* (отсутствующая, кстати, в словаре): *поп-арт*, *поп-группа*, *поп-искусство*, *поп-культура*, *поп-музыка*, *поп-музыка*, *поп-религия*, столь же обширные группы слов с *порно*..., *ретро* и др.

Интересно, что даже те аббревиатуры, которые существуют только на бумаге и создаются исключительно в целях ее же экономии, начинают вдруг проникать в устный литературный язык, а из него — в художественную литературу. «У тебя не найдется грех р.?» «Скажите, сколько с. в вашей книге?» Вслух, закачывая речь: «И т. д. и т. п.» В школьном жаргоне *физ-ра* «физкультура», *лит-ра* «литература» и мн. др. звучат как нейтральное название соответствующих предметов. Параллельно происходит и противоположный процесс — аббревиатуры включаются в языковую игру, это один из способов языка усвоить их. Так, в детской сказке Л. И. Лагина «Старик Хоттабыч», наряду с главным персонажем — джинном, вырвавшимся из бутылки, действует другой — главный *маг Универ*. Кстати, сравнительно недавнее образование *универсам* «универсальный магазин» (приводится в словаре) оказалось удачным потому, что конечное *-сам* в этом образовании как нельзя более подходит к этому типу магазина. Но это *-сам* — не от аббревиатуры. Это игра случая. И это слово уже обыгрывается в языке: «Где купили? *Сами* в *универсаме*?».

Аббревиатуры иногда создают целikom в сфере устного шутливого языкового общения, как, например, *гранпри* — об обширном приказе, содержащем сведения, весьма далекие от награждения. Такие языковые мимолетности возникают часто и служат той же цели, что и *маг Универ* Л. И. Лагина. Языковая игра — лишь один из путей освоения языком аббревиатур. Этот путь важен, потому что он относится к области бессознательного, — имеющей для языка

особое значение. Но не менее важны и другие стороны языковой деятельности по отношению к массе существующих и постоянно создающихся аббревиатур — деятельность сознательная, в том числе и нормализаторская. Трудность представляет произношение аббревиатур, которое далеко не всегда можно вывести из произношения составляющих их букв, трудность склонения и орфографии. Последнее особенно важно, поскольку аббревиатуры прежде всего принадлежат языку письменному. Орфография аббревиатур является белым пятном на лингвистической карте письменного языка.

Словарь Э. Шайтца представляет собою

полный и надежный материал для всех этих исследований.

Калакуцкая Л. П.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Словарь сокращений русского языка / Под ред. Алексеева Д. И. 3-е изд., М., 1983.
2. Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
3. Розенталь Д. Э. Прописная или строчная (Опыт словаря-справочника). М., 1984.
4. Справочная книга редактора и корректора / Под ред. Мильчина А. Э. М., 1985.

*Smeets E. Studies in West Circassian phonology and morphology. Leiden: The Hakuchi Press, 1984. 489 p.*

В изучение западнокавказских (абхазо-адыгских) языков внесли немалый вклад такие зарубежные ученые, как Г. Деетерс, Ж. Дюмезиль, Г. Фогт, У. Аллен, И. Кноблех, А. Койперс и др. За последние два десятилетия появились новые имена зарубежных кавказоведов — К. Парри, Е. Провази, Б. Хьюитт, Р. Сметс и др., успешно разрабатывающих вопросы фонетики, грамматики и лексики западнокавказских языков. Рецензируемая работа голландского лингвиста Р. Сметса, выполненная на материале языка анатолийских шапсугов (адыгейцев), состоит из четырех частей.

В первой части (с. 33—109) даются общие этнолингвистические сведения о языках и народах Кавказа, а также краткая характеристика западнокавказских языков и состояния их разработки.

Вторая часть — центральная по значимости и самая большая по объему (с. 111—287) — включает синхронное описание звукового строя, морфемного и фонемного состава слова, варьирования морфемы, ее фонетических, морфонологических признаков, основных структурных вариантов глагольных префиксов, суффиксов и окончаний. Особенно подробно освещаются распределение гласных и согласных в слове, их позиционные особенности, фонетические изменения, альтернативные ряды (обусловленные морфонологическими факторами), консонантные группы в пределах слова и его значимых элементов, условия появления алломорфных вариантов глагольных аффиксов.

Третья часть (с. 289—377) несколько выделяется по материалу и методике его анализа: она посвящена целиком

категории отрицания в глаголе, причем привлекается материал обоих адыгских языков. Автор рассматривает функционирование форм выражения суффиксального и префиксального отрицания, их дистрибутивные особенности, делает попытку по-новому объяснить генезис отрицательных суффиксов  $-(e)p$ ,  $-q'at$  в адыгских языках. В связи с историей сложения форм суффиксального выражения отрицания затрагиваются смежные явления — утвердительные и вопросительные формы, их функциональные взаимоотношения и генетическая связь с категорией отрицания в глаголе.

В четвертой части (с. 379—478) анализируются способы выражения посесивных и локально-направительных отношений исследуемого диалекта, особенности звуковой системы анатолийского говора Генеели (Genceli) и небольшого шапсугского религиозного текста (Mevlid), опубликованного в 1910 г. в Турции. Судя по данному материалу, процесс нейтрализации форм органической (неотчуждаемой) принадлежности в анатолийском шапсугском диалекте протекает более интенсивно, чем в других адыгейских диалектах. При этом показательно, что указанная морфологическая оппозиция определяется не только лексико-семантическими особенностями, но и фонетическими. «Краткие префиксы чаще всего используются, с одной стороны, с субстантивами, которые указывают на родственников (первой ступени) — отца, мать, с другой — с субстантивами, включающими начальными глоттализированными или глухой согласный» (с. 390). Тенденции к снятию противопоставления форм орга-

нической — неорганической принадлежности действуют во всех адыгейских диалектах. Однако в этом отношении своеобразие описываемого Р. Сметсом диалекта расширяет наши представления о состоянии категории посессивности и направлении ее развития в адыгейском языке.

Обращает на себя внимание вариативность выражения элативных и иллативных отношений в диалекте. Обычным алломорфом иллативного суффикса является *-e*, в то время как алломорф *-he* менее продуктивен. Более разнообразно выражение элативного направления. «Как элативный суффикс некоторые глаголы используют только суффикс *-a*, другие могут выступать как с *-a*, так и с *-ak''e*, и небольшое количество глаголов использует только *-ak''a*» (с. 443). Подобные вариативные, взаимозаменимые формы выражения противоположных направлений в глаголе, восходящие к различным хронологическим уровням, вообще характерны для адыгских языков.

Интересны наблюдения автора над фонетическими и фонологическими особенностями говора Генсели. В частности, в этом говоре фонологическая оппозиция аспирированность — неаспирированность имеет тенденцию к исчезновению: она отсутствует не только в зоне увулярных, но и в зоне заднеязычных аффрикат, не различающих  $\varepsilon^h$  —  $\varepsilon$ .

Детальный анализ религиозного текста, которым завершается книга Р. Сметса, представляет интерес для истории адыгских языков.

В целом монография голландского ученого вносит много ценного и полезного в изучение звукового строя и грамматики шапсугского диалекта адыгейского языка. Нет сомнения в том, что результаты исследования фонологических, морфологических и морфонологических явлений, полученные автором на материале одного из анатолийских диалектов адыгейского языка, будут способствовать всестороннему и системному анализу современного состояния адыгских языков в их литературных и диалектных формах существования.

Рецензируемая книга не свободна от некоторых недостатков и спорных положений. Наиболее уязвимыми являются диахронические экскурсы, хотя они занимают (по сравнению с синхронической частью) небольшое место в монографии. Относительно генезиса адыг. *-(e)p* Р. Сметс развивает гипотезу Ж. Дюмезиля [1, с. 185—186], считая (в отличие от последнего) вполне убедительной трансформацию *b* в *p* через промежуточное *b* ( $m > b > p$ ) в отрицательном суффиксе *-(e)p*. К суффиксу отрицания *-m* возводится также *b* в утвердительном суффиксе *-ba* (с. 353—357). Автор реконструирует,

например, для шапс. (адыг.) *sak''oazeryu* «я не ходил» архетипы *\*sak''oazebay* < *\*sak''oazetay*, для *šaz-eryu* «(это) не женщина я» — архетипы *\*šazeryu* < *\*šazabay* < *\*šazetay* (с. 355—356). Хотя подобные реконструкции и связанные с ними рассуждения автора интересны и остроумны, нужно признать, что они остаются недостаточно убедительными.

В отношении каб. *-q'a* в отрицательном суффиксе *-q'at* Р. Сметс решительно отвергает мнение Ж. Дюмезиля о его генетической связи с утвердительным (в его терминологии — подтвердительным) суффиксом *-q'e* [1, с. 187], возводя первое вслед за Г. Ф. Турчаниновым и М. Цаговым [2] к корню *-'e* «быть, существовать», а второе к корню *\*q'o-* «говорить, сказать». В этой связи применительно к раннекабардинскому состоянию автор пишет: «Предикативной формой вопроса было *šaz'-e-m*, в этот период возможна еще форма *šaz'-e-m* (субъектный префикс — там быть — суффикс отрицания). Эта форма образована от связанного глагола *-'e* „быть, существовать“, который встречался (и еще встречается) в обеих диалектных группах (восточночеркесских и западночеркесских) с префиксом *šaz-* или превербом посессивности *ya-*. Следовательно, мы могли иметь рядом такие формы, как *\*saz-k''o-e-na-m* (субъектный префикс — идти — суффикс футурума — суффикс отрицания) „я не пойду“ и *\*saz-k''o-e-n(e)-šaz'et* (субъектный суффикс — идти — суффикс футурума — суффикс отрицания) „я не пойду“» (с. 367). Последняя форма, по Р. Сметсу, позже трансформируется в *sa-k''o-e-na-'at*, *saz-k''o-e-n(a)-q'at*, *sa-k''o-e-n-q'at* „я не пойду“. Реконструируемые автором формы не только фонетически, но и семантически спорны и не поддаются проверке. То же самое можно сказать о положении, согласно которому утвердительный суффикс *-q'e* в конечном счете восходит к *\*q'o-* «говорить, сказать» (с. 362—363).

Вообще в вопросах реконструкции автор нередко оперирует недоказанными положениями, не пытаясь как-то их обосновать. Так, для общеадыгского консонантизма постулируется четырехчленная система смычных типа *b — p' — p'' — pp*, *d — t — t' — tt...*, хотя это традиционное положение сравнительной фонетики адыгских (черкесских) языков остается на уровне гипотезы, не подкрепленной фактами. В этой связи следует подчеркнуть, что до недавнего времени среди многих специалистов считалось общепринятым положение, согласно которому четырехчленная фонологическая система смычных, характерная для двух западных адыгейских диалектов (шапсугского и бжедугского), восходит не только к общеадыгскому состоянию, но и к более

глубоким хронологическим уровням. Теория дальней реконструкции неаспирированных (преруптивных) оказалась несостоятельной [3, с. 129—141], и от нее отказались, по-видимому, ее сторонники (во всяком случае она уже не упоминается в работах последнего периода), но некоторые авторы защищают положение о ближней их реконструкции, возводя четырехчленную систему согласных к общедыгскому хронологическому уровню. Однако и это положение не обосновывается данными внутренней, сравнительной или типологической реконструкции. Переход глухих аспирированных увулярных (фарингальных — в другой терминологии) в глухие неаспирированные в темирговском и абдзахском диалектах ( $q^h > q$ ;  $q^{ph} > q^0$ ) [4], многочисленные случаи образования неаспирированных смычных на базе других типов согласных в западных диалектах адыгейского языка [3, с. 133—140], другие данные внутренней реконструкции делают несостоятельным тезис об архаизме четырехчленной системы согласных. Распространение четырехчленной системы лишь на фонетическом уровне на речь некоторой части темирговцев также не может подтвердить ее архаизм, а скорее всего свидетельствует о развитии фонетических вариантов, что вполне закономерно в условиях тесного контакта между носителями разных диалектов. Что касается данных сравнительной реконструкции, то отсутствие каких-либо следов четырехчленной системы в родственных языках — уйхском, абхазском, абазинском — показывает только ее локальный и вторичный характер в системе консонантизма западнокавказских языков. Весьма показательны данные типологии четырехчленной системы, имеющие важное значение для праязыковой реконструкции. В осетинском языке смычный четвертого ряда, «не имеющий близкой аналогии в живых иранских языках и сближающий осетинский язык с одной группой кавказских языков, именно южнодагестанской» [5], встречается после других согласных и в так называемой геминации, т. е. условии его появления — чисто фонетического порядка. В южнодагестанских, точнее лезгинских языках, неаспирированные (преруптивные) смычные четвертого ряда — новообразование, т. е. сложение четырехчленной оппозиции типа  $b - p - p' - pp$  на базе праязыковой трехчленной оппозиции  $b - p - p'$  считается очевидным [6]. Подобные факты — число их может быть увеличено (см. [7]) — не могут не учитываться при решении вопроса об относительной хронологии четырехчленной системы в западных адыгейских диалектах.

Некоторые проблемы, рассматриваемые

Р. Сметсом, разработаны на материале адыгских литературных языков или других диалектов. Так, по вопросам структурного варьирования глагольных аффиксов и морфологии слова, которым много внимания уделяется во второй (центральной) части книги, существуют специальные исследования [8, 9]. Поэтому естественно, что не все положения и выводы рецензируемой книги являются новыми. Более полное использование результатов ранее проведенных разработок позволило бы еще глубже осмыслить отдельные факты описываемого диалекта.

Работа содержит некоторые необоснованные прогнозы развития и функционирования западнокавказских языков. Так, нельзя согласиться с предположением автора, что в будущем функции этих языков могут быть ограничены сферой фольклора (с. 64). Не могут быть также приняты его субъективные оценки исторического фона на Западном Кавказе в XIX в. Неверно мнение Р. Сметса, согласно которому «кабардинцы как народ сложились из аланских (северо-восточных иранцев), поито-каспийско-кипчацких и — больше всего — черкесских элементов» (с. 49).

В заключение следует отметить, что монография голландского ученого, содержащая описание нового диалектологического материала, труднодоступного для большинства кавказоведов, представляет несомненный интерес для специалистов по западнокавказским языкам. Вводя в научный обиход ранее неизвестные материалы языка анатолийских шапсугов, Р. Сметс и некоторые другие зарубежные кавказоведы [10, 11] продолжают пионерскую работу недавно скончавшегося французского ученого Ж. Дюмезиля.

Кумахов М. А.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Dimézil G. Études comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest. Morphologie. P., 1932.
2. Турчанинов Г., Цагов М. Грамматика кабардинского языка. М.—Л., 1940. С. 92.
3. Кумахов М. А. Сравнительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) языков. М., 1981.
4. Рогова Г. В., Керашева З. И. Грамматика адыгейского языка. Краснодар—Майкоп, 1966. С. 36.
5. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. М.—Л., 1949. С. 516.
6. Талибов Б. Б. Сравнительная грамматика лезгинских языков. М., 1980. С. 325—336.

7. Кумаков М. А. Черки общего и кавказского языкознания. Нальчик, 1934. С. 36—54.
8. Розава Г. В. О некоторых вопросах истории личных аффиксов в адыгских языках // Сообщения АН ГрузССР. 1959. XXXIII. № 4.
9. Урусов Х. Ш. Морфемика адыгских языков. Нальчик, 1980.
10. Smeets R. Sept histoires en *sapsağ* // *Studia Caucasica*. 1976. 3.
11. Paris C. La princesse Kahraman. Contes d'Anatolie en dialecte chapsough (tchorkesse occidental). P., 1974.

**Франчук В. Ю.** Киевская летопись. Состав и источники в лингвистическом освещении. Киев: Наукова думка, 1986. 183 с.

Рецензируемая книга посвящена изучению языка и стиля Киевской летописи — исторического и литературного памятника Древней Руси середины и второй половины XII в. В монографии выявлены и проанализированы все составные части древнерусского летописного свода. Благодаря такому подходу конкретизируется представление о многих древнерусских писателях XII в., владевших нормами древнерусского литературного письменного языка, о редакторе и составителе свода, в который были внесены заметные элементы книжной речи. Исследование может быть использовано для решения проблемы функционального соотношения местного древнерусского языка и близкородственного, по привнесению извне языка старославянского.

Книга состоит из краткого Введения (с. 3—11), в котором дается представление о Киевской летописи, являющейся частью Ипатьевской, стоящей перед летописью Галицко-Волынской, охватывающей исторический период с 1117 по 1198 гг. Рукописная книга, которая сохранила этот текст, датируется началом XV в., приблизительно 1425 г. Более поздние списки известны как Хлебниковский (XVI в.), Погодинский (XVII в.), Ермолаевский (XVIII в.), Краковский (конец XVIII в.). По своему происхождению Киевская летопись — сводный памятник. Последним редактором летописи в конце XII в. был игумен, а затем архимандрит Киевско-Выдубецкого монастыря, Моисей.

Особенно подробно и убедительно сложный состав памятника показан в книге Б. А. Рыбакова [1]. В основном В. Ю. Франчук согласна со взглядами Б. А. Рыбакова и разделяет его точку зрения на все существенные и основные проблемы истории.

Киевская летопись как памятник литературы исследована И. П. Ереминым. В его труде отмечается, что язык и проблема авторства должны быть предметом специального исследования [2]. Кроме

Б. А. Рыбакова и И. П. Еремина, о Киевской летописи еще в середине XIX в. писали многие историки и литературоведы, начиная с К. Н. Бестужева-Рюмина [3]. Языковеды касались в своих исследованиях этого памятника лишь бегло и в общих чертах (например, Б. А. Ларин, Ф. П. Филин [4, 5]). Отдельные упоминания о языке летописи можно найти в работах С. П. Обнорского, А. И. Ефимова и др.

Подробнее памятник исследовали историк М. Д. Приселков [6, 7] и филолог Д. С. Лихачев [8 и др.]. Ими были выявлены отдельные составители свода, как игумен, а впоследствии архимандрит Киево-Печерского монастыря Поликарп, летописец князя Андрея Боголюбского Кузьмище Киянин, безымянный летописец Святослава Киевского и др. В. Ю. Франчук обращает внимание на статью Ю. К. Бегунова [9]. В ней речь идет не столько о языке, сколько об изобразительных приемах торжественного красноречия, так что ссылка на нее не снижает достоинств книги В. Ю. Франчук.

Главная заслуга В. Ю. Франчук состоит во всестороннем монографическом исследовании языка и стиля Киевской летописи. Во Введении изучение памятника прослеживается до 1983 г., поэтому у автора книги, занимающего нейтральную позицию в спорах о древнерусском литературном языке, проходивших на IX Международном съезде славистов в Киеве (сентябрь 1983 г.), не высказано отношение к проблемам двуязычия или одноязычия в Киевской Руси (см. [10])<sup>1</sup>.

Исследуя преимущественно лексику и синтаксис Киевской летописи, В. Ю. Франчук ставит задачу определить составные части памятника и характерные приемы использования языка их составителями.

Глава I [с. 12—74] посвящена подробному разбору особенностей языка

<sup>1</sup> В сборнике [10] ряд статей посвящен темам двуязычия Киевской Руси.

текстов составителей и редактора Киевской летописи. Особую ценность книге В. Ю. Франчук придает то обстоятельство, что она приводит тексты летописи не в упрощенной орфографии и пунктуации, а в точном соответствии с древней рукописью.

Глава II названа «Новые тенденции в древнерусском летописании XII в.». В этой части несколько сокращенно приводятся материалы, использованные автором книги в ее статье, напечатанной еще в 1976 г. [11].

Петр Бориславич — летописец «Мстиславова племени» и дипломат эпохи середины и второй половины XII в. В. Ю. Франчук разделяет мнение Б. А. Рыбакова о том, что «Слово о полку Игореве» могло принадлежать авторству названного летописца. Приведенные ею доводы подчеркивают большую близость в языковом отношении между «Словом» и летописью. В качестве доказательства приводятся такие слова и выражения, как *веселие* и др. производные слова от данной основы, а также аналогично построенные лексемы: *величие* и *нелюбие*. Общим для летописи Петра Бориславича и «Слова» можно считать часто употребляемое существительное *гроза* и глагол *потоптати*. Совпадает в обоих памятниках уникальное использование лексемы *шоломя, чага* («невольница»), дважды употребленное слово *кощей* («зленник», «невольник»). Одинаковым для них является слово *Русичи*.

Примечательную параллель к лексеме «Слова» находим в Киевской летописи в виде названия *комонь*. Это своеобразное «военное звание» боевого коня. *Комони* встречаются в летописи, когда сообщается о венгерских рыцарях, прибывших на помощь киевскому князю Изяславу. Неоднократно повторяется эта лексема в «Слове». Добавим еще, что В. Ю. Франчук для текста «Слова» устанавливает значение слова *конь*, не отмеченное в «Словаре-справочнике», составленном В. Л. Виноградовой [12], в контексте «розно ся имъ хоботы пашуть, коня поють»<sup>2</sup>.

Характерным как для летописи, так и для «Слова» является выражение *похитить* в значении «подхватить, поддержать» («переднюю славу сами похитимъ»). Любопытная параллель к такому употреблению находится в тексте древнерусского перевода «Истории иудейской войны Иосифа Флавия» [13]. Там, в книге 6, гл. III, § 2, встречается это выражение в следующем контексте: «приступль ухи-

типи мя». В Румянцевской рукописи (XV в.) — вариант *похитиши* [13, с. 411, примеч.]. Выражаю глубокую признательность В. Ю. Франчук за то, что ею отмечена эта параллель, найденная в моих работах.

Укажу на еще одну семантическую параллель. Выше обращалось внимание на прилагательное *сильнь*. Оно имеет значение «богатый» или «обильный» в сочетании с существительным *обед* или *пир*. В том же переводе «Истории иудейской войны» находим выражение: «Фасиль же вы умирився с ними и обидъ силен учинивъ, и възва я с вой своими, и почасти их добръ, с великими дарми отпусти а» [13, с. 190].

В приведенном контексте выражения «умиритесь с нимъ» и «сильнь пиръ» совпадают с лексикой, характерной для частей летописи, написанных Петром Бориславичем. В связи с этим хочется напомнить автору книги о языково-стилистической близости двух использованных ею памятников и перевода «Истории иудейской войны Иосифа Флавия». На сходство с этим памятником указывал еще Е. В. Барсов [14].

В работах современных диалектологов упоминается многочисленные параллели к лексеме «Слова о полку Игореве» из русских народных говоров: орловских (в работе С. И. Коткова [15]), брянских (в работах В. А. Козырева и др. [16—18]).

В. А. Козырев приводит следующие данные о результатах своих исследований: «Подавляющее большинство параллелей (примерно 95%) известно южнорусским говорам. При этом только в этих говорах отмечено 36% всех параллелей. Значительная часть южнорусских параллелей приходится на современные брянские говоры — 25% от общего числа параллелей. Тот факт, что среди обнаруженных параллелей значительная часть относится к брянским говорам, объясняется прежде всего тем, что на этой территории нами были предприняты специальные поиски, тогда как по другим областям мы располагали лишь теми сведениями, которые могли почерпнуть из соответствующих источников» [16, с. 103].

Характерно, что в данных лексики этих памятников почти совсем отсутствуют примеры из современных украинских говоров. Это говорит о том, что древнерусский язык, которым пользовался Петр Бориславич, был общерусским, а не галицийским наречием.

В книге В. Ю. Франчук, по моему мнению, недостаточно внимания уделяется синтаксическим конструкциям и их отличиям: в летописи нередко встречается оборот дательного самостоятельного;

<sup>2</sup> В контексте *коня поють* существительное, по-видимому, обозначает воинское подразделение (дружина, вооруженная копейями).

в «Слове о полку Игореве» подобного оборота нет. Существенное значение в рецензируемой книге имеет системный анализ летописной лексики, связанный с текстологией. При этом специально затрагивается версия о княжеском происхождении автора «Слова о полку Игореве».

Подобная тенденция наблюдается сейчас в беллетристике и журналистике (например, роман В. Чивилихина «Память», где автором «Слова о полку Игореве» безоговорочно признается сам главный герой произведения — Игорь Святославич). В. Ю. Франчук резко выступает против подобных ненаучных измышлений, опираясь на язык летописи. Примечательным можно считать отмеченные ею обращения князей друг к другу: *князю, господине* и др.

Глава III книги называется: «Древнерусская дипломатия XI—XII вв. в лингвистическом аспекте». В. Ю. Франчук, ссылаясь на известную работу Д. С. Лихачева «Русские посольские обычаи XI—XIII вв.» [18], показывает на основании языка лексики, что *княжеские послы-дипломаты* не только затверживали *наизусть посольские речи*, но и передавали друг другу грамоты-послания. Подтверждением такого взгляда является как язык летописей, так и образительный материал, сохранившийся в иллюстрированной Радзивиловской летописи XV в., где можно видеть изображение *послов, державших в руках грамоты и передающих адресату их содержание*.

Книга Франчук дает уточнение названий документов, которыми обменивались в сношениях между собою тогдашние князья. Придется также сведения о таких названиях, как *крестная грамота, крестоцеловальная грамота* и др. К сожалению, от XII в. таких документов почти не дошло до нашего времени. Исключение составляет *дарственная грамота князя Мстислава Владимировича Новгородскому Юрьеву монастырю*<sup>3</sup>.

Завершается глава разделом «Структурная организация дипломатических тек-

стов». На с. 139 даются три образца упомянутых грамот.

В заключении автор приводит такие слова, которые восходят к глубокой древности и связаны с междукняжеской дипломатической перепиской: *молба, жалоба, любовь, ряд, твердь* и т. п.

Еще раз подчеркивается новое значение таких выражений, как *грамота утешенная, грамота с правдою* и т. п.

Данный раздел книги кажется нам особенно интересным. Возникает естественный вопрос: на каких языках писались послания князей или королей, как и кем они переводились. Эти вопросы автором не ставятся. Между тем они чрезвычайно важны для выяснения того, каковы были знания языков в Киевской Руси. Что касается польских князей и чешского князя, то можно было бы предположить, что авторы посланий пользовались древнеславянской письменностью. Послания же венгерских королей писались, видимо, на венгерском языке (об этом говорит своеобразный синтаксис посланий): *а помочи, коли хочешь* (№ 7, с. 180). Порядок слов: основа глагола + условно-временной союз + показатель спряжения<sup>4</sup>. Но, возможно, что венгерская переписка велась на славянском языке.

Подводя итоги, могу сказать, что рецензируемая книга ценное самостоятельное исследование. Замечаний немного: мне кажется несколько преувеличенным лингвистическое исследование, ограниченное преимущественно лексикой и синтаксисом. Лучше было бы признать эту работу общепилологической в широком значении слова. Остальные замечания носят чисто редакторский или даже корректорский характер. Так, на с. 62 игумену Поликарпу приписан текст, в котором сообщается о его кончине. Эти мелкие недочеты не мешают нам признать книгу В. Ю. Франчук серьезным и глубоким исследованием по древнерусскому языку XII в. и рекомендовать ее для активного изучения всем специалистам-филологам и историкам русского языка.

Мещерский Н. А.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Рыбаков В. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.
2. Еремил И. П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). М.—Л., 1966. С. 113.

<sup>4</sup> Благодарю за указание этой особенности знатока уральско-алтайского языкознания А. А. Бурякина.

<sup>3</sup> В последнее время Н. А. Кондрашовым подготовлены избранные труды акад. И. И. Срезневского «Русское слово», среди которых заметное место занимает исследование о грамоте великого князя Мстислава и сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю [19]. Между прочим, И. И. Срезневский дает описание, к сожалению, плохо сохранившейся круглой серебряной и позолоченной печати великого князя Мстислава, прикрепленной когда-то при помощи шнура к пергаменной грамоте. В работе Франчук высказывается сожаление, что такие печати до нас не дошли.

3. *Бестужев-Рюмин К. Н.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868.
4. *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка: (X — середина XVIII вв.) М., 1975. С. 201—202.
5. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 265.
6. *Присяжков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913.
7. *Присяжков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940.
8. *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947.
9. *Безунов Ю. К.* Речь Моисея Выдубецкого как памятник торжественного красноречия XII в. // ТОДРЛ. 1974. Т. XXVIII.
10. Литературный язык Древней Руси. Вып. III. Л., 1986.
11. *Франчук В. Ю.* Мог ли Петр Бориславич создать «Слово о полку Игореве?» (Наблюдения над языком «Слова» и Ипатьевской летописи) // ТОДРЛ. 1976. Т. XXXI.
12. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. Виноградова В. Л. Вып. 2. М.—Л., 1967. С. 207—208
13. *Меуцкерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.—Л., 1958.
14. *Барсов Е. В.* «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. 1. М., 1887. С. 213—259.
15. *Котков С. И.* Из курско-орловских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» // Уч. зап. Орловского пед. ин-та. 1954. Т. 9. Вып. 4.
16. *Козырева В. А.* Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров // ТОДРЛ. 1976. Т. XXXI.
17. *Меуцкерский Н. А.* К вопросу о территориальном приурочении первоначального текста «Слова о полку Игореве» по данным лексики // Уч. зап. Карельского пед. ин-та. 1956. Т. 3. Вып. 1. С. 70—71.
18. *Лихачев Д. С.* Русский посольский обычай XI—XIII вв. // Исторические записки. Т. 18. М., 1946.
19. *Срезневский И. И.* Русское слово. М., 1986. С. 45—56.

### МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

СПИСОК ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ КНИГ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ». ПРИСЛАННЫЕ КНИГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. КНИГА ОСТАЕТСЯ У РЕЦЕНЗЕНТА.

- Деже Л.* Украинская лексика сер. XVI века: Няговские Поучения (словарь и анализ). Дебрецен. 1985. 525 стр.
- Manuszak W.* Frequenzbedingter unregelmässiger Lautwandel in den germanischen Sprachen. Wrocław — Warszawa — Gdańsk — Łódź. 1987. 166 S.
- Keijsper C. E.* Information structure. Amsterdam. 1985. 385 p.
- Paillard D.* Enonciation et détermination en russe contemporain. Paris. 1984. 460 p.
- Seiler H.* Apprehension. Language, object and order. pt. III: The universal dimension of apprehension. Tübingen. 1986. 192 p.
- Sprache und Literatur Altrusslands.* Aufsatzsammlung. Münster, 1987. 272 S.
- Spraul H.* Untersuchungen zur Satzsemantik russischer Sätze mit freien Adverbialen. Am Beispiel von Lokal-Temporal und Modal-adverbialen. München. 1986. 290 S.
- Stromer O.* Die altrussischen Handschriften liturgischer Gesänge in semantischer Notation als Hilfsmittel der slavischen Akzentologie. München, 1987. 116 S.
- Vintr J.* Die älteste tschechische Psalterübersetzung. Kritisches Edition. Wien. 1986. 294 S.
- Volek B.* Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in Russian. Amsterdam — Philadelphia. 1987. 270 p.
- Winter U.* Zum Problem der Kategorie der Person in Russischen. München. 1987. 357 S.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.10.87      Подписано к печати 31.12.87      Формат бумаги 70×100/16  
 Высокая печать      Усл. печ. л. 14,3      Усл. кр.-отт 83,8 тьс.      Уч.-изд. л. 16,5      Бум. л. 5,5  
 Тираж 5793 экз.      Зак. 977

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,  
 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсошенный пер., 21  
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

Die Redaktion der Zeitschrift «Woprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrücke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

4. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

5. Библиография в журнале оформляется следующим образом.

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3]. [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

6. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

8. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.